

И·МЕТТЕР

И·МЕТТЕР

Пути
жизнейские

И·МЕТТЕР

*пути
жизнейские*





И.МЕТТЕР

*ПУТИ
ЖИТЕЙСКИЕ*

Повести и рассказы

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
1974



В книгу «Пути житейские» вошли новые повести и рассказы, написанные И. Меттером за последние годы. Мы знакомимся с разными людьми: с молодым врачом Лузиной и ее товарищами, вступающими в самостоятельную жизнь («Врача вызывали?»), со стажером Овчаренко, проходящим свою первую следовательскую практику («Стажер»), со старым преподавателем физики, подводящим итоги прожитому («Гололед»), с майором милиции в отставке и его подопечным, порвавшим с преступным прошлым («Оценщик»), и др. Творческое отношение к делу, сознание своего долга, нравственная ответственность перед людьми, внимание и чуткость к ним — вот что волнует Меттера в его героях.

Особое место занимает в книге повесть «Катя», рассказывающая о трудной любви, опустошившей и изломавшей жизнь героя.

© Издательство «Советский писатель», 1974 г.
Рассказ «Собаки» опубликован до 27 мая 1973 г.

ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?



оживленная улица вечернего города. Сперва она едва различима в голубоватых сумерках, но вот, разом, вспыхнули фонари, и в фасадах новых домов поочередно, то тут, то там, словно перемигиваясь и подавая сигналы друг другу, освещаются окна. От этого внезапного яркого сияния улица становится весело-нарядной: пришел тот час, когда люди торопятся в театры, в кино, в гости.

На перекрестке сгрудилась толпа, нетерпеливо пережидая красный глаз светофора.

Издалека, сперва едва слышно, доносится какой-то длинный неприятный вой. Он нарастает со стремительной скоростью. По осевой линии улицы мчится машина «скорой помощи». Она проносится на красный свет, и тревожный вой сирены еще долго стоит в ушах прохожих.

В кабине шофера рядом с водителем сидит врач. Лицо его хмуро-сосредоточенно.

В пустом кузове — молоденькая санитарка Надя Лузина. Явно нервничая, она поглядывает в окно машины, пересаживается на ходу с места на место, придерживая рукой чемоданчик с медицинскими инструментами; она кладет его к себе на колени, когда машину сильно встряхивает.

Врач, обернувшись, посматривает на нее, затем произносит:

— Только попрошу вас, хоть на этот раз, вести себя как следует.

— Хорошо, — растерянно и виновато кивает Надя.

Врач бормочет, обращаясь к шоферу:

— А кого-нибудь другого вместо нее мы не могли взять? ..

Вой сирены заглушает ответ шофера.

«Скорая помощь» подъезжает к толпе, беспокойно собравшейся в центре проезжей части. Врач быстро вышел из кабины. Надя уже тоже оказалась здесь — она протягивает врачу чемоданчик с инструментами.

Проталкиваясь сквозь толпу, врач спешит к месту происшествия. Надя идет вслед за ним — и внезапно останавливается, услышав возгласы окружающих:

— А живой он?

— Да какое — живой! Кровищи там! ..

— Ах ты господи! Чем же это его?

— Грузовиком сшибло. . .

— Пьяный, что ли?

— Да нет, приличный такой мужчина, шел с авоськой, нес макароны. . .

Из центра толпы раздаются по цепочке голоса:

— Носилки!

— Врач требует носилки!

Бегом Надя возвращается к машине. Выйдя из кабины, шофер распахивает заднюю дверцу. Надя вскочила внутрь, вытащила носилки, передала их шоферу, а сама засуетилась в кузове, словно именно здесь она сейчас нужнее всего.

Сквозь расступившуюся толпу, как по коридору, идут к машине врач с шофером, поддерживая носилки, на которых лежит человек, покрытый сверху пальто.

Уже с закрытыми дверцами, машина трогается с места, медленно пробираясь сквозь толпу окруживших ее людей.

Рядом с шофером в кабине пусто. В кузове склонился над раненым врач. Не глядя на носилки, Надя держит на своих коленях раскрытый медицинский чемоданчик и подает врачу шприцы, ампулы, вату, бинты.

У раненого мужчины забинтованы голова и нога. Обнажив его руку, врач делает ему инъекцию. Устало откидывается на спинку сиденья и вытирает тыльной стороной ладони пот со своего лба.

Хмуро, исподлобья, посмотрел на Надю. Она съеживается под его взглядом.

— Я же вас, кажется, предупреждал. Опять испугались крови?

Отвернувшись и укладывая инструменты в чемодан, Надя плачет.

Раненый открыл глаза, он видит плачущую Надю и слышит раздраженный голос врача:

— На кой черт вы пошли на медицинский? Из вас никогда не получится доктор!

— Зачем вы ее ругаете? — шепчет раненый. — Она же меня жалеет.

Машина «скорой помощи» мчится по вечерней улице города.

Ночь. Сквозь открытые двери больничных палат сочится в коридор притушенный свет.

В дальнем конце коридора Надя Лузина моет пол. Она делает это истово, то сгибаясь в три погибели, то становясь на колени, чтобы обтереть плитку. Волосы выбились из-под ее белой косынки, падают на девичье лицо. Усталым движением руки она поправляет их.

Блестит наяранный пол. Над дверью одной из палат мигает сигнальная лампочка.

За освещенным столиком дежурной медсестры, стоящим в центре коридора, пусто.

Мигает лампочка вызова. Разогнувшись на мгновение и оглядывая вымытый пол, Надя заметила сигнал. Она быстро вытерла руки о полотенце, заткнутое за пояс халата, и побежала к дверям палаты.

Здесь несколько коек. На ближайшей из них, у самых дверей, лежит девочка, ей лет шесть. Нога ее в гипсе. Девочка не спит.

— А почему же вы пол в коридоре мыли? Разве доктора моют полы? — спрашивает девочка.

Надя не успевает ответить на этот бесхитростный вопрос — с отдаленной койки раздается стон. Быстро подложив под загипсованную ногу девочки свернутое одеяло, Надя торопится к другой больной.

Напоив ее из поильника, Надя уже у следующей постели — здесь надо забрать и унести судно. Бесшумно движется санитарка Надя Лузина от койки к койке.

И снова она вернулась к девочке у двери.

— Опять не спишь? — шепотом спрашивает Надя.

— Ноге больно...

— А ты про нее не думай, Дашенька. Забудь про нее. Думай про что-нибудь хорошее.

Она садится к девочке на постель и кладет ее больную ногу себе на колено.

— Давай вместе думать, — говорит Надя. — Например, про собак... У меня была одна знакомая собака, она сама ходила в булочную за хлебом. Возьмет авоську в зубы и идет...

— А деньги? — спрашивает девочка.

— Деньги у нее в карманчике на ошейнике...

Надя очень устала, ей хочется спать, глаза ее слипаются. Привалившись боком к спинке кровати и держа ногу девочки на коленях, она продолжает говорить, постепенно задремывая:

— Возьмет полкруглого, возьмет батон или городскую... Колбаски сто граммов, сыра...

— А разве в булочной продают колбасу? — улыбается девочка.

Но Надя уже не слышит. Она спит.

И девочка, глядя на нее, тоже закрывает глаза.

Ординаторская больницы. Как обычно, это не очень уютная комната. Над столом горит электрическая лампа без абажура. Сквозь светящееся окно пробивается рассвет.

Сидит за столом утомленный после ночного дежурства немолодой врач. Подле него лежат стопкой папки с историями болезней. Он делает в них записи; кажется, не будет конца этой работе — стопка уменьшается медленно.

Рядом с его локтем появляется стакан чая.

— Попейте горяченького, я крепкого заварила, — раздается женский голос.

— Спасибо, — рассеянно говорит врач.

Он отхлебывает чай, грея о стакан озябшие руки.

— Каши хотите, я могу из столовой принести?

— Благодарю вас, не надо.

Он поднял голову, щуря глаза от света лампочки над столом.

Надя снимает халат санитарки, вешает его на гвоздик. Придерживаясь за стенку, стоя, переобувается, —

сняла больничные шлепанцы и надела свои стоптанные туфли. Собрала с края стола толстую тетрадь и книги, укладывает их в старенький дерматиновый портфель.

Врач посмотрел на часы.

— Прямо на лекцию? — спрашивает он.

— Ага.

— Заснете небось после бессонной ночи?

— Ой, что вы! Это я на санитарии и гигиене сплю. А сегодня у нас терапия. Да и подремала я немножечко. Она надевает пальто.

— Еще три годика — и все! Буду свободна, как птица...

Придвинув к себе снова стопку папок, пожилой врач ворчит:

— Доктор и птица — это совершенно разные профессии. Кому из санитарок вы сегодня сдали дежурство? — без всякого перехода, все так же не подымая головы, спрашивает врач.

— Зинаиде Степановне.

— Внушили бы вы ей, Надя, что больным не следует разбалтывать их диагнозы. Неужели эта дура не понимает, что тяжелобольных это травмирует?

— Хорошо, — говорит Надя. — Я ей скажу... Петр Иванович, можно вас спросить?

Он кивнул.

— Ну, а если человек очень болен? И если он очень просит: доктор, скажите мне правду, я должен успеть сделать распоряжения, я хочу знать, сколько времени у меня осталось...

Пожилой врач отвечает тихим, внезапно осевшим голосом:

— На прошлой неделе умер мой друг. Медик. Он умолял меня не скрывать от него точный диагноз. И я не скрыл, ответил ему — рак печени. Он сказал мне: спасибо за правду, но ты меня убил...

Все это пожилой врач произносит медленно, не отрывая глаз от папок с историями болезней и даже делая в них короткие записи.

Надя стоит с портфелем в руках и не решается уйти.

— Вы сегодня устали, да? — тихо спрашивает она.

— Немного.

Ей жаль его. Она хотела бы сказать ему что-нибудь приятное.

— А две ваши пациентки из третьей палаты в понедельник идут на выписку...

Врач пишет, возможно он даже не слышит Надю. Тишина.

На столе, подле локтя доктора, появляется тарелка дымящейся каши.

— Поешьте, пожалуйста, нехорошо курить натошак...

Комната девушек в общежитии студентов-медиков. Три койки, три тумбочки, в центре — большой стол. Надя Лузина гладит на столе мужской пиджак; скоблит ногтем пятна, брызжет на него водой, отпаривает электрическим утюгом.

На другом конце стола, разложив перед собой тетради, занимаются две Надины однокурсницы.

— Обнаружение симптома Пастернацкого, — говорит Тоня ровным ученическим голосом, — позволяет нам диагностировать заболевание почечных лоханок...

— А точнее? Какое заболевание? — слышен нетерпеливый мужской голос. — Как оно называется?

— Называется пиелит.

— Ну, вот и отлично.

Теперь мы видим, что это произнес Сережа Кумысников. Он сидит без пиджака, в рубаше, поверх которой накинута Надина вязаная кофта.

— На троечку, девчонки, вполне потянете. А много ли нашему брату надо!..

— Тебе, Кумысников, хорошо говорить, — ноет Женя. — У тебя стипендию не отнимут. Ты талантливый...

— Я-то? Нисколько. Просто я точно знаю, чего хочу... У Рахманинова как-то спросили: в чем, по-вашему, заключается искусство виртуоза-исполнителя? Рахманинов ответил: в том, чтобы не задевать пальцами соседние клавиши.

Листая тетрадь, Тоня рассеянно спрашивает:

— Рахманинов — татарин?

— Русский, Тонечка, — спокойно отвечает Сергей. — В наше время врач не может быть универсалом. Надо сразу облюбовать свою область и не мазать по соседним

клавишам. Меня интересует хирургия легкого. А все эти грыжи, аппендициты — это банальные случаи...

Женя спрашивает:

— А если у человека все-таки грыжа?

— Найдутся сотни хирургов, которые преотлично сделают ему операцию.

— Значит, ты делишь врачей на чернорабочих и гениев?

— Нисколько. Я делю людей только по одному принципу: хочешь или не хочешь добиться, умеешь или не умеешь делать.

Тоня, скуластенькая, губастенькая, краснощекая девушка, возившаяся со своими тетрадами, мечтательно потянулась.

— Мало ли чего я хочу... Девчата, я хочу быть принцессой!

— Принцесса, Тонечка, — вежливо говорит Сергей, — знала бы, между прочим, что Рахманинов — великий русский композитор. Следовательно, профессия принцессы тебе противопоказана.

— Слушай, Кумысников, — говорит Тоня, — а что бы ты сделал, если бы был всемогущим царем?

— В феврале семнадцатого года отрекся бы от престола и в октябре устроил Октябрьскую революцию.

— А потом?

— А потом поступил бы на медицинский и стал работать в области хирургии легкого... Надя, ты скоро? Мы же в кино опоздаем.

— Сейчас, последний рукав остался...

— Десять коров на меня приходилось, — негромко говорит Тоня. — Три раза в сутки доить. Верите, девочки, я и ночью, во сне, пальцами вот так делала. Доила. От этой работы аж до плеча ломит руки... Вот ты, Кумысников, ругаешь меня: того я не знаю, этого... А откуда мне знать? Наша деревня — сто пятьдесят километров от железной дороги. Я в начальную школу пятнадцать километров туда-назад бегала...

— Ломоносов знал, — говорит Кумысников. — А тоже был из деревни. Архангельская область. Село Холмогоры. Пешком, между прочим, пришел в Санкт-Петербург.

— И прописали его? — прищурясь, спрашивает Тоня. — И из колхоза отпустили?...

— Ну, завелась наша Тонька! — Женя обняла ее.

— Ты, Кумысников, в санитарках не служил? За больными не таскал горшки, как мы вот с Надькой? Назов за скотиной не убирал? Тебе сколько лет?

— Ну, двадцать два.

— А мне двадцать семь. И я баба, а ты мужик.

— Тонечка, — миролюбиво говорит Сергей, — но кто-нибудь же должен у нас доить коров!

— У тебя все — кто-нибудь: грыжу ушить — кто-нибудь, за скотом ходить — кто-нибудь...

Сергей улыбнулся.

— А между прочим, удрала-то из деревни ведь ты, а не я. — Он дружелюбно коснулся ее плеча. — Не сердись, Антонина. Просто у нас по-разному сложились биографии. Кстати, когда наш стройотряд возводил в совхозе коровник, я клал фундамент не хуже других. Ты даже сказала: Кумысников — молоток!

— Да ну тебя! — успокоилась внезапно Тоня. — Бери свою Надьку и уматывай. И лучше ее попытай: знает она, чего хочет?

— Знаю, кажется, — смущенно говорит Надя. — Может, это звучит наивно: я хочу научиться лечить людей. Столько горя я видела у себя в детдоме! — Еще более смешавшись от своей ненужной откровенности, она помальчишески тряхнула головой. — Вот только жутко хотелось бы выяснить, есть ли у меня для этого призвание, а то буду зря ишачить, а пользы от меня — шиш...

Сергей надевает пиджак, поданный ему Надей.

— Обнаружить заранее, есть ли у парня или девчонки призвание, нельзя. Это все болтовня.

— Ну почему же болтовня? Ведь можно же поговорить с ними, задать им вопросы...

— А ты уверена, что человек всегда отвечает то, что думает?

— Уверена. Если он, конечно, честный.

— Ладно. Возьмем только честных. Интересно, с помощью каких вопросов ты бы пыталась выяснить наличие призвания? Это ведь загадочная штука — человеческое призвание!.. Максима Горького, например, юношей приняли в оперный хор, а Федора Шаляпина — нет. Про Вальтера Скотта профессор университета сказал: «Он глуп и останется глупым всегда».. А с нами, будущими медиками, еще сложнее. Вот, скажем, я, Сережа Кумысников, подал заявление в институт. А ты, заслуженный

профессор Лузина, вызвала меня для собеседования. Спрашивай, задавай вопросы. Я буду отвечать.

Надя молчит. Спрашивает Тоня:

— А правда, Кумысников, почему ты пошел на мед-фак?

— Видите ли, профессор, я с детства люблю медицину.

Теперь спрашивает Надя:

— А что это значит — любить медицину?

— Это значит, что меня интересует раскрытие тайн природы именно в данной области: борьба с болезнями, продление человеческой жизни...

— Это ты, Сережка, говоришь про науку, а я спрашиваю, почему ты хочешь стать врачом?

— Профессор, — говорит Кумысников, — я знаю, каких слов вы от меня ждете. Но я их не произнесу, ибо они широко известны. А все то, что широко известно, становится банальным...

До сих пор Женя молчала, уткнувшись в свои тетради. Сейчас она подняла голову и насмешливо посмотрела на Кумысникова.

— Боже ты мой, Сереженька, как тебе трудно живется! Все время надо стараться быть непохожим на других!..

По ночной пустынной улице идут Надя с Сергеем. Он обнял ее за плечи.

— Ты хороший парень, Надька!

Она неприметно вздохнула.

— Ребята мне часто это говорят... Может, потому, что я детдомовская?

— Понимаешь, с тобой как-то просто. Я еще в школе всегда чувствовал себя неловко с девочками, вроде я вечно виноват перед ними.

— Ну в чем, например?

— Например, я не замечал, что у них новое платье. Иногда получалось парадоксально: те, у кого я все-таки замечал новое платье, обижались на меня за то, что мне неинтересно разговаривать с ними. А те, с кем мне было интересно разговаривать, сердились, что я не замечаю, как они выглядят... И вечно мне нужно было оправдываться...

— Просто ты еще никого не любил, Сережа.

— Ого! Еще как любил!.. В девятом классе я влюбился в нашу биологичку. И ужасно мучился.

— А она догадывалась об этом?

— Ты с ума сошла! Я выискивал редкие книги в библиотеках, штудировал их и ставил ее в тупик своими вопросами. Однажды она даже разрыдалась на уроке...

— А зачем ты это делал?

— Не знаю... я часто поступаю не так, как хочу.

— И потом жалеешь?

— Иногда... Ты не думай, что я циник, Надька. Тебе я могу сказать: неохота быть сентиментальным слабаком. Помнишь, мы в школе учили про Рахметова. Он спал на гвоздях, нам казалось это смешным и даже глупым. У настоящего человека должна быть одна мечта — огромная, на пределе его возможностей. Такая, к которой он упрямо идет всю свою жизнь.

Любуясь им, Надя спрашивает:

— Но он доходит до нее?

— Непременно. И это не имеет ничего общего с карьеризмом: у карьериста мелкая цель, а не мечта, и средства у него мелкие и мерзкие.

— А у меня, Сережка, нету одной огромной мечты. Уж я думала, думала, ничего не могу придумать. Все какое-то крохотное, как в детском магазине...

Он снова дружески обнял ее.

— Мечту, Наденька, не придумывают. Она должна быть растворена в крови, она должна доставлять человеку и муки и наслаждение. Ты знаешь, что, по-моему, движет гениальным ученым? Вовсе не желание раскрыть тайны природы. Это все бодяга для интервью. На самом деле гений испытывает неслыханное наслаждение от своей работы — он без этого не может жить, это форма его существования...

— Сказать тебе? — Надя подымает на него глаза. — Вот сейчас у меня мечта, чтобы мы долго-долго шли по этой улице. Чтобы она нигде не кончалась. Это мелко, Сережа?

— Ну, почему же... Это тоже жизнь, только другая ее область.

— А один человек может жить сразу в двух областях?

— Черт его знает... Наверное; может. Если чем-нибудь жертвует.

— А ты бы мог?

— Не знаю. Не пробовал...

Обнявшись, они идут по улице.

Снова комната девушек в студенческом общежитии. Ночь. Слабый свет уличного фонаря в окне. Лежат на своих постелях Тоня и Женя. Надя только что вошла, она медленно раздевается, снимает пальто, туфли, шапочку.

— И приеду я к себе в деревню Федоровку доктором, — говорит Тоня. — Нарочно пять лет не ездила на каникулы. Чтоб потом все удивились. Думаешь, я там у себя не могла выйти замуж? Ко мне крепко сватались! С домом, с хозяйством. Но я очень, девочки, самолюбивая. Деньги мне — тьфу... Главное, чтоб уважали.

Женя не слушает ее. Женя говорит о своем:

— Интересно, почему ночью кажется — все исполнится? А утром проснешься — и понимаешь: дура ты, дура... Надька, ну как? Хорошее кино?

— Ничего. — Голос Нади бесцветен.

— Переживательное? — спрашивает Тоня.

— Тонька! — смеется Женя. — Ты по-русски когда-нибудь научишься говорить?

— А что, опять не так? Ну и ладно. Еще посмотрим, кто из нас раньше станет заврайздравом. У нас в районе знаешь как люди нужны?

Женя внимательно смотрит на Надю.

— Ты что такая?

— Обыкновенная я...

— У нее все в порядочке, — говорит Тоня. — Раз Сережка Кумысников за нее взялся, он ее до ума доведет. Будь спок! В случае, на свадьбе водки не хватит, я брагу сварю...

Из-за занавески у двери, куда скрылась Надя, не слышно ни звука. Женя вскакивает с постели, бежит туда в закуток.

В закутке, прислонившись лицом к шкафу, стоит Надя.

— Он обидел тебя? Обидел? — Женя обнимает ее.

— Нет...

— Ну что, Надюша? Ну что, скажи?..

— Он... говорит... что я... хороший парень...
Рыдает.

Двор. Надя рассматривает номера квартир в подъезде. Со своим чемоданчиком побежала вверх по лестнице. В том, как она движется, уже чувствуется некоторая уверенность и сноровка.

Еще по одной лестнице поднимается Надя. И еще по одной.

В следующем доме ей повезло — она оказалась в лифте. Устало прислоняется к стенке кабины. На лице ее блаженная улыбка. Доехав до нужного этажа и уже открыв дверь лифта, Надя вдруг прикрывает ее и нажимает кнопку спуска. Ей захотелось прокатиться. Доехав до первого этажа, она снова нажимает кнопку.

Надя вышла из лифта. Остановившись у шикарной двустворчатой двери (такие двери были в барских старых домах), она поправила привычным жестом прическу и даже посмотрелась в карманное зеркальце. Нахмурившись, попыталась построить солидное выражение лица. Не выдержав, подмигнула своему изображению и показала ему язык.

Надавила кнопку звонка. Еще раз одернула на себе легонькое пальто.

Из-за двери — густой женский голос:

— Кто?

— Я из поликлиники.

Дверь распахивается. В хорошо обставленной, просторной прихожей с огромным зеркалом в раме красного дерева — стоит полнотелая седая дама. Она окидывает Надю удивленным взглядом.

— Мы вызывали доктора, — на последнем слове дама делает заметное интонационное ударение. — Врача, — повторяет она.

— Я пришла, — отвечает Надя.

— Попрошу вас снять пальто и вымыть руки.

Надя робко пристраивает свое пальто на шикарной вешалке.

Дама приоткрывает дверь в одну из комнат и произносит тихо, но явственно:

— Алексей, из поликлиники пришла какая-то девочка, утверждает, что она врач.

Затем дама указывает Наде рукой в глубь коридора:

— Ванная — вторая дверь налево. Мыло — на магните. Полотенце для рук — голубенькое. Уборная — рядом. Вода спускается ножной педалью справа от унитаза.

Надя моет руки в роскошной ванной комнате. Не сразу она находит мыло: мыльницы нет, оно висит на магните. Надя дважды открепляет его от магнита и снова прикрепляет: здесь вообще множество удобных мелочей, их интересно рассматривать.

Но вот Надя уже в спальне.

На огромной двуспальной постели, под необъятным пуховым одеялом, лежит маленький щуплый мужчина в пижаме. Он, очевидно, пристраивал марки в альбом, а сейчас отложил его в сторону.

Седая дама удобно устроилась в мягком кресле.

Надя сидит на низком ковровом пуфе. Сидеть ей на этом пружинистом пуфе здорово неудобно — ее покачивает из стороны в сторону. Держа свой старенький чемоданчик на коленях, она простреливается сейчас навывлет двумя парами строгих глаз.

Наде хотелось бы поскорей осмотреть больного, но с ней ведут светскую беседу.

— Вы, вероятно, недавно кончали, милочка? — спрашивает дама.

— Я учусь на шестом курсе.

— Колоссально! — произносит мужчина без всякого выражения.

— И вас уже самостоятельно направляют к пациентам? — любезно допытывается дама.

— Если встречается что-нибудь сложное, я консультируюсь со специалистами, — незатейливо отвечает Надя. — У нас в поликлинике очень хорошие специалисты.

Роясь в портфеле, она вынимает карточку больного. На пол падает стетоскоп, рассыпаются учебники. Наклонившись, Надя подбирает все это.

— Не хотите ли, доктор, чашечку кофе с бутербродом? — спрашивает дама.

— Ой, что вы, спасибо, я сыта...

Надя обернулась к больному:

— На что мы жалуемся? — Тон ее чрезмерно, по-студенчески профессионален; она придвигается вместе с этим проклятым пухом к постели.

Однако больной не успевает ответить. Вместо него отвечает жена:

— Видите ли, деточка, Алексея Петровича пользует профессор Любимов. Мы верим ему как богу!.. Я думаю, что вам не стоит тратить свое золотое время на осмотр...

— Значит, вы не вызывали врача из поликлиники? — удивленно спрашивает Надя.

— Вызывали, — дама очаровательно улыбается. — Алексею Петровичу необходим бюллетень. Надеюсь, вам уже доверяют выписку больничных листов?

— Доверяют, — растеряннo кивает Надя.

— Вот и чудненько.

Поднявшись, дама подошла к своему туалету, сдвинула с его края флаконы и баночки.

— Здесь вам будет удобно. Три дня нас вполне устроят.

Невольно поднявшись вслед за ней, Надя приблизилась к туалетному столику. Дама придвинула ей кресло. Из большого хрустального бокала дама вынула авто-ручку.

— Прошу вас. Это перо я привезла из Парижа. Боже ты мой, какая это была сказочная поездка!..

Ошеломленная стремительным, напористым щебетаньем дамы, Надя опустилась в кресло; не в силах оторвать взгляда от нее — как кролик от удава, — Надя на ощупь вынимает из своего портфеля бланк бюллетеня.

— Да, забыла вам сказать диагноз профессора Любимова — колит. Кажется, деточка, это следует писать по-латыни... Вероятно, вы уже проходили колит?

Парижским пером Надя заполняет бюллетень. Дама нависла над ее плечом.

Выйдя из квартиры и уже спустившись на несколько ступенек по этой шикарной лестнице, Надя вдруг избежала обратно к запертым двустворчатым дверям — лицо у нее раздосадованно-решительное, — она протянула было руку к звонку и все-таки не позвонила. Ударив кулаком по дверному плинтусу, в злости на себя прикусив губу, она медленно пошла вниз.

Мчится по улице бойкий «москвичок» неотложки. За баранкой — грузный, сонный шофер. Рядом с ним Надя Лузина. На коленях ее докторский чемоданчик. Надя раскладывает на чемоданчике карточки вызовов.

Шофер покосился на нее.

— Сколько осталось?

— Пять.

— Обедать пора.

— Семен Петрович, миленький, хотите, я вам дам бублик? Очень вкусный бублик. С маком.

Сует ему надкусанный бублик.

Мчится дальше «москвичок».

И вот уже у постели больного сидит Надя; докторский чемоданчик подле ее ног. Больной неподвижен, на его бледном лице пот. Он лежит в пижаме, башмаки торопливо сняты, они брошены как попало. Галстук на шее сдвинут, воротник расстегнут. Глаза больного закрыты. Ему лет за шестьдесят, а может, это только сейчас кажется так.

Высокая худая женщина растерянно стоит в ногах больного мужа; через ее плечо перекинута кухонное полотенце, концом которого она трет и трет уже давно сухую тарелку.

Женщина смотрит на Надю с такой надеждой и верой, что Наде даже как-то не по себе. Вид больного ей не нравится. К осмотру она еще не приступила, только вынула из кармана халата стетоскоп.

— Когда это случилось? — спрашивает Надя.

Взволнованная женщина отвечает подробно:

— Я стояла на кухне, мыла посуду, и вдруг — звонок... У Кости, конечно, есть свои ключи, а по вторникам у них в школе педсовет, значит, раньше пяти я его и не ждала домой...

— Варя, это доктору неинтересно, — раздается тихий голос больного.

— Открываю дверь — представляете себе! — Костю вносят двое незнакомых молодых людей!..

— Не вносят, Варя... Они меня только поддерживали. Я бы и сам дошел...

Надя наклоняется к нему:

— Что вы почувствовали, когда вам стало плохо?

— Замутило. Закружилась голова. И в глазах задво-

илось... Мне и один-то наш завуч осточертел до смерти, а тут смотрю на него — двое...

— А сейчас? — Она вынула из чемодана прибор для измерения давления.

— Немножко лучше.

Нажимая грушу прибора, Надя следит за шкалой, и по ее лицу видно, что давление высокое.

— Вероятно, понервничали на уроке?

Он отрицательно качает головой.

— На уроках я спокоен...

— С детьми трудно, — говорит Надя, особо не задумываясь, лишь бы отвлечь больного от его тягостного состояния.

— С детьми легко. Со взрослыми трудно... Особенно если они кретины, как наш завуч... Варя, положи тарелку, она уже сухая...

— В больницу я его не отдам, — выпаливает она.

Надя вынула из кармана карточку больного, заглянула в нее.

— Все будет хорошо, Константин Иванович. У вас немножко подскочило давление. Главное сейчас — покой. Абсолютный покой.

— Покой и воля... — прошептал больной.

— Что? — наклонилась к его губам Надя.

— На свете счастья нет, но есть покой и воля, — ясно произнес он.

Надя растерянно смотрит на него: может, он бредит?

— Это стихи Пушкина, — неожиданно громким голосом говорит больной учитель; сознание его, действительно, то и дело смещается. — Прошу выучить их к следующему уроку.

— Хорошо, — кивает Надя. — Я выучу.

По улицам шныряет «москвичок» неотложки. Кажется, что даже он изнемог. Рядом с шофером — Надя. На ее докторском чемоданчике всего одна карточка.

Шофер покосился на эту карточку.

— Глафира? — спрашивает он.

— Глафира Васильевна, — кивает Надя.

— От баба! — кричит шофер. — Дня не проходит, чтоб не трезвонила в неотложку...

«Москвичок» въезжает во двор старого дома. Когда Надя вышла из машины, шофер высунулся в дверцу и крикнул вслед:

— Вколите ей два кубика, и все!..

Опывшая старуха открывает Наде дверь. Поверх ночной рубахи накинут на плечи старухи мятый ситцевый халат. Она дышит астматически, со свистом. Вслед за ней идет Надя по длинному коридору коммунальной квартиры.

Комната метров в десять. Неприбранное постельное белье на железной кровати. По стенам приколоты репродукции из «Огонька». Есть шкаф, есть даже телевизор, но все это такое же осевшее и разваливающееся, как и сама Глафира Васильевна. В углу на тряпках лежит толстый, неповоротливый фокстерьер. Он тоже похож на свою хозяйку.

Войдя в комнату, старуха тотчас опускается на стул у стола и, скинув с левого плеча халат, обнажает исколотую инъекциями руку.

Тем временем Надя вынимает из чемоданчика шприц, ампулу, вату. Старуха бдительно следит за всеми этими приготовлениями.

— Эфедринчику, золотце, не желей. Сделай два кубика, — и без всякого перехода добавляет: — Забегал вчера Федька, посидел пять минут, развернулся и пошел. Сунул в коридоре десятку и просит: только не рассказывайте, мама, моей Люське. Я ему говорю: Федя, а Федя, ведь я же тебя ростила...

Надя делает ей укол.

— И то удивляюсь, с чего это он забежал спроведать меня? Не ты ли, золотце, звонила ему?

Комната студенческого общежития. Вечер.

Женя накрывает на стол, доставая из шкафа самую разнообразную посуду.

Надя чистит картошку.

Женя. Жрать хочется сумасшедше!.. Между прочим, если тебе понадобится после ужина остаться с Сережей вдвоем, то я тактичненько исчезну. А Тонька дежурит в ночь...

На д я. Никому это не нужно.

Ж е н я. Дура.

На д я (*не желая продолжать этот разговор*). А наверное, старые врачи были талантливей, чем мы.

Ж е н я. Здравсьте.

На д я. Сейчас приходит ко мне больной, я его отправляю на рентген, на электрокардиограмму, требую анализы, измеряю ему давление... А раньше? Приложит доктор свое ухо к груди, к спине, пощупает живот...

Ж е н я. Кустарщина.

На д я. Уж лучше кустарщина, чем ремесленничество.

Ж е н я (*смеется*). Ох, у меня сегодня был случай! Является на прием дядечка, крепонький такой, румянец от уха до уха. Закрывать бюллетень, выписываться на работу. Не с моего участка, с соседнего, а там врач в отпуске. Ну, мне как-то неудобно только расписаться, и все. Дай, думаю, я его для солидности послушаю. Слушаю легкие, и кажется мне, что у него пневмония. Чем больше слушаю, тем больше кажется. А он стоит, улыбается. Ему смешно, что я молоденькая и слишком над ним, здоровяком, хлопочу. Отправляю его на рентген. Приходит через полчаса, приносит заключение рентгенолога: пневмония правого легкого. Я чуть не бросилась целовать этого дядечку! Пневмония, говорю ему радостно, у вас пневмония!.. (*Смеется.*) Такая счастливая, что поставила правильный диагноз!.. Надька, довольно чистить, я помираю с голоду, беги варить на кухню.

На д я (*подымается, берет кастрюлю*). И совершенно мы слепые котята, Женечка!.. А ведь через неделю получаем диплом.

Ж е н я. Подумаешь! И так работаем врачами... Стой. Я тебя причешу.

Она подбегает к Наде и пытается причесать ее.

На д я (*покорно подставив свою голову*). Знаешь, какое мое самое большое желание? Выспаться! За все шесть лет выспаться. Я вчера на ночном дежурстве подсчитала: у меня недосыпу пять тысяч двести тридцать два часа...

Ж е н я. А еще говорят, что ты добрая. Патлы у тебя жесткие.

На д я. Я не добрая. Я растерянная.

Ж е н я. И туфли мои надень. Быстренько.

Скинув свои туфли на высоких каблуках, она заставляет Надю тут же переобуться.

Женя. Жить надо так: придумывать себе праздники. Не общественные, а личные. Решаю с утра — сегодня у меня праздник. Знаешь, как это заразительно действует на окружающих?

Надя (*улыбнувшись*). Фантазерка ты.

Женя. И врунья. Врать, Наденька, интересно. Как будто два раза живешь: один раз по-настоящему, а второй — по-выдуманному. Имей в виду: сегодня день твоего рождения.

Надя. С ума сошла.

Женя. Ну, беги. Не забудь посолить.

Комната общежития уже окончательно прибрана. Стол накрыт.

Стук в дверь. Торопливо что-то жуя и надевая на ходу пальто, Женя впускает Сережу Кумысникова.

Кумысников. По какому случаю банкет?

Женя. У Нади день рождения.

Кумысников (*удивленно*). А мы ведь праздновали его зимой.

Женя. Значит, сегодня именины. Святая Надежда. Была такая.

Она подходит к Кумысникову, вынимает из верхнего карманчика его пиджака гребенку.

— Подаришь Наде. Садись. И веди себя соответственно дате.

— То есть?

— Мне обрыдли ваши разговоры о науке. И вообще, дай себе сегодня отпуск от своей образованности. — Повертевшись и охорашиваясь, останавливается перед ним. — Сережка, тебе когда-нибудь делали анализ крови?

— Делали.

— Ну и как?

— Нормально.

— Странно. По-моему, там у тебя вместо плазмы — бульон. Из кубиков. Шесть литров тощего бульона в системе кровеносных сосудов. Брр, какая скука!

Он смеется.

— Ты куда уходишь?

— Скоро приду. Надя на кухне, сейчас принесет картошку. Оставьте штучки три.

Ушла.

Кумысников прошелся по комнате, повертел в руках книжку, оставленную Надей на столе.

— А Женя где? — раздался голос за его спиной.

С кастрюлей дымящейся картошки вошла Надя.

— Поздравляю тебя, Надюша. И прими этот символический подарок.

— Успела все-таки наврать, — смеется Надя.

Они садятся за стол, едят.

— Тебе нравится, как я причесана?

— Отлично.

— А ты заметил, что я в новых туфлях?

— Конечно заметил. Отличные туфли.

— Женькины. И прическа Женькина.

— Зачем ты мне все это рассказываешь?

— Чтоб ты не воображал.

Они едят. Сережа Кумысников — человек уверенный, но сейчас он несколько смущен Надиной прямоотой.

— Хочешь вина? — спрашивает Надя и, не дождав-
шись ответа, вскакивает и достает из шкафа бутылку. —
Портвейн. Женя велела, чтоб я устроила нам праздник.
Выпьем. Ты догадался, что она нарочно оставила нас
вдвоем?

— Я об этом не думал, — он улыбнулся. — Ты уж
слишком старательно повторяешь все, чему тебя научила
Женя.

Надя спросила:

— Сережа, тебе жалко больных, которых ты опери-
руешь?

— Я пока еще не оперировал, а только ассистировал
на операциях.

— Ну, все равно, жалко?

— В общем, конечно. Но я думаю, что настоящий,
талантливый хирург руководствуется не столько жало-
стью, сколько желанием сделать грамотную, удачную опе-
рацию.

— Когда я впервые попала в анатомичку, — говорит
Надя, она уже немножко опьянела, — я не спала потом
всю ночь... Я думала: лежит передо мной на холодном

мраморном столе труп неизвестного человека. Никому не известного. И никому не нужного, прожившего настолько одинокую жизнь, что его даже некому похоронить...

— А на ком, по-твоему, надо учиться анатомии? — спрашивает Сергей.

— Не знаю. Ничегошеньки я не знаю... Расскажи мне что-нибудь.

— Из какой области?

— Почему люди боятся быть добрыми? Я никогда не слышала, чтобы, говоря о ком-нибудь, сказали просто: он добрый человек... Говорят — умный, говорят — мужественный, талантливый, энергичный...

Кумысников пожал плечами.

— Доброта — абстрактное понятие. Важно ведь, на кого она распространяется.

— Боже мой, какой ты правильный человек, Сереженька! И все мне в тебе ужасно не нравится...

— Надька, ты пьяна, — серьезно говорит Кумысников. — Плетешь какую-то ерундовину.

Надя поднялась.

— Иди домой, Сережа. Спасибо, что навестил. Жене я скажу, что мы целовались, иначе она рассердится.

Кумысников делает шаг к ней.

— А я и вправду могу поцеловать тебя...

— Неохота, Сережа. Иди.

Он вышел.

Надя сперва начала убирать со стола, потом подошла к зеркалу, посмотрелась в него и сказала:

— До чего ж ты некрасивая, Надька!..

Огромная аудитория, раскинувшаяся высоким амфитеатром. Она так велика и так округлена, что ее не охватить одним взглядом. Где-то внизу, в центре аудитории, — кафедра, кажущаяся игрушечно-маленькой, если смотреть на нее сверху, из последних рядов, расположенных под потолком.

На этой кафедре едва различима тоненькая фигурка в белом докторском халате и белой шапочке.

Сотни юношей и девушек, празднично одетых и насвежо причесанных, до краев заполнили чашу аудитории.

Сперва здесь стелется нестройный гул голосов — молодые люди еще только уселись на свои места.

Откуда-то снизу раздается в микрофон голос ректора:

— Вынести знамена!

И тотчас — тишина.

По ступенькам проходов аудитории, снизу вверх, со знаменами в руках поднимаются девушки и юноши, одетые в форму строительных студенческих отрядов.

И тот же голос произносит:

— К принятию присяги приготовиться!

По всему гигантскому полукружью амфитеатра застучали откидные сиденья стульев — молодые люди встают. Они делают это не по-солдатски слитно, а неумело, вразнобой. Все взгляды устремлены вниз, к центру.

Очевидно, именно поэтому никто не замечает, что в дальнем ряду под потолком, у самой стены, так и не поднявшись, прикорнула Надя Лузина. Одетая в свою лучшую кофточку и юбку, непривычно завитая, она привалилась плечом к стене и сладко спит — сон сморил ее после очередного суточного дежурства.

А на кафедре, с побледневшим от волнения лицом, стоит в докторском халате и шапочке Сережа Кумысников. Он напряжен, скулы плотно сжаты, и хотя глаза его направлены на застывших в молчании однокурсников, вряд ли он различает сейчас их лица. Голос его негромок, но в аудитории так пронзительно тихо, что его слышат все:

— Получая высокое звание врача и приступая к врачебной деятельности, я торжественно клянусь... — медленно произносит он.

— Клянусь! — это уже голос Тони, она стоит в том самом дальнем ряду под потолком, где за несколько стульев от нее спит Надя.

— Клянусь! — истоково произносит Женя, вцепившись пальцами в кончики нового шарфика.

Держа руки по швам, как и положено мужчине во время присяги, Сережа Кумысников продолжает:

— Клянусь относиться к больному с любовью, вниманием и заботой. Стремиться по первому зову оказать ему необходимую помощь. Хранить врачебную тайну...

На стене, позади кафедры, два полотнища. На них написано:

«Где есть любовь к людям, там будет и любовь к врачебному искусству». Гиппократ

«Спешите делать добро». Доктор Ф. Гааз

Все так же, привалившись плечом к стене, спит Надя. Краем глаза Тоня уже заметила это и пытается хоть как-нибудь, через соседей по стульям, разбудить подругу.

— С ума сошла, Надька! — шепчет она.

Однако, взволнованные происходящим торжеством, соседи не слышат и не понимают Тониных знаков.

Голос Сергея. Все знания и силы посвятить охране здоровья человека, добросовестно трудиться там, где этого требуют интересы общества...

И наконец звучат заключительные слова — теперь уже гремит вся аудитория:

— Верность этой присяге клянусь пронести через всю свою жизнь!

Пожалуй, лишь мертвый не очнулся бы от подобного мощного хора — Надя проснулась. Она вскочила на ноги, в ужасе от того, как это могло с ней произойти; торопливо озираясь, заметили ли окружающие ее позор, она успевает выпалить только одно слово:

— Клянусь!

Неподалеку от кафедры сидят в первом ряду два старика профессора: маленький тщедушный терапевт и могучий, с седой львиной гривой, анатом.

Могучий анатом склонился к тщедушному терапевту и кричит ему в ухо, перекрывая шум:

— Черт возьми, Витя! С каждым выпуском я становлюсь все сентиментальней: это зрелище волнует меня, словно не они, а я заканчиваю курс!..

Терапевт озабоченно посмотрел на него, вынул из верхнего кармана своего пиджака столбик таблеток валидола и протягивает ему одну.

— Положи под язык, — велит он. — И не глотай, по своему глупому обыкновению, а соси.

Снова тихо в аудитории. Стоит на кафедре маленький старик профессор, его голова едва возвышается над краем кафедры. Обведя взглядом замерший безбрежный амфитеатр, он начинает:

— Глубокоуважаемые коллеги!

Впервые знаменитый медик обращается к ним как

равный к равным. И едва заметное шевеление пробежало по рядам:

Сережа Кумысников подправил поаккуратней и повыше галстук.

Тоня незаметным движением натянула на колени слишком короткую юбку.

Женя огладила рукой свою чрезмерно пышную прическу, приминая ее.

Надя Лузина сконфуженно сунула ногу обратно в туфлю — вероятно, новая обувь тесновата ей.

— Сегодня вы все стали дипломированными врачами, — говорит профессор. — Однако я хотел бы предостеречь вас: стать врачом легче, чем быть врачом. Нынешняя медицинская наука вооружила начинающего молодого доктора средствами, с помощью которых он может спасти жизнь человека даже тогда, когда был бы совершенно бессилён сам великий Боткин. Вместе с тем появляются врачи, так напряженно следящие за показаниями новейших медицинских приборов, что забывают лицо больного. Для них не существует личность, характер страдающего пациента, а вместо него на третьей койке слева лежит «митральный порок» или «острый гастрит». И больной начинает тосковать о добром докторе, который, ничего не говоря, просто посидит минуточку вечером у его койки. Со времен Гиппократов между врачом и больным складывались доверительные отношения — духовное уединение вдвоем, охраняемое врачебной тайной. Я глубоко убежден, что каждому больному необходимо исповедаться врачу — ведь, сознательно или несознательно, больной ждет от него не только совета, но и утешения. Бехтерев говорил, что, если пациенту после беседы с доктором не становится легче, то медик этот должен оставить свою профессию...

Из аудитории шумно расходятся молодые врачи. На лестнице Сережа Кумысников поравнялся со стариком терапевтом. Вежливо остановил его:

— Извините, профессор... Вы сказали нам, что врач должен в клинике следить даже за подбором художественной литературы для больных.

— Говорил, — кивает профессор.

— Ну, а что бы вы порекомендовали для чтения самому молодому врачу?

Профессор задумчиво посмотрел на Кумысникова.

— Читайте, мой друг, «Дон-Кихота».

За наспех накрытым столом пируют трое.

Хозяина пиршества можно тотчас же угадать: он одет совсем по-домашнему — в пижамной куртке, на ногах пиленачи. Это молодой человек вполне цивилизованной наружности. Воротник его белой рубахи под пижамной курткой повязан галстуком-бабочкой.

Молодого человека зовут Геной. Он — оркестрант, в просторечии именуемый лабухом. Друзья его, собравшиеся тут, тоже лабухи. Это понятно потому, что в углу подле стола сложены музыкальные инструменты в футлярах.

Все, что стоит на столе, уже выпито. Гости не сильно пьяны, но возбуждены в достаточной степени.

— Выпьем, братцы, за хорошую халтуру! — кричит один из них, беря в руки бутылку. Она пуста, но сгоряча гость не замечает этого и пробует налить из нее в рюмку. — Подумать только, что бы делали люди, если б на свете не существовало халтуры! Жаль, нет у нас такой статистики, а то установили бы: половина России живет на халтуру... Генка, сообрази у деда еще на килограмм!..

Молодой человек подымается и идет в дальний угол комнаты. Здесь, за ширмой, лежит на диване старик.

Геннадий появился за ширмой.

— Дед, будь человеком, дай десятку. Честное слово, отдам... Вчера зажмурился работник райпита, нас пригласили играть на похоронах... Дед, ты слышишь меня? Я же знаю, тебе утром пенсию принесли.

— На водку не дам, — тихо произносит старик.

Геннадий присел к нему на диван.

— Ребята ко мне пришли, дед...

— Каждый день ходят.

— Ну и что? Крепкий коллектив... Дед, а дед, вспомни, как ты сам был молодым. Нам охота погулять... Хочешь, я тебе за лекарством сбегая?

— Пожалел бы ты меня, Геннадий, — говорит старик.

— Это можно, — радостно соглашается внук. Он наклоняется и целует старика. — Хочешь, мы тебе сыграем? — вскакивает. — Знаменитое трио из ресторана «Дунай» исполнит по твоему персональному заказу популярное поурри!..

Он выбежал из-за ширмы.

Громко играет трио. Подвыпившие музыканты стараются вовсю.

Старик лежит на своем диване.

Открылась дверь, вошла Надя Лузина в белом халате с сумкой в руках. По тому, как она взглянула на музыкантов — на Геннадия в особенности, — видно, что эта картина знакома ей и опротивела до предела.

Не говоря ни слова, Надя прошла к больному старику.

Музыка смолкла. Один из оркестрантов шепчет Геннадию:

— Теперь не даст. Чувиха все испортила.

— Вы не знаете моего деда, ребята! — подмигивает Геннадий.

Он заглядывает за ширму.

— Пардон, доктор... Дедушка, ты хотел дать мне десять рублей на расходы по хозяйству.

Секундная пауза. Старик вынимает из-под подушки кошелек и протягивает внуку деньги.

Внук исчез.

Подле старика хлопочет Надя. Она поит его чаем. Кормит, вынув какой-то пакетик с едой из своей сумки.

Шум в комнате усилился. Голоса пьяных оркестрантов стали громче. Очевидно, кто-то из них уже смотался за водкой.

На Надином лице смущение: вроде бы она чувствует себя виноватой за то, что здесь происходит.

Стараясь отвлечь старика, она говорит громко и быстро:

— Микстуру будете принимать три раза в день. Это — отхаркивающее. На ночь — горчичники. Под правую лопатку и на грудь. Я выпишу вам еще растирание...

В этом закутке негде даже написать рецепт. Надя решительно подымается и выходит из-за ширмы в комнату.

— Пламенный привет работникам лучшего в мире здравоохранения!.. — кричит долговязый лабух, тот самый, что уговаривал Геннадия стрелкнуть деньги у старика. — Братцы, налейте доктору фужер...

Надя подходит к столу, сдвигает с его края посуду и пишет рецепт.

— Ноль внимания, фунт презрения, — выламывается лабух. — Задаю лекарю наводящий вопрос: сколько вы огребаετε в месяц?

Надя поднимает на них умоляющие глаза.

— Ребята!.. Товарищи!.. — поправляется она. — У Алексея Сергеевича плеврит. У него температура. Ему семьдесят два года... Неужели вы не можете...

— Правильно. Можем, — говорит лабух. — Чтобы тело и душа были молоды, были молоды! — громко поет он.

Пьяно смеется Геннадий. Взяв скрипку, он играет эту фразу.

Надя вскочила, вырвала из его рук скрипку.

— Сволочь! Скотина...

Выбежала вон из комнаты.

В будке телефона-автомата стоит Надя. Пальто ее осталось в квартире старика. Она в халате, с непокрытой головой, задóхнулась от бега. Старается овладеть своим голосом:

— Бюро госпитализации? Говорит врач Лузина из Восьмой поликлиники. Прошу вас выслать сантранспорт для госпитализации больного. Диагноз? — запнулась. — Крупозное воспаление легких. Возраст? — запнулась. — Шестьдесят пять лет...

Широкий, светлый коридор поликлиники.

У дверей врачебных кабинетов расположились на стульях люди, ожидающие приема; где — погуще, где — поуже.

К дверям, на которых приколота табличка: «Терапевт, Н. Лузина», выстроилась очередь человек в семь.

В этой очереди приметна вальняжная, когда-то, очевидно, красивая женщина лет пятидесяти. Она вяжет кофту, не глядя на спицы, механически ловко орудуя ими. Это привычное для нее занятие нисколько не мешает ей разговаривать с соседями по очереди.

Справа от нее сидит молодой, худенький интеллигент с крайне мнительным лицом. В руках у него подрагивают штук пять бумажек-анализов. Он все время нервно заглядывает в них.

Слева от вальняжной особы сидит женщина лет на пять моложе. Она пытается читать книжку, но вальняжная особа отвлекает ее поминутно. Они познакомились только что, однако поток судорожной откровенности уже обрушивается на читающую женщину.

— Свободного времени абсолютно не остается, — громко говорит ей вальняжная особа. — Раз в месяц к гинекологу, — это уже закон. Знаете, после климакса надо очень следить за собой. Я вообще считаю, лучше лишний раз сходить к врачу. Вы клизмы себе делаете?

Соседка испуганно и стыдливо оглядывается.

— Регулярно надо делать. Не нравятся мне ваши глаза, белки у вас желтоватого тона. Я бы на вашем месте проверила печень. По-моему, у вас холецистит...

Говоря все это и успевая вязать свою кофту, вальняжная особа не упускает из виду жизнь всего коридора. С медсестрами и врачами, проходящими мимо, она здоровается, называя их по имени-отчеству.

Ее внимание привлекает и худенький, мнительный интеллигент, сосед справа.

Она довольно бесцеремонно берет из его рук бумажки-анализы. Болтливая особа, очевидно, уже страдает возрастной дальнорукостью, но ей не хочется вынимать при молодом человеке свои очки. Поэтому, читая, она далеко отставляет бумажку от глаз.

— Цвет соломенно-желтый, эритроцитов — ноль, цилиндры тоже не обнаружены. С почками у вас благополучно... Вам надо проверить РОЭ...

Из дверей кабинета Нади Лузиной выходит больная, очередь передвигается ближе. Теперь болтливая женщина оказывается у самого кабинета.

— Раз в год полезно лечь в клинику для полного обследования, — говорит она, снова оборачиваясь к соседке. — Это выгодно и в экономическом отношении. — Голос

ее понижается: — Пенсия ведь идет... С прошлого своего подозрения на спазм мне удалось пошить демисезонное пальто...

Медсестра выглянула из кабинета:

— Следующий!

Болтливая пациентка поднялась.

Кабинет главврача поликлиники. Это тот самый Петр Иванович, которого мы видели в ординаторской. Замотанный и усталый, вертя в руках очки, он разговаривает по телефону:

— А что прикажете делать, если у меня на двенадцати участках работают десять врачей... Да нет, Лузина производит на меня впечатление грамотного доктора. Хорошо, я выясню...

Он вешает трубку. Надавил кнопку звонка. Приоткрылась дверь, появилась голова секретарши.

— Срочно доктора Лузину ко мне, — велит главврач.

Кабинет Нади Лузиной. Перед ее столом сидит болтливая пациентка. Она уже осмотрена. Застегивая последние пуговицы, развернула на столе журнал «Здоровье» — еще в коридоре она держала его трубочкой на коленях.

Надя делает запись в историю болезни. Женщина протягивает ей открытый журнал, указывая пальцем страницу.

— Я считаю, доктор, что мне необходим вот этот рецепт. Характер моего заболевания безусловно эндокринный...

— Я выписала вам все, что нахожу нужным, — обрывает ее Надя.

— Странно! Но если у меня субъективные ощущения...

В кабинете появляется медсестра.

— Надежда Алексеевна, вас срочно вызывает Петр Иванович.

Кабинет главврача.

Нахмуренный и раздраженный Петр Иванович стоит за своим столом, тяжело опершись на него кулаками.

Надя сидит. Она только что вошла,

— Кого вы вчера госпитализировали? — недобрым голосом спрашивает главврач.

— Больного Терехина, Петр Иванович. С улицы Олега Кошевого, дом...

— С каким диагнозом? — перебивает ее главврач.

— Крупозное воспаление легких, — запнувшись, говорит Надя.

— Я спрашиваю, что вы нашли у него в действительности?

Надя секунду молчит под грозным взглядом главврача.

— Петр Иванович, миленький... — прижимает она руки к груди.

— Надежда Алексеевна, — сухо прерывает ее главврач, — я вам уже неоднократно замечал, что эта студенческая манера обращения — «миленький», «ребята» и тому подобное — совершенно неуместна в служебных отношениях.

Он вышел из-за стола.

— Потрудитесь доложить, что именно вы нашли у больного Терехина?

Надя отвечает старательно, как на экзамене:

— У больного Терехина, с улицы Олега Кошевого, пятнадцать, квартира семь, я нашла плеврит.

— Экссудативный?

— Нет. Сухой.

— Сколько лет Терехину?

— Семьдесят два года... Петр Иванович, неужели его вернули домой? У него же немыслимые условия дома!

— Согласно положению, Надежда Алексеевна, — вам это отлично известно, — бытовые условия не учитываются при срочной госпитализации. Вы заведомо обманули сантранспорт, поставив Терехину гипердиагноз...

— Петр Иванович, но если бы вы зашли в эту квартиру, если бы вы увидели этот кабак... Я же там много раз бывала...

Главврач стоит у окна, спиной к Наде.

— Врач обязан быть честным в любых обстоятельствах.

Надя взрывается:

— Ах, честным? Конечно, честным!.. В учебниках все написано про симптомы, про методы лечения, я это все проходила. Но знаете, чего там нет и чему нас не научили

в институте? Как я должна смотреть в глаза больному, которому не могу помочь! Разве эти проклятые условия безразличны к состоянию больного? Как я могу лечить Терехина, если внук тиранит его?.. Аскорбинку ему написать, да? Глюкозу ввести?.. А мне его жалко, понимаете, жалко!.. И наврала я от жалости... И, пожалуйста, можете давать мне выговор!

Плача, она выбегает из кабинета.

Петр Иванович закурил. Подошел к телефону, набрал номер.

— Райздравотдел? Инспектора Сырцову... Анна Игнатьевна, жалобу бюро госпитализации, которую вы мне переслали, я разобрал. Да, вызывал Лузину. Хорошо, поставлю на коллективе...

Повесив трубку и покурив, снова звонит.

— Больница Эрисмана? Справочное... Скажите, пожалуйста, больной Терехин из третьего отделения в какой палате находится? В шестой? Благодарю вас. А как его самочувствие?.. Благодарю вас...

Вечер. В переулке, расположенном против ярко освещенных окон ресторана «Дунай», остановились Надя и Сергей Кумысников.

— Значит, так, — говорит Надя. — Ты прохаживайся по этой стороне. Кури и прохаживайся. Больше ничего от тебя не требуется.

Она перебегает через дорогу и подходит к подъезду «Дуная». Несмотря на всю решительность, с которой Надя приближается к сановитому швейцару, вряд ли она точно представляет себе, как следует действовать в подобной ситуации. На зеркальных дверях ресторана табличка: «Свободных столиков нет».

Швейцар читает на пороге газету. Он преградил Наде путь, указав пальцем на табличку.

— Мне не нужен столик, — говорит Надя. — Вызовите, пожалуйста, музыканта Геннадия Терехина.

— Сестренка? — подмигивает швейцар.

Надя кивает, решив, что так дело пойдет быстрее.

— Чтой-то к нему все сестренки ходят? Вчера — двое. Прошлую субботу — трое. Большущая, видать, семья у нашего Генки! — Он еще раз подмигивает, критически оглядывая Надю с каблуков до макушки. Осмотр

этот, видимо, не внушает швейцару должного почтения. Однако, заперев дверь на ключ, он исчезает в глубине «Дуная».

В переулке против ресторана стоят на тротуаре Надя и оркестрант Геннадий. По противоположной стороне, куря, прохаживается Кумысников.

Геннадий потный, красный от ресторанный духоты и выпитого без меры пива, разгоряченный своей оглушительно-веселой работой. Надя убеждает его в чем-то, но на его безмозглом лице гуляет слащавая, липкая улыбка.

Во второй и третий раз Надя пытается достучаться до его замусоренного сознания; она даже взяла его за локоть для большей убедительности.

— Я вас очень настоятельно прошу, товарищ Терехин! Алексей Сергеевич вернется домой через три дня. Он еще очень слаб. Вы обязаны создать ему нормальные условия...

— Об чем речь, зайчик, создадим! Для вас, малыш, я готов на все!

Он поднес ее руку к своим мокрым губам.

Мгновенно преображается Надя: застенчивого доктора Лузиной как не бывало. Что-то давно позабытое, детдомовское, внезапно проламывается в ее облике. Ухватив Геннадия за галстук, она наклоняет его к себе:

— Слушай, подонок! Если ты посмеешь еще хоть раз обидеть деда, то я приду со своими ребятами, и они изуродуют тебя, как бог черепаху!.. Понял, малявка?

Геннадий испуганно моргает.

— А ты отчаянная, Надька! — говорит Сергей; они уходят по переулку от ресторана. — Он же мог ударить тебя.

— Конечно, мог. Но ведь ты бы меня защитил, Сережа.

Лесистые берега реки. Вечер.

По реке, не широкой, но быстрой, плывет двухпарная байдарка. Гребут Надя Лузина и Сережа Кумысников. Работают они веслами слаженно.

Нос байдарки упирается в берег — здесь излучина, лес отступил от реки метров на десять, бережок песчаный.

Первой выскочила из лодки прямо в неглубокую воду Надя. Она взялась за нос байдарки и подтянула ее вместе с сидящим Сережей подальше, в песок.

— С ума сойти, какая красотища! — кричит Надя. — Сереженька, ты рад, что я вывезла тебя сюда?

Сергей вышел из лодки. Поднял Надю на руки, повертел вокруг себя.

— Молодчага, Надька! — Опустил ее на песок. — А ребята найдут нас здесь?

— Да и бог, не найдут, — смеется Надя. — Надоел мне город, устала до чертиков, все надоело! — Падает на песок, раскинув руки. — Лежать бы вот так, смотреть на небо...

Вынув из байдарки маленькую палатку, Сергей устанавливает ее неподалеку. Возясь с ней, он методичен: отмеряет шагами расстояние до колышков и переставляет их, если промежутки оказываются несимметричными.

— Облако похоже на слона, — говорит Надя. — Погляди, Сережа, правда?

— Правда, — отвечает Сергей.

— А ты даже не поглядел.

— Я верю тебе на слово, — улыбнулся Сергей. — Облака всегда на что-нибудь похожи. Зависит от воображения.

— Как жаль, — вздыхает Надя. — Мне хотелось бы, чтобы тебе казалось то же самое, что и мне.

— Я постараюсь, — обещает Сергей.

Он закончил установку палатки.

— Ну, вот и готово! Считай, что это наша первая общая жилплощадь. Все удобства! — Указал на реку: — Водопровод! — Указал на лес: — Санузел! — Указал на огромную луну, восходящую на горизонте: — Электричество!..

Надя продолжает лежать не оборачиваясь.

— На свете счастья нет, но есть покой и воля. Разве это правильно, Сережа?

— Поэты всегда преувеличивают, Надюша. Они ведь люди настроения: не понравилось что-нибудь в личной жизни — тотчас стихок. А мы потом учим в школе, обобщаем... Вставай, Надька, будем разводить костер.

Горит костер, разложенный у палатки. Сидят подле него Надя и Сергей.

— А все-таки главных слов ты мне так и не сказал, — говорит Надя.

— А разве нужно?

— Очень.

— Ну, тогда считай, что я их сказал.

— Какие?

Сергей улыбнулся и погладил ее по голове.

— Ты пачитанная, Надюша. Те, которые в книжках. Или те, которые поют в опере, в романсах. Выбери сама. Я согласен на любые.

— Лишь бы не произносить их? — спрашивает Надя.

— А ты знаешь, сколько парней произносили их девушкам до меня?

— Ну и что?

— Неохота повторяться.

— А ты сочини что-нибудь новое. Или не надо. Скажи что попало. Я поверю.

Он обнял ее.

— А вам не кажется, доктор Лузина, что слова, в общем, мало чего стоят? По Павлову — это ведь не более чем вторая сигнальная система. Способность человека к абстрагированию.

— Не шути, — просит Надя. — Сейчас не надо шутить.

Он помешал в костре толстой веткой, пламя и искры взметнулись высоко.

— Ладно, — сказал Сергей. — Я не буду шутить. Дело действительно серьезное. Я прошу твоей руки и сердца... Ты согласна?

— Странно, — сказала Надя после паузы.

— Что странно?

— Зачем я тебе нужна, Сережа?

— Это глупый вопрос.

— Глупый, — кивает Надя. — Жутко глупый... Вот это мне и кажется странным. Почему я, в ответ на твое предложение, не бросилась тебе на шею? Ведь я должна была броситься... Тебя это не смущает?

Сергей пожал плечами.

— По-моему, в таких случаях не бывает однозначных поступков. Можно — так, можно — иначе, какая разница?

— Ого, еще какая!

— И вообще, я терпеть не могу заниматься психологией, — сдерживая легкое раздражение, говорит Сергей. — Есть ты, есть я, мы любим друг друга...

— Кто это сказал? — перебивает его Надя.

— Что именно?

— Что мы любим друг друга?

Он смотрит на нее:

— Иногда мне кажется, что ты воспитывалась не в детдоме, а в благонамеренной семье в девятнадцатом веке.

— Ты помнишь свое детство, Сережа?

— Конечно. Оно было симпатичным.

— А у меня его не было. Я все время ждала, чтобы оно поскорее кончилось... Я люблю тебя, Сережа.

Они помолчали. Он поцеловал ее.

— Извини, — говорит Сергей. — Извини, пожалуйста...

Он поднялся.

— Тебе холодно?

— Немножко, — кивает Надя.

Он накинул свой пиджак на ее плечи.

— Мы будем жить хорошо, Надюша. Я уверен в этом. У нас не будет причин для серьезных ссор. Дело ведь не в том, что сегодня мы с тобой впервые ночуем вдвоем в этой палатке...

— Для меня — и в этом, — говорит Надя.

Возможно, он не расслышал ее слов.

— Дело в том, Надюша, что впереди у нас огромная, осмысленная совместная жизнь. И это несравненно важнее любых начальных признаний. Начальное чувство может пройти, даже наверное оно потом пройдет...

— Еще и не началось, а тебе уже известно, что оно пройдет? — тихо спрашивает Надя.

— Но пойми, взамен придет нечто большее — сродство душ, взаимное беспокойство друг за друга, человеческая верность...

Из леса внезапно раздается далекий крик:

— Сережка-а!.. Надька-а!.. Ау!.. Где вы?

— Не откликайся, — тихо и быстро говорит Сергей.

Но Надя вскочила на ноги и приложила руки рупором ко рту.

— Здесь! — кричит Надя. — Ребята, мы здесь!..

Дежурная комната неотложки.

Медицинская сестра кипятит на электрической плитке маленькие металлические корбочки со шприцами.

Фельдшер Нина сидит за столом у телефона. Телефон звонит часто. Это ясно по тому, каким бесстрастным голосом Нина задает одни и те же вопросы:

— Что у вас случилось? Температура? Возраст? Адрес? Как пройти в квартиру? Кто звонит?

Плечом она прижимает трубку к уху и одновременно записывает все эти сведения.

В промежутках между телефонными звонками фельдшер Нина разговаривает с медсестрой Ритой:

— А я тоже пошла на принцип. Катись, говорю, не отвечивай тут. А он просит: выслушай человека, может, я сам переживаю... Чего тебе, говорю, переживать? Залил себе глаза винищем... Ну, он, конечно, опять: давай по-хорошему, Нинок? Я же тебя фактически люблю. Создадим семью, оттоманку возьмем в кредит. А пить, спрашиваю, бросишь? Как дважды два, говорит.

Зазвонил телефон. Нина взяла трубку.

— Неотложная помощь. Что у вас случилось? Температура? Возраст? Адрес? Вход с улицы, со двора? Этаж? Кто звонит?

Положила трубку. Записала. Продолжает рассказывать:

— На свое Восьмое марта я ему модельные полуботишки купила. Бежевые, югославские. Сорок рублей отдала...

— Сорок? — ахает медсестра. — Это ж надо!..

— Кровь сдала утром, с полочки добавила и снесла в магазин. А он, паразит, сегодняшней год ни разу цельной зарплаты домой не принес: с аванса — пять рублей и в окончательный расчет — восемь...

Входят с улицы Надя Лузина и шофер.

Надя вынимает из своего докторского чемодана карточки вызовов и кладет на стол фельдшеру. Не присаживаясь, рассматривает новые карточки, только что заполненные Ниной.

— Всё хроники, Надежда Алексеевна, — говорит Нина. — Совершенно обнахалились. Слишком у нас доступная медицинская помощь. У пенсионера где-нибудь зачешется, он требует врача...

— А это что? — спрашивает Надя, протягивая одну

карточку. — Девятнадцать лет. Рвота. Температура тридцать девять.

— Переложил, наверно, с вечера. Теперь, Надежда Алексеевна, ужас как пьют. Себя не помнят. Дадите ему кофеинчику, камфары инъекцию... Зина, смени доктору шприцы. — И, не меняя интонации, добавляет: — На Лахтинской французские чулки выкинули...

Кабинет главврача поликлиники.

Сидят друг против друга, разделенные столом, главврач Петр Иванович и санитарка Таня. Сразу же бросается в глаза странная расстановка сил в этой беседе и даже противоестественное соотношение поз беседующих.

Санитарка Таня, пожилая курящая женщина, рябоватая, высокая и достаточно тощая, спокойно откинулась на стуле, мерно разглаживает платье на своих коленях.

Главврач же Петр Иванович привалился грудью к столу в направлении Тани и как бы старается заглянуть ей в глаза.

— Не понимаю, Танюша, чем мы вам не угодили. На доске почета висит ваша фотография. Написано в стенгазете, что вы замечательная санитарка. Полторы ставки я вам дал. Вы же получаете больше, чем некоторые врачи...

— Вы мою работу, Петр Иванович, с врачом не равняйте. Я целый день на ногах, а он сидит на стуле, рецепты пишет...

— Позвольте, Танюша, но у него же высшее образование! — с видимым усилием подавляя вскипающее возмущение, восклицает главврач.

— У нас, Петр Иванович, в Советском Союзе все равные.

— Ну, хорошо... Ну, хорошо... — говорит главврач, кладя себе под язык таблетку валидола. — Конечно, в принципе мы все равны, это вы абсолютно правильно, Татьяна Васильевна, заметили...

— У меня брательник работает на бойне, рогатую скотину бьет, образование — четыре класса, а третьего дня получил благодарность в приказе.

— Я понимаю, — прижимает руки к груди главврач. — Но вы-то прослужили у нас в поликлинике всего три месяца. И в паспорте вашем уже и места-то нет для штампов увольнения...

— Вы мне, Петр Иванович, моим паспортом в лицо не тычьте.

— Да и в другом месте вам больше денег не дадут.

— Не в деньгах счастье.

— А в чем же, в чем оно для вас? — уже почти драматически восклицает главврач.

— Я в Военно-медицинскую пойду. Там офицеры лежат. Дуська Гавриленко проработала полгода в глазном, выскочила за хорошего человека...

— Сколько же лет вашей Дуське? — зло спрашивает главврач.

— Мы с ней с одного года... Сержант лежал в глазном...

— Слепой, что ли?

— Немножко недосматривал...

— Хорошо, оставьте заявление, я подумаю.

— Да думать, Петр Иванович, нечего. Я с завтра на работу не выйду. — Она поднялась.

— Только попробуйте. Мы вам напишем такую характеристику...

— Бумажки, Петр Иванович, для человека умственного труда важные. А нашего брата, санитарок, из заключения берут, и то рады... До свиданья, Петр Иванович. Не сердчайте на меня... Устала я одна жить... Каждый человек ищет свое счастье.

Она встала и пошла к дверям.

В дверях сталкивается с торопливо входящей Надей Лузиной.

— Петр Иванович, у меня умирает больной!.. — почти с порога говорит Надя.

У постели молодого парня сидит главврач.

Надя поддерживает голову парня, обвисшую над тазом. На короткое время приступ, очевидно, прекращается. Надя укладывает голову больного на подушку. Лицо его белое и мокрое от пота. Глаза помутившиеся.

В ногах парня стоит его мать. Она обезумела от страха и горя. Она приговаривает дрожащими губами, без всякого выражения:

— Владик, не надо... Владичек, не надо... Владик, не надо...

Главврач обернулся. Резко сказал:

— Мамаша, вы нам мешаете. Выйдите отсюда.

Женщина покорно выходит.

Приступ рвоты повторяется еще и еще раз. У больного уже нет сил. Придерживая его повисшую голову над тазом, Надя смотрит на главврача испуганными, молящими глазами.

Когда спазмы на минуту прекращаются и Надя снова укладывает больного на подушку, главврач склоняется над ним. Щупает его лоб. Покачал головой.

— При гастрите, Надежда Алексеевна, не бывает такой высокой температуры... Открой, голубчик, рот, — обращается он к больному.

Повернув измученное лицо парня к свету, главврач заглядывает ему в рот. Кивает Наде, чтобы она посмотрела.

— Теперь понятно? — тихо спрашивает он. — И лечить его надо не от гастрита, а от фолликулярной ангины. — Голос Петра Ивановича понижается до шепота. — Как же можно, Надежда Алексеевна, осматривая больного, не заглянуть ему в горло?

Пылающее лицо парня на подушке. Он ничего не слышит.

По лестнице спускаются главврач и Надя.

— Не ревите, — велит главврач.

— Я дура, — всхлипывает Надя. — Безграмотная дура...

Она вдруг утыкается лицом в плечо Петра Ивановича и плачет уже вовсю.

Он растерянно гладит ее по голове.

— Симпатичный вы человек, Наденька, — неожиданно произносит он. — Вы просто устали... Я виноват: нагрузил вас, как ломовую лошадь. И, по моим наблюдениям, вы отвратительно и нерегулярно питаетесь. Обедали сегодня?

— Обедала.

— Что именно? Что было на первое и что на второе?

Надя вытирает слезы.

— Суп ела...

— Врете. Кефир, наверное, пили на ходу... Сколько у вас еще сегодня вызовов?

— Не много. Три.

Петр Иванович вздохнул.

— Ну, ладно. Три — это действительно не много... Если не считать, что десять вы уже сделали, и все это после приема в поликлинике...

Расставшись с главврачом, Надя идет вдоль длинного ряда новых домов — огромный, недавно отстроенный квартал простирается перед ней, разобраться в нем трудно.

Она вошла в один из дворов, здесь множество парадных подъездов. Устало движется мимо них, всматриваясь в номера квартир на табличках.

В центре двора благоустроенный палисадник — молоденькие деревца, цветы, дощатый стол, окруженный скамьями.

За этим столом человек пять мужчин шумно играют в «подкидного дурака». Выиграл, очевидно, пожилой мужик — лысый, долговязый, жилистый. Он медленно и аккуратно сложил колоду карт, сладострастно поглядывая на проигравшего молодого парня.

— Давай подставляй! — командует лысый.

Парень испуганно наклоняет свое лицо над столом.

Лысый изо всех сил бьет его колодой карт по носу. Парень дернулся в сторону. Слезы выступили у него на глазах.

— Не дергайся! — велит лысый.

Бьет еще раз. Люди за столом хохочут.

Лузина обходит подъезды, разглядывая номера квартир.

— Вы — доктор? — раздается громкий голос из палисадника.

Она оглянулась. Закончив экзекуцию, лысый поднялся из-за стола. Это он окликнул Лузину.

— Да, — отвечает она. — Я из поликлиники. Мне нужна квартира сто семьдесят шестая...

— А почему опоздали? — строго спрашивает лысый. — Я вызывал утром. Помереть можно, куда вы придете.

— У меня сегодня очень много вызовов, — говорит Лузина, в тоне ее слышится невольное оправдание.

— Порядка у вас нет! Развели бюрократизм! Вот напишу жалобу, снимут с вас стружку, будете знать!..

— Я прошу вас указать, в каком подъезде сто семьдесят шестая квартира? — сдерживая себя, спрашивает Лузина, обращаясь уже не к лысому хаму, а к окружающим его людям.

Однако отвечает ей он:

— Третий подъезд, восьмой этаж. Звоните посильнее — моя старуха глуховата.

Лузина вошла в третий подъезд. Надавив кнопку лифта, ждет. Кабина не опускается. Приложив ухо к шахте и поняв, что лифт не работает, Лузина двинулась вверх по лестнице. Идет трудно, отдыхая на площадках.

Добравшись до восьмого этажа, Лузина видит, что дверь кабины приоткрыта — вот почему лифт не работал. Тщательно закрывает дверь кабины.

Отдышавшись, звонит в сто семьдесят шестую квартиру.

На пороге — женщина в фартуке, руки ее в мыльной пене.

— Я из поликлиники, врача вызывали?

Пройдя вслед за женщиной в квартиру, Лузина видит в открытой ванной комнате кучу стираного белья.

Мыльная пена хлопьями на полу.

— Где больная?

— Я больная, — отвечает женщина, снимая фартук.

Снова двор с палисадником. Игра в «подкидного дурака» продолжается. Теперь проиграл, очевидно, лысый. Молодой парень, которого давеча лысый сек по носу, ухмыляясь, собирает карты в колоду.

— Давай подставляйся, дядя Федя! — командует он.

— Неужто бить будешь старика? — ноет лысый.

— А как же, дядя Федя, — законно!

Парень не успевает ударить. Из подъезда вышла Лузина, она приблизилась к играющим.

Подавляя гнев, обращается к лысому:

— У вашей жены нормальная температура. У нее обыкновенный насморк. Как вам не совестно вызывать по таким пустякам врача?

— Ах, совестно! — кричит лысый. — Сама опоздала, и сама еще нахально попрекает!.. Граждане, вы свидетели, как она нас обслуживает!

Уже не в силах сдержать себя, Надя зло отвечает:

— Обслуживают вас в парикмахерской, в магазине, в сапожной мастерской... А врач — лечит больных людей. Понимаете — лечит!

— Подумаешь, цаца какая! — кричит лысый. — А что, сапожник не человек? Такая же личность, как и не вы. У нас все равные... Вам зарплату платют, чтоб ходили. Вот пожалуй вашему министру, пускай подымает воспитательную работу в поликлиниках... Говорите свою фамилию, я сей минут запишу!..

Надя пошла к воротам, не дослушав его. Он хотел было догнать ее, но парень цепко ухватил его за рукав.

— Подставляйся, дядя Федор!

И не дождавшись, покуда лысый выставит вперед свою нахальную морду, парень ловко и сильно, крепкой молодой рукой, в которой каменно зажата колода карт, лупит лысого по носу. И раз, и второй, и третий.

Окружающие хохочут.

Уже ранний вечер. Стемнело. В окнах домов появляются огни. Все по той же длинной широкой улице, теперь запруженной людьми, возвращающимися с работы, идет Надя Лузина.

Подле двери булочной стоит хлебный фургон. Грузчик проносит ящики со сдобными плюшками. И, очевидно, аромат сдобы так соблазнителен, а голод так силен, что Надя входит в дверь булочной. Устало опершись о барьер, она движется с очередью.

— Давай, давай, тетка! Заснула, что ли? — торопит ее мальчишка, стоящий позади. Он не видит ее лица.

— Да она хвативши! Верно, тетенька? — хохочет второй.

Взяв трп плюшки и положив их в свою большую сумку, Надя снова идет по вечерней улице.

На тротуаре торгуют с тележки молоком. Надя берет бутылку молока. Пройдя шагов десять, заглядывает в пустой подъезд. Вошла, оглянулась, не спускается ли кто по лестнице, и торопливо отпивает молоко, закусывая булочкой.

Зарядил мелкий, частый дождь. Толпа прохожих убывает темп. В этой толпе, то исчезая в ней, то снова выныривая, шагает участковый врач Надя Лузина. Дождь усиливается. Прохожие забегают в подворотни переждать непогоду. Тротуар постепенно пустеет. Надя подняла воротник своего пальто, достала из сумки непромокаемую косынку, прикрыла голову.

Она переходит широченную улицу, выбирая места посуше. Визжат тормоза автомобилей. Надя бежит по лужам, в этом месте нет перехода.

И вот наконец нужный подъезд во дворе. Она быстро вошла, запыхавшись, прислонилась к стене, сбросила косынку и поправила свою спутавшуюся несложную прическу.

Надя медленно подымается по лестнице.

Пожилая женщина-дворник сметает во дворе жилмассива мусор, нанесенный потоками дождя, в канализационный люк. Заглянула мимоходом в подъезд.

На подоконнике лестничной площадки кто-то сидит; сидит как-то нехорошо, боком, упершись лбом в стекло большого окна.

Дворничиха кричит снизу:

— А ну марш отсюда! Сейчас дружинников кликну! ..

Однако, поднявшись па несколько ступенек, она роняет свою метлу.

— Боже ж ты мой, Надежда Алексеевна! ..

— Ничего-ничего, тетя Лиза... Я только минуточку посижу, сейчас пройдет...

На кушетке в комнате дворничихи полулежит Надя. Смушенная не столько своим состоянием, сколько тем, что причиняет невольные хлопоты посторонним людям, она уже порывалась несколько раз подняться и уйти домой, но властный, категорический тон дворничихи обезволивает ее и всякий раз снова пригвождает к кушетке.

Суетясь подле плиты в маленькой кухоньке, дворничиха поминутно заглядывает в комнату.

— Сказано лежать, значит, лежи. Куда ты такая пойдешь — на тебе вои лица нет. Посмотрись в зеркало — ни кровиночки. Ухайдакалась, Надежда Алексеевна, разве ж так мыслимо?..

В кухне примостились на одном табурете еще две старухи, соседки по дому. У одной из них в руках банка, у другой — бутылка.

— В кипяток заваривать или в чай? — деловито спрашивает у них дворничиха.

На двух конфорках закипают чайник и кастрюлька.

Дворничиха вошла в комнату, порывалась в тумбочке, вынула термометр.

— Поставь, — велит она Наде.

— Да нет у меня температуры, тетя Лиза. Просто я сегодня немножко устала.

— Поставь, тебе сказано. И держи хорошо, по-честному. Туфли скинь, протяни ноги... Девочки! — окликает она старух в кухне. — Заварили?

Две старухи над плитой, как две колдуньи, заваривают свои снадобья из банки и из бутылки в чайник и кастрюлю.

Дворничиха укрыла Надины ноги шерстяным платком. Надя вынула из-под мышки термометр.

— Ну, вот видите, тетя Лиза: тридцать пять и четыре — нормальная.

— Для покойника нормальная... Бульону тебе надо бы попить. Борща наваристого со свининкой... Ну как, девочки, померли вы там, что ли? — снова кричит она старухам.

Они входят в комнату, держа каждая по чашке чародейского напитка.

— Который сперва? — спрашивает дворничиха.

Обе старухи одновременно протягивают свои чашки.

Надя покорно пьет. Отпив, спрашивает:

— Что это у вас, бабушка?

— Трава, — отвечает одна старуха.

Отпив из другой чашки, Надя спрашивает:

— А у вас что, бабушка?

— Корень, — отвечает вторая старуха.

— Ты пей, — велит дворничиха. — Пей по глоточку и думай: сейчас поможет, сейчас полегчает — оно и вправду полегчает. Поспишь минуток полтораста и взойдешь в себя...

В той же комнате. Очевидно отлежавшись, Надя собирается уходить. Она надевает туфли, причесывается перед зеркалом, поправляет подушки на кушетке.

Дворничиха моет посуду в кухне.

— Хотела тебя спросить, Надежда Алексеевна. Видела вас как-то в кино с чернявеньким таким. Он кто тебе приходится?

— Никто. Учились вместе. Хирург он.

— Женатый?

— Нет.

— А что ж так?

— Собирался жениться, но все расстроилось.

— Почему?

— Не пошла она за него.

— Выпивает?

— Даже не курит.

— Может, он гулял от нее?

— Нет.

— Ну и дурища. Чего ж ей тогда надо было?

— Он ее не любит.

— Не уважает, что ли?

— Нет, уважает. Но только не любит.

— Постой. Как это не любит, раз хотел жениться?

— Он головой хотел, а не сердцем.

— Так голова же — надежней! Значит, обдумал, рассудил, принял положительное решение. А что — сердцем? Сердцем можно такого прохиндея полюбить, что всю жизнь будешь маяться.

— Ну и пусть.

Дворничиха вошла в комнату с мытой посудой.

— Семья должна быть у человека. Хоть какая, а семья. Ради кого тогда и жить?.. Вон ты добежалась: ни

поесть вовремя, ни передохнуть, ни поговорить с родным человеком. . . Засидишься в девках, а потом не возьмут.

— Полюбим друг друга — выйду.

— А надолго ли этой любви хватает, Надежда Алексеевна?

— На всю жизнь.

Протянув Наде пузырек с напитком, дворничиха говорит:

— Выпьешь на ночь. Может, тебе во сне и покажут такого мужа.

Надя засмеялась.

— Мне, знаете, тетя Лиза, что чаще всего снится? Лестницы, лестницы, лестницы. . . Бесконечные лестницы. Вверх-вниз. Вверх-вниз. . .

Просторный, светлый коридор поликлиники.

У дверей врачебных кабинетов сидят на стуле пациенты, ожидающие приема. Наиболее нетерпеливые переминаются с ноги на ногу у степ — их очередь скоро подходит.

Подле двери с табличкой: «Терапевт, врач Н. Лузина» больных побольше, нежели у других кабинетов.

И снова в этой очереди приметна вальяжная особа — мы уже видели ее когда-то в той же самой позиции. Она и нынче, как и тогда, виртуозно вяжет кофту, не глядя на спицы и бдительно держа в поле своего зрения весь коридор. С медсестрами и врачами, проходящими мимо, она здоровается как с давними друзьями:

— Привет, Ксеничка!

— Здравствуйте, душенька.

— Добрый вечер, Леонид Сергеевич!

Ей рассеянно кивают в ответ.

За то время, что мы ее не встречали, она несколько огузнулась, но не потеряла своей живости и неистребимой жажды общения. Сегодня ей не повезло: справа от нее сидит здоровый, цветущий парень лет двадцати двух, контакт с которым наладить совершенно невозможно — он не обращает на свою соседку никакого внимания. Лицо этого парня кажется нам знакомым — вроде бы мы уже видели его ранее, — но пока нам не удастся узнать его.

— Простите, вы в первый раз к доктору Лузиной? — спрашивает парня валььяжная особа.

— Нет, — не поворачиваясь, односложно отвечает он.

— Что-то я вас здесь не встречала.

Молчание.

— Вообще говоря, доктор Лузина недурной специалист. Характер у нее, правда, несколько резковатый. И я бы сказала, что, несмотря на свою молодость, она излишне консервативна. Сейчас в медицине столько восхитительно новых средств! Они буквально преображают человека. А все эти банки, горчичники, аспирин — так лечили наших дедов!

Парень посмотрел на нее.

— Вашего деда не могли лечить аспирином, — говорит он.

— Почему?

— Потому что в то время аспирин еще не изобрели.

Она возмущенно отворачивается, спицы в ее руках мелькают с космической скоростью.

Кабинет Нади Лузиной.

На диване лежит голый до пояса рослый мужчина, Надя ощупывает его печень.

— Вдохните. Глубже, голубчик. Не напрягайте живот... Еще раз вдохните. Садитесь, пожалуйста. Покажите язык... — Она оттягивает его нижнее веко и осматривает белки глаз. — Ну вот, печень у вас, к сожалению, опять разгулялась. Придется полежать, полечиться... Одевайтесь, голубчик.

Натягивая на себя рубаху, рослый мужчина ноет:

— Да не могу я сейчас лежать, доктор! Конец квартала нынче, у меня же в цеху план горит, мы же обязательства взяли...

Надя пишет за столом. Невозмутимо спрашивает:

— А кто третьего дня провалялся у себя в цеху полсмены с грелкой?

— Ну, было, — гудит он. — А потом оклемался...

Продолжая писать, Надя спрашивает:

— А кому вчера заводская медсестра делала инъекцию понтопона?

— Ну, делала. И полегчало сразу. — Он уже оделся. — Я знаю, это вам моя Клавдия настучала, делать ей нечего...

Надя отложила перо.

— И не совестно, Григорий Ильич? Ваша жена беспокоится о вашем здоровье, старается готовить вам диетическую еду...

— С этой еды ноги можно протянуть, — ворчит Григорий Ильич.

— Глупости. А как же вегетарианцы живут всю жизнь?

— Так они ж идейные. Ради идеи можно и поголодать. А я в творог не верю. Я в мясо верю... Вы мне дайте такое лекарство, чтобы я...

— Ну, вот что, — рассердилась Надя. — У себя в цеху вы — мастер. А здесь — мой пациент. И извольте делать то, что я вам велю. Ясно?

— Ясно, — покорно говорит он. — Вас не послушаешься, вы начальству доложите.

— Правильно, голубчик, — непременно доложу, — улыбается Надя. — Значит, договорились: бюллетень я вам даю сперва на пять дней.

Снова коридор поликлиники у дверей кабинета Лузиной.

Первый в очереди — цветущий молодой парень. Вальяжная особа, сидящая рядом, повернулась к нему спиной и, продолжая ловко орудовать вязальными спицами, обрушивает свою неудержимую словоохотливость на девушку слева:

— Главное — не идите слепо на поводу у врачей. Культурный больной должен до некоторой степени руководить врачом. Ведь вы наблюдаете себя круглые сутки, а доктор видит вас всего пять минут во время приема. Вы ему абсолютно безразличны, а для себя вы самый дорогой человек на свете...

Она отложила вязанье и развернула на своих коленях журнал «Здоровье», лежавший у нее трубочкой в сумке.

— Очень рекомендую вам этого журнал. Лично я лечусь исключительно по нему...

Девушка наивно спрашивает:

— Зачем же вы тогда ходите сюда в поликлинику?

— Видите ли, милочка, на основе чтения этого журнала у меня возникает ряд подозрений относительно моего здоровья. Вот, скажем, рак. Раньше им болели только пожилые люди, а нынче рак помолодел. Следовательно, я должна проверить себя по поводу онкологии. И вам настоятельно советую...

Лицо девушки становится несколько испуганным.

— Но у меня нету никаких симптомов.

— И у меня нету. Тем более это опасно!..

Из кабинета вышел больной. На пороге показалась медсестра:

— Следующий! — Увидела вальяжную особу. — Гражданка Ефимова, вы же только два дня назад были, мы вам ЭКГ делали, рентген делали, кровь брали, желудочный сок...

— Насколько мне известно, — высокомерно отвечает особа, — лечебная помощь в нашей стране бесплатная и общедоступная!

Молодой цветущий парень вошел в кабинет Лузиной. Сел на стул.

— Слушаю вас, — говорит Надя.

Заканчивая свои бесконечные записи, она еще не успела взглянуть на него.

Он смущенно молчит.

— Я вас слушаю, — теперь уже глядя на него, повторяет Надя. — На что вы жалуетесь?

— Ни на что... Я здоровый. Меня мама прислала.

— Мама? — удивлена Надя. — Чья мама?

— Моя... Не узнаете, доктор? — огорченно спрашивает парень.

Надя всмотрелась в него.

— Ой, у вас же была фолликулярная ангина! — Она радостно всплескивает руками. — Я же из-за вас чуть с ума не сошла от страха! Я же тогда поставила неправильный диагноз...

— Как это неправильный? — обижается парень. — Вы меня от смерти спасли. Я совсем отдавал концы. Ночевали даже один раз у нас. Я-то не помню, у меня жар

был, мама рассказывала. — Он помялся. — А теперь вот женюсь. Пришел приглашать на свадьбу. Мама велела, пускай с супругом приходит: у такого, говорит, доктора, наверное, и супруг замечательный...

Приемный покой больницы. Глубокая ночь.

На полу стоят пустые носилки. Парень лет двадцати шагает подле них взад и вперед, держа в руках свернутую комом женскую одежду — платье, белье, туфли.

В докторском халате быстро вошел Сергей Кумысников.

— Вы привезли больную Лебедеву?

Парень метнулся к нему:

— Я.

— Садитесь. Доктор Кумысников. У нас мало времени. Вы — муж?

Парень кивает. Он так и не сел, а только положил на стул одежду жены.

— У вашей супруги аппендицит, осложнившийся гнойным перитонитом. Операция необходима немедленно, и ее уже готовят. Как хирург, я обязан спросить ваше согласие.

— А Зина согласна?

— К сожалению, в данный момент больная без сознания. Поэтому я и спрашиваю вас.

Пауза. Судорожно глотнув, парень спросил:

— Доктор, это опасно?

— Не стану вас обманывать — вы мужчина. — Кумысников незаметно посмотрел на часы. — Пожалуйста, поскорее.

— Хорошо, — сказал парень. — Согласен. — И добавил просто, без всякого выражения: — Если Зина умрет, я утоплюсь.

Кумысников приоткрыл дверь в соседнюю комнату.

— Сестра, дайте, пожалуйста, товарищу валерьяновых капель. — Обернулся на прощанье к парню: — Я обещаю вам сделать все, что в моих силах. А сейчас идите домой — операция может продлиться долго, ждать вам здесь совершенно бессмысленно. — Еще раз обернулся в соседнюю комнату: — Попрошу вас, сестра, дать това-

рищу с собой две таблетки элениума, пусть примет перед сном. — Пожал Лебедеву руку. — Утром позвоните в справочное. Будем надеяться на удачный исход.

Парень шагнул вслед за ним.

— Доктор, мне жить без нее невозможно. Это я вам точно говорю...

Послеоперационная палата. У постели больной, на высоких штативах, висят капельницы с глюкозой, с физиологическим раствором; шланги от нее ведут к телу оперированной. Пустая, использованная кислородная подушка лежит на табурете. Пожилая медсестра обвязывает марлей горловину второй кислородной подушки.

Кумысников сидит подле больной, измеряя ей давление. Он сидит здесь давно — это видно и по сбитому на сторону галстуку под халатом, по расстегнутому вороту рубахи и по спутанным, выбившимся из-под круглой белой шапочки волосам. Мы впервые видим его в таком расхристанном состоянии.

Что же касается пожилой хирургической медсестры, то это ведь особая порода людей, не столь уж часто встречаемая: сдержанное собственное достоинство, невозмутимая выдержка в любых, самых острых больничных обстоятельствах, размеренная точность и скупость движений, немногословие и поразительное умение всегда оказываться именно в том месте, где этого требует неотложная срочность положения, — вот какими чертами характера обладает в полной мере та пожилая медсестра, что сейчас находится в послеоперационной палате.

— Грелку к ногам! — тихо велит Кумысников.

— Я уже положила.

Отгнув в ногах больной одеяло, он пощупал грелку.

— Надо сменить воду.

— Сергей Петрович, я только что налила кипятка.

— А я прошу вас сменить воду! — резко повторяет он.

— Хорошо, — звучит спокойный ответ.

Уже две использованные кислородные подушки лежат на табурете. Резиновую трубку третьей, тоже наполовину опустевшей, Кумысников держит у губ оперированной

больной. Медсестра заполняет капельницу кровью для переливания.

Наклонившись к лицу больной и увидев ее открытые глаза, Кумысников спрашивает:

— Зина, вы меня слышите? — Голос его беспокоен.

Очевидно, он обращается к ней не впервые, но открытые глаза больной лишены смысла.

— У меня все готово, — говорит медсестра.

Кумысников пробует ввести иглу в вену, однако, то ли от волнения, то ли от неопытности, инъекция у него не ладится. Лицо его покрывается крупным потом.

За его спиной раздается все тот же тихий, спокойный голос:

— Позвольте, Сергей Петрович. Обычно это поручается мне.

Он обернулся:

— У нее очень тонкие вены, никак не попасть иглой. . .

Поднявшись, уступил место медсестре. Она быстро и ловко проделывает все, что нужно. Медленно, едва заметно понижается уровень крови в капельнице.

Счет времени уже давно утерян Кумысниковым. Беспокойство и почти отчаяние сменяется порой на его лице внезапно сверкнувшей надеждой — в конце концов, он еще очень молод, Сережа Кумысников. В этом состоянии он совершенно не умеет ждать в бездействии, и поэтому чаще, чем, может быть, нужно, он шупает пульс больной, измеряет ей давление, возится с кислородом.

Была ночь за окнами палаты, затем разгорелся день, и снова разом ожили уличные фонари.

— Я заварила кофе, — говорит медсестра. — Вам следует сейчас же выпить.

Он покорно идет к столику в углу и, не присаживаясь, пьет.

Медсестра подливает глюкозу в капельницу. Кумысников снова приблизился к постели, наклонился:

— Вы слышите меня, Зина?

— Я ввела ей понтопон. Она, вероятно, спит.

Помедлив, он подошел к медсестре, без надобности потрогал шланг.

— Я вам нагрубил вчера. . . — тихо произносит Сергей.

— Если бы за тридцать лет работы я обращала внимание на все то, что говорят хирурги. . . Вы еще сравнительно вежливы, Сергей Петрович. Пойдите в ордина-

торскую и прилягте. Я позову вас в случае необходимости.

Но он снова опускается на стул у постели больной и в сотый раз щупает ее пульс.

Из дверей поликлиники выходит Надя. Она успевает сделать несколько торопливых шагов — ее нагоняет такси с приоткрытой на ходу дверцей. Сперва машина медленно ползет вдоль тротуара, а когда Надя хочет перейти дорогу через переулок, такси сворачивает в этот переулок и преграждает ей путь.

Из машины высунулся Сергей Кумысников. Он взял Надю за руку.

— Садись быстренько, тут нельзя останавливаться... Она села рядом с ним.

Наклонившись к шоферу, Сергей говорит адрес, но шум улицы и машины заглушают его голос.

Сидит молча Надя, рядом с ней молчит Сергей. Посмотрев в окно, она удивленно оборачивается:

— Куда ты меня везешь?

— Куда надо, туда и везу.

Уже по окраинным улицам города мчится такси; выносятся на шоссе. Здесь, свернув в сторону, на проселок, машина остановилась. По обе стороны проселка молодой лес. Опадают листья с деревьев.

— Подождать вас? — оборачивается шофер.

— Не надо.

Машина ушла. Сергей с Надей остались на обочине.

— Считай, что я прискакал за тобой на коне, — говорит Сергей, — перекинул через седло и привез сюда. Спасибо, что ты при этом не кричала.

Они вошли в лес.

— Куда мы идем? — спрашивает Надя.

— Никуда.

— Я тебя серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю — никуда. Я привез тебя на край света.

Надя остановилась.

— Что с тобой, Сережа?

— Ничего. Я понял наконец, как следует поступать с тобой, а заодно — и с собой.

Они идут.

— Здесь чертовски красиво... Хочешь есть? У меня с собой бутерброды и пиво. Я хотел взять термос с горячим чаем, но он не вошел в карман.

Они идут.

— Позавчера я дежурил у себя в клинике. Ночью доставили девушку с разлитым гнойным перитонитом. Я сделал ей операцию, почти не надеясь на успешный исход. В приемном покое сутки сидел парень. Он сказал мне: доктор, если Зина умрет, я утоплюсь.

— Она жива? — спрашивает Надя.

— Два дня я не уходил из клиники. Кажется, это первый человек, которому я реально спас жизнь... Надя, мне невозможно жить без тебя. Ты молчи. Не отвечай мне. Я третьи сутки на ногах. И не останавливайся, пожалуйста, иначе я упаду — сперва на колени перед тобой, а потом на эти листья — и засну мертвецким сном...

Они продолжают идти.

Кабинет инспектора горздравотдела.

Инспектор Анна Игнатьевна Сырцова — молодая энергичная женщина, не лишенная приятности, — беседует с участковым врачом Надей Лузиной. Они разделены столом. Перед Сырцовой лежат бумаги; по мере необходимости она заглядывает в них.

— Я искренне рада за вас, Надежда Алексеевна. Мы считаем вас очень перспективным специалистом. Характеристика, выданная вам главврачом, в высшей степени похвальная. За два года работы на участке совершенно несомненен ваш творческий рост. И для того, чтобы стимулировать его, горздрав направляет вас на три месяца в клинику Института усовершенствования к профессору Медведеву.

Надя просияла:

— Спасибо!

Сырцовой приятно, что она обрадовала Лузину.

— Попутно я хотела бы воспользоваться нашей встречей... — Сырцова заглядывает в бумаги на столе. — Сколько больничных листов выписано вами на своем участке за последний квартал? — мягко спрашивает она.

— В точности не помню, я не подсчитывала. — На

чулке Нади поползла петля; незаметно посплюнув палец, она пытается смочить дырочку, чтобы петли не разошлись еще ниже.

— Как же можно, коллега! — укоризненно говорит Сырцова. — Больничный лист — это документ строжайшей точности. . .

Свершившись по бумагам, она продолжает:

— За три последних месяца вами выписано сто тридцать два бюллетеня, общей продолжительностью в пятьсот шестьдесят семь рабочих дней.

Она смотрит на Надю.

— Я давала больничные листы людям, которые по состоянию своего здоровья не могли выйти на работу, — тихо говорит Надя.

— Естественно, — одобрительно кивает Сырцова. — Никто не берет под сомнение вашу врачебную квалификацию. Однако почему-то именно на вашем участке наиболее высокая цифра выданных бюллетеней. Чем же, по вашему, вызвано это явление?

— Не знаю, — подумав, искренне отвечает Надя. — Вероятно, чаще болеют. На моем участке много пожилых людей.

— Кстати, и об этом я хотела побеседовать с вами. Госпитализировать в первую очередь следует работоспособных пациентов. Больничные койки мы предоставляем преимущественно трудящимся и уж затем. . .

Надя подняла глаза на инспектора.

— Я — доктор. И если медицинские показания. . .

— Надежда Алексеевна, — прерывает ее Сырцова, — я могла бы сказать вам, что ни у меня, ни у вас нет времени для ведения бесплодных дискуссий; могла бы сослаться на установку, которую мы с вами обязаны выполнять. Но я тоже медик, коллега. И воспитана на тех же гуманных советских принципах, что и вы. Ваше доброе, сердечное отношение к пожилым пациентам совершенно закономерно и, поверьте, глубоко мне понятно. Однако когда решается вопрос, кого поместить в больницу — больного, который пролежит два-три месяца, причем без эффекта, ибо он болен необратимо, или пять-шесть человек, которых можно вылечить, а часто это кормильцы семьи, — врач должен решать в пользу последних, не будучи при этом ни бюрократом, ни чиновником. . .

Все это Сырцова произносит горячо и убежденно.

Склонившись к столу, она готова выслушать возражения молодого доктора, но Надя не может подыскать столь же убедительные, рациональные доводы. Сырцова видит это и продолжает уже совсем мягко и доверительно:

— Если бы вы знали, Надежда Алексеевна, как мне иной раз бывает больно отказывать людям! Но что поделаешь?.. Это мое кресло позволяет мне видеть более широкую картину, нежели вам. Вы руководствуетесь гуманизмом отдельного частного случая, а мы — государственным.

Надя спрашивает:

— А разве государственный гуманизм не составлен из отдельных частных случаев?

— Безусловно составлен! Но только не путем простого арифметического сложения. Ведь мы же и не утверждаем, что можем уже сейчас, сегодня, удовлетворить решительно все насущные потребности граждан. Мы стремимся к этому всей душой, всеми средствами, — размах строительства лечебных учреждений грандиозен!

Улыбаясь, инспектор Сырцова поднялась. Она, видимо, удовлетворена беседой с молодым участковым врачом. Обойдя стол, она пожимает руку Наде и медленно провожает ее до дверей кабинета.

— Не расценивайте, пожалуйста, мои деловые замечания как выговор. Это всего лишь советы и размышления более опытного коллеги... Я была очень рада познакомиться с вами, Надежда Алексеевна. И совершенно убеждена, что работа в клинике профессора Медведева принесет вам огромное творческое удовлетворение... — У дверей она пожала руку Наде еще раз. — От всей души желаю вам здоровья и счастья в личной жизни!..

Маленький паровозик, старомодно посвистывая и отдуваясь, хлопотливо семенит по заводскому двору. Пропустив его, окутанные паром, возникают Надя Лузина и председатель завкома. Они переступают через узкоколейку и шагают к зданию дирекции.

Предзавкома. Извините, доктор, что принимаю вас на ходу — конец квартала, вздохнуть некогда... Пожаловаться, между прочим, не можем: коллектив выкладывается со всей душой...

Лузина (*перебивает*). Три недели назад я уложила в клинику Григория Ильича Баженова, мастера инструментального цеха.

Предзавкома (*оживился*). Гришу? Да знаю я Гришку. Вó мужик! Он у меня в завкоме два созыва работал... Ну, как он там, бедолага? Все мается со своим радикулитом? У меня у самого, доктор...

Лузина (*снова сухо обрывает*). Григорий Ильич никогда не страдал радикулитом — у него больна печень.

Предзавкома. Ах ты господи! Вот так живешь, живешь, и не знаешь, где тебя стукнет!..

Лузина. За три недели вы не были у него в клинике ни разу.

Предзавкома (*оторопело остановился*). Я лично?

Снова, отдуваясь и сипло посвистывая, преграждает им путь суетливый паровозик. Скрытый облаком пара, предзавкома старается перекричать паровозный шум:

— Мы ж ему апельсины отправили, виноград, яблоки, мед. Десять целковых завком утвердил на гостинец...

Они перешагивают через рельсы.

Лузина. Фрукты ему приносят из дому. А вот то, что у вас не нашлось часа времени посидеть у постели больного товарища, который, по вашим словам, «вó мужик!»...

Предзавкома. Да я же объясняю вам, милый доктор, — конец квартала, будь он неладен!

Лузина (*резко*). На рыбалке в воскресенье были?

Предзавкома (*смутился*). Был... Так ведь я, доктор, тоже не из железа... А вы, собственно, по какому вопросу пришли ко мне?

Лузина. Вот по этому вопросу и пришла — посмотреть на вас хотела.

Кивнув ему, уходит. Предзавкома спрашивает вдогонку:

— Ну, а как здоровье-то нынче у Гриши?

— Справки о состоянии больных сообщаются в справочном бюро. Телефон 42-35-78. С девяти утра.

Ушла.

Прихожая большой новой квартиры. Здесь все завалено пальто, плащами, кепками, шляпами, ботами, уличными женскими сапогами. Никакая вешалка не может

вместить всей этой одежды. Прихожая пуста, однако из комнат доносится гул голосов. В этом гуле можно разобрать вопли:

— Горько-о! Горько!.. Владик, Тамара, горько!..

И на фоне криков слышен звонок в дверь. Звонят раз, другой, третий.

Из комнаты в прихожую выбегает Владик — это тот самый здоровый, цветущий парень, что был у Нади в поликлинике. Вслед за ним выбежала и невеста.

Владик открыл дверь. На пороге — Надя с букетом в целлофане.

— Извините, пожалуйста, — смущенно говорит она. — Я опоздала...

На лестничной площадке, скрытый распахнутой дверью, стоит Кумысников. Дверь уже почти закрывается перед его носом, когда раздается голос Нади:

— Там еще со мной Сережа...

За свадебным столом, раскинутым из угла в угол комнаты, шумно. Гости собрались давно, они уже сыты, веселы, и хозяева сейчас наперебой потчуют Надю с Сережей.

Мать Владика накладывает в тарелку Сережи закуски, он жует с завидным аппетитом.

Подле Нади хлопочет невеста.

— Спасибо вам за Владика, — говорит она. — Он мне рассказывал, как вы спасли его от смерти.

Рассеянно улыбнувшись, Надя подозрительно прислушивается к тому, что происходит рядом, у Сережи.

— А вы давно поженились? — спрашивает Сережу мать Владика.

С набитым до отказа ртом Сергей солидно кивает головой.

— И жилплощадь есть? Квартира?

Он снова кивает, чинно отпивая вино.

Надя, сидящая рядом, больно наступает ему на ногу под столом.

— Двухкомнатная, — говорит Сергей. — Окна на юг. Потолки — два восемьдесят. Санузел несовмещенный. С балконом.

— Вы ешьте, — уговаривает Надю невеста. — Мы с Владиком тоже строимся, я на прошлой неделе уже купила обои. Может вам надо?

— У нас финские, моющиеся, — деловито сообщает Сергей, выпив залпом бокал вина.

— Сейчас же перестань врать! — шипит Надя.

Сережа оборачивается к хозяйке:

— Если б вы знали, как великолепно Надюша готовит! В особенности — борщ! Она кладет туда желтый перец и охотничьи сосиски. Это наше семейное фирменное блюдо. По субботам, когда я привожу дочку из садика, мы обедаем втроем. И это самые счастливые часы в нашей жизни!..

Невеста шепчет жениху:

— Вот ты слушай, слушай, Владик, — тебе надо учиться у него!..

— Бывают же счастливые семьи! — говорит немолодая гостья, незаметно вытирая платочком печальную слезу.

В прихожей хозяева провожают Надю с Сереей.

— Как жаль, что вы так рано уходите, — говорит невеста. — Даже чаю не попили.

— Да я бы, откровенно говоря, еще посидел, — отвечает Сергей, — но вот у Надюши сегодня очень трудный день. Очень!

Мать Владика торопливо появляется из кухни с пакетом в руках.

— Надежда Алексеевна, милая, не обижайте меня — это я завернула для вашей Танечки. Тут сладкое. Она ведь любит сладкое?

— Обожает! — говорит Сергей, беря из рук хозяйки пакет.

По лестнице спускаются Сергей с Надей. Два марша они идут молча. У Сережи преувеличенно беззаботный вид, хотя он искоса и поглядывает на Надю.

Убедившись, что лестница пуста и их никто не услышит, Надя резко поворачивается к нему:

— Хлестаков несчастный! Брехун! Зачем ты врал целый вечер?

Сережа приоткрывает угол пакета, заглядывает в него.

— Надька, здесь потрясающая вкуснятина! С заварным кремом... — Он сует палец в пакет, вынимает, облизывает его. — Попробуй. Я же видел, ты же ни черта не ела за столом.

— Я тебя спрашиваю, зачем ты врал? Ты что — напился?

— Я? Нисколько.

— А ты помнишь, что пригласил их в гости в нашу двухкомнатную квартиру? — яростно спрашивает Надя. Она почти плачет.

— Помню, конечно, — пожимает плечами Сергей. — Вот с Танькой я, кажется, немножко перебрал, но это меня занесло.

— Называется — врач! Хирург, серьезный человек! Врун ты, вот кто. Отвратительный, низкий врун!..

Они стоят на лестничной площадке. Сергей протягивает Наде пакет и неожиданно серьезным тоном просит:

— Подержи, пожалуйста, минутку.

И теперь, когда ее руки оказываются занятыми, он с силой обнимает ее и целует.

Отстранившись наконец, Надя подозрительно спрашивает:

— А откуда ты знаешь про борщ? Кто тебя кормил таким борщом?

— Никто. В поваренной книге вычитал. — Он снова целует ее.

По широкому проходу между койками просторной больничной палаты идет группа врачей в белых халатах. Во главе этой группы старик профессор — мы помним его: он произносил речь в день принятия присяги.

Это утренний обход. Профессор присел на койку больного — мастера Баженова.

— Доброе утро, Григорий Ильич. Посмотрите-ка на меня, дружок... Ну, вы сегодня совсем молодцом! Даже обзавелись румянцем... — Профессор открыл дверцу тумбочки. — Интересно, что же мы здесь имеем? Варенье, яблоки, мед... Прелестно. С такими харчишками я бы и сам не прочь поваляться с недельку... Ну, а как насчет духовной пищи? Что мы изволим читать? — Он взял с

тумбочки книгу. — «Приключения Тома Сойера». Очень хорошо... А теперь давайте-ка мы вас посмотрим...

Вокруг постели больного стоят врачи. Среди них — Надя Лузина.

Не по-обычному профессор начинает осмотр. Откинув одеяло, он сперва вглядывается в обнаженные грудь и живот больного, еще не касаясь тела руками. Вероятно, так художник всматривается в натуру, пытаясь найти в ней те особенности, которые отличают ее от всего того, что приходилось наблюдать ранее. Никаких инструментов и приборов нет сейчас в распоряжении профессора.

Мягкими, теплыми руками он начинает ощупывать тело больного, выстукивая грудную клетку своими пальцами и прислушиваясь к тону. Голова профессора склонена набок, словно он вслушивается в невидимую партию, и самомалейший фальшивый звук не минет его строгого абсолютного слуха.

Наклонившись еще ниже, профессор прикладывает свое ухо к груди больного, к его сердцу.

Один из молодых врачей заботливо протягивает профессору фонендоскоп.

Торопливо задержав руку врача, Надя шепчет:

— Уберите. Виктор Георгиевич этим не пользуется...

Стоят вокруг постели врачи. Длится осмотр больного. Слышен тихий ласковый голос профессора:

— Повернитесь на бок, дорогой. Вот так. Скажите медленно: раз, два, три... Хорошо. Еще раз погромче, пожалуйста... Раз, два, три...

И вот наконец профессор выпрямился, прикрыл больного одеялом.

— Я доволен вами, дружок. Вы нам очень помогли. — Обернувшись к окружающим его врачам, старик отыскивает взглядом Надю и пожимает ей руку. — Спасибо, коллега. Решительно ничего не могу добавить ни к вашему диагнозу, который, признаюсь, показался мне поначалу чуточку проблематичным, ни к тому курсу лечения, что вы назначили пациенту. Полагаю — дня через три его можно будет отпустить домой.

— Я хочу сделать это через неделю, — тихо, но настойчиво говорит Надя.

Старик нахмурился: видимо, он не слишком любит, когда ему противоречат. Иронически взглянув на нее, он так же тихо отвечает:

— Очевидно, вам виднее — вы лечащий врач, а я всего-навсего малопрактикующий профессор...

Эта внезапная коротенькая перепалка ведется на ходу, почти шепотом — окружающие и больные не слышат ее. Вся группа утреннего врачебного обхода передвинулась к следующей постели.

По коридору, во главе с профессором, идут врачи. Обход закончен. Старик явно утомлен. Он вошел в ординаторскую, опустил на диван, прикрыл глаза.

— Виктор Георгиевич, извините, пожалуйста...

Перед диваном стоит Надя.

— Вы совершенно правы — больного можно выписать через три дня. Но я сама попросила его задержаться: рядом с ним лежит человек в очень подавленном состоянии. И ему предстоит на этой неделе тяжелая процедура. А они подружились...

Пауза.

— Садитесь, коллега, — говорит профессор.

Надя опускается на краешек дивана.

— В моей клинике, — говорит профессор, — освободилось штатное место ординатора. Я предлагаю его вам, коллега.

Робея, Надя молчит.

— Я присматриваюсь к вам вот уже три месяца. Вы — думающий врач, и, что не менее важно, у вас сердце врача.

— Спасибо, Виктор Георгиевич...

— Благодарить меня совершенно не зачем. Я руководствуюсь интересами дела. Мне кажется, мы сработаемся. В условиях клиники вам будет легче совершенствоваться, а наши больные приобретут в вашем лице дельного и доброго доктора.

— Виктор Георгиевич, спасибо большое... — Надя отчаянно смущена. — Я должна сразу дать вам ответ?

Молчание. Быстро взглянув на нее, он язвительно произносит:

— Вероятно, вы хотели бы проконсультироваться с мамой, с супругом, со свекровью?

— Я живу пока одна, — тихо, не поднимая глаз, отвечает Надя.

— Тогда остается предположить, что вам требуется время, для того чтобы обдумать мою квалификацию как шефа клиники?

Она готова провалиться сквозь землю под его испепеляющим взглядом.

Профессор поднялся и буркнул:

— Ну что ж... С недельку я могу подождать, пока вы решитесь на этот опрометчивый шаг. Конечно, если вы соблаговолите на него решиться...

И снова под слепяще-ярким полуденным солнцем высятся корпуса знакомого жилмассива. Сейчас здесь уже все обжито. С молодых тополей, щедро раздавшихся, слетает пух. Зацвел кустарник.

И как всегда в эту рабочую пору дня, особенно приметны во дворах пожилые люди; дети еще не вернулись из школы. Греются на солнце старики.

Идет по двору участковый врач Лузина. Теперь ей уже не приходится всматриваться в номера квартир над подъездами — это ее участок, он отлично изучен.

Пересекая палисадник, идет по двору Надя Лузина, и по тому, как здороваются с ней люди, по тому, как они смотрят ей вслед, видно, что она свой человек в этом доме.

Лестница.

Слышен торопливый стук каблуков. Марш за маршем разворачивается перед нами пустая лестница, и стук каблуков становится все замедленней. Порой он затихает где-то на лестничной площадке, затем, через мгновение, каблуки снова мерно постукивают на ступеньках.

Тишина.

И голос откуда-то сверху:

— Я из поликлиники. Врача вызывали?

ВДВОЕМ



же засыпая, Анна Кирилловна слышала, как дочь на цыпочках проходила из своей комнаты в кухню. По квартире разнесся запах кофе. Из-за стены доносилась еле слышная музыка: у Тани работал проигрыватель.

Все эти звуки и запахи Анна Кирилловна уже знала, они ей не мешали. Знала она, что сейчас в Таниной комнате погаснет свет и будут зажжены около постели две свечи.

«Бедная девочка», — подумала Анна Кирилловна.

Она намеревалась думать дальше, но тотчас заснула.

Утром, поднявшись на работу раньше Тани, Анна Кирилловна увидела на кухонном столе две грязные тарелки с остатками еды — со скорлупой от крутых яиц и шкурками колбасы, две рюмки и пустую бутылку. Бутылку Анна Кирилловна поставила в шкафчик — там их стояло с десяток, все не было времени сдать в магазин, — а тарелки перемыла, куда вскипал чай.

Поднялась и Таня. Проходя в ванную, сказала:

— Доброе утро, мамуля.

В ванной она была долго, Анна Кирилловна успела позавтракать без нее. Дочь вышла, когда мать надевала пальто.

— Забыла тебе вчера сообщить, — улыбаясь, сказала Таня. — Сегодня к нам переедет Алеша. Только, пожалуйста, не задавай мне никаких вопросов.

— Ты счастлива? — спросила мать.

— Ну конечно, мамуля.

Они поцеловались. От Тани пахло табаком.

В трамвае Анна Кирилловна подумала, что надо заказать третью пару ключей от квартиры для этого Алеши, хотя лучше бы немного погодить. Был как-то года два назад случай, когда ключи они вручили сразу, и зря: замужем Таня пробыла месяца три, не более. Сложные и неудачные отношения дочери с ее мужьями Анна Кирилловна пыталась постичь, но это ей не удавалось. Ее собственный опыт был невелик — единственный муж Анны Кирилловны погиб в войну почти тридцать лет назад, память уже растеряла подробности их жизни, да и прожили они вместе недолго.

Работа библиотекаря приучила ее доверять книгам, в особенности в вопросах любви; и многочисленные романы, чтением которых она увлекалась, смешали ее представления о действительности. И вместо того чтобы раздражаться на авторов книг, неверно изображающих человеческие отношения, Анна Кирилловна сердилась на мужчин, друзей ее дочери, которые вели себя совсем не так, как это было предписано литературой.

День выдался в библиотеке длинный и суетливый: сперва пришлось стоять на обмене, сотрудники института толпились у барьера, бродили у полок в обеденный перерыв, и Анна Кирилловна беспокоилась, не пропадет ли снова томик Сименона. Особенно бдительно она посматривала на преподавателя истории Студенцова. Бесстыдство, с которым он таскал из библиотеки книги, было неопишимо. Студенцов знал, что Анна Кирилловна ему не доверяет, посмеивался над ней за это и, уходя из читального зала, сам подносил ей свой толстый портфель, раскрывал его и, окая, просил:

— Общайте.

Он стоял перед маленькой седой Анной Кирилловной, крупный, нахально-обаятельный, с большими свежими зубами, лохматый.

— Общайте, мадам, — просил он.

Это он стал проделывать после того, как однажды Анна Кирилловна, пунцовея от стыда, тихо сказала ему:

— Иван Герасимович, в прошлый раз вы случайно унесли с собой «Женщину в белом», не записанную в ваш формуляр. Верните ее, пожалуйста.

Она думала тогда, что в ответ на это он смутится,

расстроится или станет возмущаться. Однако Студенцов захохотал и спросил:

— А как же вы заметили, мадам? Я же завернул ее в газету...

Книгу он тогда вернул, но с тех пор систематически терял другие книги, чаще всего детективы, а взамен при- таскивал всякую макулатуру. Сегодня он вернул все, что за ним числилось, но слишком уж долго вертелся у стел- лажей.

После обмена, затянувшегося до трех часов, она на- лаживала выставку новинок. Ничего из этих новинок она еще не читала, но, бегло ознакомившись с краткими анно- тациями, рекомендовала их читателям. К своей профес- сии Анна Кирилловна относилась без лишнего интереса. Библиотечного образования Анна Кирилловна не имела, нужда загнала ее на эту работу. Уже лет шесть, как она могла выйти на пенсию, но судьба тридцатилетней до- чери все не складывалась, денег постоянно не хватало.

Несмотря на то, что Anne Кирилловне было за шесть- десят, она все еще жила, как в молодости, рассчитывая на какой-то удачный неожиданный случай: на крупный выигрыш по лотерейному билету, на внезапно умершего богатого родственника где-нибудь за границей, да и бог его знает на что. Ей казалось, что судьба ошиблась, об- делив их с дочерью — двух хороших женщин, — и непре- менно постарается как-нибудь исправить свою глупую ошибку. Это постоянное подспудное ожидание случая порой утомляло ее, и тогда Анна Кирилловна впадала в отчаяние: ей ничего не хотелось делать, она лежала по- сле работы у себя на диване, жевала конфеты, чтобы сбить аппетит, и читала романы. В квартире становилось пыльно и грязно. Таня убирала только по вдохновению, когда на нее вдруг накатывала крутая волна аккуратно- сти. И тогда она мыла, чистила, била посуду и стекла, вышвыривала на помойку нужные и ненужные вещи.

Они жили слаженно, любя друг друга и ничего не скрывая друг от друга, однако Anne Кирилловне прихо- дилось больше стараться для этой слаженности, нежели Тане. Мать немного побаивалась дочери, боялась ее вне- запно возникающей резкости, даже грубости, боялась она и своего одиночества, которое могло бы возникнуть, если бы эта слаженность нарушилась.

Сейчас, заканчивая выставку новинок, Анна Кирил-

ловна думала, что сегодня вечером в их квартире появится этот Алеша, которого она видела всего два или три раза, женатый мужчина, кажется врач-психиатр, молодой человек года на три моложе Тани. Понять, что он собой представляет, Анна Кирилловна еще не успела. Вчера он принес большую коробку конфет, — вероятно, Таня сказала ему, что мать любит сладкое, а может, и сам сообразил.

На улице стемнело, висел в воздухе тонкий холодный дождь, когда Анна Кирилловна вышла из института. В магазинах толпилось много людей, раздраженных непогодой, усталых после работы. Потолкавшись среди них, она вдруг почувствовала, что нет у нее сил выстаивать длинные хвосты в кассу, к прилавкам и нет у нее желания возвращаться сейчас домой. Купив билет в ближайший кинотеатр, Анна Кирилловна даже не поинтересовалась, какой фильм идет.

А к Тане вечером пришел Алексей. Он пришел с небольшим чемоданом и с собакой.

— Вот все мое имущество, — сказал Алексей.

Из чемодана он вынул подстилку для пса, положил ее на пол в коридоре и скомандовал:

— Лежать, Буран! Место!

Большая черная собака легла, загоротив полкоридора.

— Понимаешь, — сказал Алексей, обняв Таню, — я вышел из дому в чем был. Ну его к богу в рай, барахлишко!..

Они сели ужищать. Алексей никуда не торопился, он не посматривал украдкой на часы, он был весь тут около Тани. И она была счастлива сейчас тем привычным неустойчивым счастьем, отрывочным и подозрительным, которое уже начинала считать подлинным, хотя знала — и ненавидела это свое знание, — что ничего подлинного в нем нет. Это было ясно ей и по тому маленькому пустому чемодану, с которым пришел Алексей, по его суетным глазам, по неумолкающей, быстрой его речи, перебивающей без всякой связи с одного на другое, и даже по черной собаке, тоскливо глядящей на входную дверь. Пес особенно мешал Тане — он принадлежал другой женщине и лежал сейчас в коридоре как ее представитель и союзник.

Когда Алексей обнял Таню, она увидела через его

плечо этого чужого пса — он растянул свою пасть и нервно зевнул.

— Закрой дверь, — попросила Таня.

Не выпуская ее из рук, Алексей прикрыл дверь ногой. Он не испытывал сейчас никакой неловкости. Ему было свободно и легко. В глубине души он даже гордился собой, восхищался тем, что ушел навсегда из дома, не прихватив никаких своих вещей, не взяв ничего, кроме Бурана. И ему казалось, что Таня тоже должна гордиться его благородством.

— Вообще-то, Танюха, — сказал он, — есть неписанный закон: мужик должен уходить с пустыми руками. Причиняя женщине душевную муку, он не имеет морального права обездоливать ее еще и материально. Верно, Танька?

— Я не задумывалась над этим.

— У меня в клинике, — сказал Алексей, — лежит один геолог. Здоровенный парнище, он трижды пытался покончить с собой: от него ушла жена. И он впал в такую глубокую депрессию...

— Чем ты его лечишь? — спросила Таня.

— Аминазин, андаксин, элениум... Ты не представляешь себе, чего только не изобрела современная фармакопия, чтобы заставить человека смотреть на жизнь легче, чем она того заслуживает. Я сам пробовал: проглотить две таблетки, и на все начихать.

— А я пробовала, и у меня не получается.

— Надо запивать теплой сладкой водой, — сказал Алексей. — Беда в том, Танюха, что психопатология — наука довольно грустная. При строгом подходе — все мы чуточку тронутые. — Он хлебнул водки, не чокаясь. — Но если бы мне пришлось подбирать психическое заболевание для себя, знаешь, на чем бы я остановился? На паранойе. Для нее характерна великолепная черта: параноик утрачивает начисто чувство самокритики, он никогда не спорит с самим собой — все, что он решил, кажется ему непреложным...

— Зачем ты мне все это рассказываешь? — спросила Таня.

— Ну просто для общего развития...

— Неправда. Ты дал мне понять, что у тебя сомнения.

— Да чего ты, Танька? Я же сделал все, как ты хотела.

— А что я хотела?

Он сказал:

— Давай лучше выпьем.

— Если ты сделал это только потому, что я захотела...

— Танечка, не будь занудой, я тебя умоляю. Я же ушел из дома именно из-за этого занудства.

— И тебе было все равно, куда уйти?

Он выпил стопку в один прием, обтер свои толстые добродушные губы и ноюще произнес:

— Но я же пришел к тебе!

— По-твоему, я должна быть очень благодарна за это. Имея столько возможностей, ты избрал именно меня. Спасибо, Алеша.

Он поднялся с дивана и зашагал по комнате.

Услышав его шаги, Буран встал в коридоре на все свои четыре лапы и коротко взлаял.

— Лежать! Место! — крикнул Алексей.

— Чего ты хочешь? — спросил он, остановившись подле Тани. — Что я должен сделать еще, кроме того, что я уже сделал?

— Ничего, — сказала Таня.

— Ты сама говорила, что тебе надоели наши краденые встречи, мой постоянный страх, отсчитанное, как по счетчику, время. Теперь всего этого нет. Я здесь. В чем дело?

— Ни в чем, — сказала Таня. — Все в порядке, Алеша. У меня скверный характер. Я запущу проигрыватель, и все пройдет.

Она поставила пластинку, не выбирая. Впрочем, их было не так уж много, и она ставила их бессчетное количество раз.

Алексей сказал:

— Дежуришь сутки в клинике, устаешь как бес — ты не думай, я не жалуюсь на свою работу, я ее люблю, — но потом приходишь домой, и хочется, чтоб был праздник. Знаешь, как важно, с какими глазами тебе открывают дверь?.. Вот с тобой нетак. Ты молодчага, Танька.

— Со мной — праздник? — спросила Таня.

— Праздник. В особенности когда ты без комплекса.

Он развязал галстук, стянул с себя рубаху и, поставив ногу на стул, принялся расшнуровывать туфли.

Таня спросила:

— А какой у меня комплекс?

— Не надо, Танюха. Опять заведемся. Давай так — нам дико повезло, на огромной планете мы все-таки с тобой встретились...

Стоя уже в носках на полу, он обнял ее, повернул к себе, длинно поцеловал.

Все, что он говорил Тане, она много раз слышала не только от него. Эти слова про праздник, усталое нытье о своей тяжелой работе, желание забыться, воспользоваться тем, что есть сейчас, сию минуту, — всем этим она была сыта по горло. Давным-давно, когда она впервые услышала это, ей было лестно, что именно подле нее и из-за нее человек испытывает подобные ощущения. Она старалась, иногда даже через силу, поддерживать эти ощущения, сама распаляя их и в себе. Но шло время, совершенно разные люди говорили ей примерно одно и то же, и приходили к ней за одним и тем же, и она сама предоставляла в их распоряжение одно и то же. Они почему-то не удерживались подле нее надолго.

— Погоди, — сказала Таня. — Я постелю.

— Да ладно, — сказал Алексей. — Потом.

Он мешал ей стелить, но она постелила.

В дверях послышался шорох, собака злобно зарычала в коридоре.

Таня сказала:

— Кажется, мама пришла.

— Тихо, Буран! — скомандовал Алексей. — Тихо, это свои.

Таня выглянула из комнаты. На пороге квартиры стояла оробевшая Анна Кирилловна.

— Его зовут Буран, — объяснила ей Таня. — Не бойся, мамуля, он не кусается... Ты извини нас, мамочка, мы уже легли.

Анна Кирилловна пробралась к себе в комнату, хотела было пойти на кухню за чайником, но, побоявшись чужой собаки, села в кресло против телевизора и включила его.

У постели горели две свечи. Прикурив от одной из них, Таня спросила:

— А все-таки, какой же у меня, по-твоему, комплекс?

— На фиг тебе это знать? — устало спросил Алексей.

— Мне любопытно.

— Пожалуйста. Комплекс у тебя такой: все мужчины — эгоисты и обманщики.

— А это неверно?

— Как всякое обобщение. Я терпеть не могу рассуждений, начинающихся со слова «все»: все интеллигенты, все рабочие, все зубные врачи...

— Значит, ты особенный? — спросила Таня.

— Особенный. И ты особенная. Кончай курить, Танюха. Это глупо — лежать в постели и заниматься философией. Есть совсем другое, прелестное занятие.

— А война? — спросила Таня. — Ты мне еще не сказал, что все равно когда-нибудь будет война.

— Будет.

Он не дал ей больше говорить.

Глубокой ночью зазвонил телефон. Свечи, захлебнувшись в стеарине, уже давно погасли. Таня в темноте нащупала трубку и хриплым голосом откликнулась:

— Да.

Кто-то молча дышал на другом конце провода.

— Положи трубку, — шепотом попросил Алексей.

Но аппарат зазвонил еще и еще раз.

— Моя благоверная, — сказал Алексей. — Дай мне, пожалуйста, сигарету.

— А откуда она знает мой телефон?

— Она все знает. Это такой человек, Танюха...

— Мне неинтересно слушать, какой она человек, — сказала Таня.

— У нее очень ранимая психика, — сказал Алексей. — В прошлом году она перенесла тяжелую форму инфекционной желтухи.

— А корь?

— Что корь? — не понял Алексей.

— Корь у нее была?

— Была, вероятно, в детстве. Почему ты об этом спрашиваешь?

— Просто так. Чтобы доставить тебе удовольствие рассказывать о ней.

Она поднялась с постели и накинула халат, лежавший на полу.

В окно, в щели вокруг задернутых штор, пробивался неопрятный осенний рассвет. От его сочащегося, больного света комната казалась холодной и грязной.

— Куда ты? — спросил Алексей.

— Сварю кофе.

Утром, как всегда, Анна Кирилловна поднялась раньше Тани. Вымытая после ужина посуда стояла в кухонном шкафчике. Надо будет попросить этого Алексея сдать бутылки в магазин, решила Анна Кирилловна. И привинтить как следует зеркало в прихожей. Картошки бы хорошо принести с рынка килограммов пять.

Таня вышла из своей комнаты уже одетая и причесанная.

— Доброе утро, мама.

Сложив руки на коленях, она села против матери за стол.

— Разве ты не будешь принимать ванну? — спросила Анна Кирилловна.

— Я уже мылась.

— Хорошо, что вы убрали из коридора этого Урагана, — сказала Анна Кирилловна. — Он ужасно страшный. Я боялась пройти мимо него ночью в уборную.

— Его зовут Буран, а не Ураган, — сказала Таня.

— А чем его кормят?

— Не знаю.

— Таких громадных собак, кажется, кормят овсянкой. Я куплю ее на обратном пути из института.

— Никто тебя не просит, — сказала Таня. — И вообще, не вмешивайся в то, что тебя не касается.

Анна Кирилловна замолчала. Она доела свой завтрак, стараясь не глядеть на дочь.

— Что ты на меня так смотришь? — раздраженно спросила Таня.

— Странно. Разве я уже не имею права взглянуть на тебя?

— Ты только и мечтаешь, чтобы я выскочила замуж за какого-нибудь кретина. Лишь бы на нем были брюки и пиджак, а остальное для тебя не имеет значения...

— Опомнись, лапонька, — сказала Анна Кирилловна.

— Мама, отчего заболевают инфекционной желтухой? — спросила Таня.

— Кажется, от крыс.

— Господи, как мне все надоело! И сама я себе надоела... Мамуля, давай жить вдвоем. Ведь правда нам никто не нужен?

По лицу Тани текли слезы.

— Я его выгнала в семь утра. Вместе с его дурацкой собакой.

— Куда же он пошел в такую рань? — спросила Анна Кирилловна.

— Домой. У него есть дом. И у меня есть дом. У всех есть дом. Это только тебе кажется, что, если в доме нету мужчины, то это уже не настоящий дом.

— Глупости, — сказала Анна Кирилловна. — Твой отец умер, когда тебе было полтора года.

— Он тебя любил?

— Вероятно. Зачем бы он стал жить со мной, если бы не любил?

— А в чем это выражалось? Почему ты была уверена, что он тебя любит?

— Не знаю, — сказала Анна Кирилловна. — Не помню. Может, я и не была уверена. Когда вспоминаешь прошлое, оно всегда представляется лучше, чем было... А сейчас-то мне, вообще, уже кажется, что я всю жизнь прожила одна...

— Ты жила не одна. Ты жила со мной. А теперь я буду с тобой... Хочешь, я сварю сегодня суп, какой ты любишь, с цветной капустой?

— Свари. Только не реви, глупая. Не стоят они твоих слез, дураки такие.

— Все! — сказала Таня. — Плевала я на них.

Она поднялась из-за стола и вытерла кухонным полотенцем щеки.

— Боже, какая это мерзость — штопать их носки, стирать их белье, подлаживаться к их настроению!

Проводив мать до дверей и целуя ее на прощанье, Таня шепнула ей на ухо:

— Прости меня, мамочка.

В институт Анна Кирилловна приехала совершенно разбитая. Предстоял длинный утомительный день. И, как назло, именно в этот день пришли толстые пакеты с новыми учебниками — ими следовало заменить старые, вышедшие из употребления.

В библиотеке в утренний час было пусто. Бродя вдоль стеллажей и занимаясь своим делом, Анна Кирилловна вдруг услышала:

— Глупое занятие, не правда ли?

Она обернулась. За спиной у нее стоял преподаватель

Студенцов. Он дотронулся носком туфли до стопки книг, уже снятых с полок.

— Вам-то что? — сказал Студенцов. — С глаз долой — из сердца вон. А вот нам!.. Вы чем расстроены, голубушка Анна Кирилловна?

Он смотрел на нее участливо, наклонив свое большое, гладко выбритое лицо к самому ее плечу.

И внезапно Анне Кирилловне стало нехорошо — у нее закружилась голова. Пошатнувшись и бледнея, она невольно привалилась к Студенцову, он придержал ее сильной рукой и довел до стула.

— Голубушка, что с вами?.. Чем я могу вам помочь?

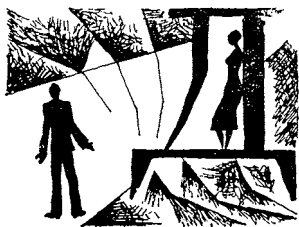
Подобная дурнота случалась с ней уже не однажды, она несколько не испугалась. Студенцов же, встревоженный не на шутку, сбегал за водой, добыл где-то валидол, валерьянку и не отходил от Анны Кирилловны, покуда она окончательно не пришла в себя.

«Какой он славный! — думала о нем весь день Анна Кирилловна. — Надо бы познакомить его с моей Таней».

А Таня не пошла на службу. Она яростно убирала квартиру, варила обед, отнесла в магазин полную авоську пустых бутылок, но в магазине кончилась тара, прием был прекращен, и, не желая таскаться с бутылками обратно, она выбросила их на помойку.

КАТЯ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ



руг моего далекого детства Саша Белявский погиб под Киевом в первый год войны. Но еще задолго до его смерти мы виделись с ним так редко, что, встречаясь, испытывали оба странное чувство: давнее знакомство обязывало нас к близости, но близости этой не было, пожалуй именно из-за давнего знакомства.

Нас связывали детские воспоминания, окаменевшие, как на любительской фотографии. Все, что мы помнили, можно было перечислить по пальцам: какая-то, уже нереальная, дача под Харьковом, гамак, на котором мы качались, жуки в спичечных коробках, гроза с градом, игра в индейцев. Доброе, глухое детство, отгороженное от всего мира, от злого потока внешней информации, как теперь принято говорить, — оно не давало нам права на взрослую дружбу.

Мы росли в очень разных семьях. Отец Саши, крещеный еврей, был видным харьковским юристом. В моем нищем дворе на Рыбной улице к таким людям относились путано: их уважали, но с оттенком презрения.

В конце двадцатых годов я уехал с Украины в Ленинград, и с тех пор мы виделись с Сашей от случая к случаю: то он приедет в командировку на север, то я появлюсь у своих родных в Харькове. Встречаясь, мы начинали с того места, на котором остановились в детстве, и уже никак было не сдвинуться вперед.

Я знал, что Саша окончил филологический факультет. Он знал, что я ничего не окончил.

Обстоятельства гибели Саши Белявского мне были неизвестны. Кто-то из наших общих друзей сообщил еще в горестном сорок первом году, что Саша пропал без вести, когда наши войска оставляли Киев. Печальные известия того времени шли на людей стеной.

Года через три я получил письмо от Сашиного отца. Сергей Павлович писал мне, что розыски сына ни к чему не привели. Очевидцев его гибели не было, однако один из офицеров разведки известил Сергея Павловича, что видел Сашу последним. С пехотным полком армейский переводчик Александр Белявский попал в окружение. Полк пытался прорваться сквозь кольцо, Саша сражался в строю, как боец, однако пробиться из окружения удалось немногим — Саши среди них не было.

Вот, собственно, и почти все, что я узнал о друге моего далекого, глухого детства.

Однако с течением времени я стал получать редкие письма от харьковских мальчиков и девочек. Они были теперь пенсионерами и, располагая свободным временем для того, чтобы обдумать прожитую жизнь, собирали вокруг себя свое прошлое. Из тьмы времен возникали для меня, вырванные пламенем чужих воспоминаний, картины моего немудреного детства. Они были косноязычны для постороннего, я не мог бы их пересказать...

Среди писем, которые я получал от девочек и мальчиков пенсионеров, среди их фотокарточек, против которых бунтовала моя память, я стал получать любезные послания из Самарканда.

Писала мне Зинаида Борисовна Струева.

Сколько я ни ворошил свои воспоминания, мне никак было не припомнить этого имени. А она-то знала о моем детстве, о моей юности все. В каждом своем письме Зинаида Борисовна походя упоминала людей и события настолько точно, что я диву давался.

Откуда ей было знать о моем нищем дворе на Рыбной улице? Я и сам-то смутно помнил, как стриг на скамейке Леньку Брагина: стащив у отца машинку для стрижки, я уговорил Леньку, гнусавого моего соседа по лестнице, дать мне возможность овладеть парикмахерским искусством. Машинка впилась в ужасающие Ленькины кудри и повисла на них в десяти сантиметрах от его низкого лба. Вопли моего клиента согнали во двор

все население нашего трехэтажного дома. Я был порот отцом нещадно. Об этом писала мне Зинаида Борисовна.

Она писала и о том, что я был влюблен в Нору Золотухину. Откуда это имя — Нора?.. Я прикоснулся своими неумелыми губами к твоей розовой щеке, Нора. Мы стояли с тобой за кулисами самодельного зрительного зала тридцатой трудовой семилетней школы.

Ты только что прочитала со сцены стихи Брюсова: «Каменщик, каменщик в фартуке белом, что ты там строишь?» И каменщик отвечал — тюрьму. Я поцеловал тебя в щеку, коченея от восторга. А потом мы пошли провожать тебя вчетвером, твои одноклассники, ты была пятой, и из этих пяти человек я чудом остался один на свете, потому что тебя тоже нет.

Фантастический двор на Рыбной, 28. Я не помню, каким он был до революции. Да и само это понятие — революция — являлось к нам во двор долго и по нескольку раз.

Я проходил потом по учебникам все то, что составляло мою жизнь. Однако сеть, при помощи которой историки пытаются уловить явления действительности, эта сеть состоит из слишком крупных ячеек — мой двор, вся моя жизнь проваливаются в эти ячейки, и я всегда остаюсь мальком, неинтересным для истории.

История легко объясняет судьбу целого класса, но не в силах разъяснить жизнь одного человека. Впрочем, это и не входит в ее обязанности. Потому что если закономерности целого класса обрушить на судьбу каждого человека, то ему не снести своей ноши.

Я хотел бы, чтобы ко мне относились как к неповторимой личности. И готов платить тем же всему человечеству.

Есть один способ сделать себя неповторимым, хотя бы для себя. Нужно вспомнить свою юность. И тогда покажется, что она удивительна. Когда рядом с тобой в юности живут твои сверстники, всем нам представляется, что у нас одна судьба. Проходит время, наши судьбы извиваются и закручиваются, они горят, как бикфордов шнур, и каждый из нас гаснет или взрывается по-своему...

Во дворе нашего дома стоял пулемет. Он был обращен стволом к подворотне. Ворота заперты наглухо, а в единственном парадном подъезде круглосуточно дежурила самооборона. Пять-шесть мужчин, расставив на нижней лестничной площадке ломберный стол, круглые сутки играли в преферанс.

Мой отец тоже входил в эту самооборону — так она называлась в нашем дворе. У отца была пагубная страсть к огнестрельному оружию. Он собирал револьверы, никогда не стреляя из них.

Странная аберрация памяти происходит, когда думаешь о своих родителях, — они всегда для нас старики. Моему старику отцу было в те годы недалеко за сорок. Он годился бы мне сейчас в сыновья.

В каком же это было году, Зинаида Борисовна? Я стою, зажатый коленями отца, в хоральной синагоге. Громкое бормотанье обступило меня со всех сторон. Шелковые полосатые «талесы» покрывают плечи и спины молящихся. Никакой веры нет в моей душе. Для меня это игра, которую придумали взрослые. Я вижу, что им наскучивает играть в нее.

В перерыве между службами они до отказа заполняют квадратный синагогальный двор. Молитвенная пленка скуки, придававшая их глазам одинаково сонное выражение, рассеивается. Шум, как пар, стелется над двором. Мне непонятно и неинтересно слушать, о чем они говорят. Сейчас я догадываюсь, что они говорят о политике.

Много лет спустя я бывал в костелах, мечетях и церквях. Насколько же больше святости, истовости и благолепия во всех этих храмах. Я имею в виду не архитектуру, а религиозный климат молельного дома.

В моей семье верили в бога буднично. Меня заставляли молиться. Но понуждали меня к этому так же, как к приготовлению уроков. Религия на Рыбной улице была синонимом респектабельности, соблюдения приличий.

В тринадцать лет, в день своего совершеннолетия, я произнес положенную речь в присутствии гостей. Она была написана мной на двух языках: на родном, живом — русском и на мертвом для меня — древнееврейском. Речь начиналась словами: «Дорогие родители и уважаемые гости!» Больше я из нее ничего не помню. Не помнил и тогда, когда произносил, ибо среди гостей си-

дела за столом ослепительная Таня Каменская; в ее каштановых волосах плавал бант. Она работает сейчас библиотечарем в городе Харькове. Мы виделись с ней в шестидесятом году. Когда я вошел в ее квартиру на Каплуновской улице, Таня успела шепнуть мне в дверях:

— Пожалуйста, не говори при муже, сколько мне лет.

Она могла бы и не предупреждать меня: Тане Каменской тринадцать лет навсегда, на всю мою жизнь. И когда придет мое будущее детство — не может же оно исчезнуть бесследно, оно должно воротиться, — я явлюсь к Таниному нынешнему мужу и скажу ему:

— Если вы порядочный человек, верните мне мою Таню. Даю вам честное слово мальчика, что я пальцем до нее не дотронусь.

Мы возьмемся за руки и медленно спустимся по лестнице. Медленно, потому что у меня больное сердце, а у Тани разбиты подагрой ноги.

Вот наш двор. Мы сядем на лавочку. Таня поправит свой бант. Сперва мы посчитаемся:

Энэ-бэнэ-рэс,
Квинтэр-квантэр-жэс.
Энэ-бэнэ-раба,
Квинтэр-квантэр-жаба!

Всегда получается, что я — жаба. Мне начинать.

— Ух, какая ты красивая, — скажу я ей.

— Спасибо за комплимент, — ответит Таня. — Раньше ты мне этого не говорил.

— Я робел.

— Раньше ты говорил мне, что я давлю фасон.

— Но ведь ты же понимала, что я люблю тебя?

— Мало ли, что я понимала. Ты должен был сказать.

— Я люблю тебя.

— А зачем ты купил мороженое Лидке Колесниковой?

— Чтобы ты ревновала.

— И когда мы играли во флирт цветов, ты послал ей «Орхидею». Я посмотрела потом «Орхидею», там было написано: я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я.

— Так это же Пушкин.

— Ты посылал не от Пушкина. Ты посылал от себя. Я проревела всю ночь.

— Твоя Лидка дура. Она нужна мне, как собаке «здрасьте»...

Мы сидим с Таней на лавочке.

Через три года умрет Ленин. Через двадцать лет в Харьков войдут немцы.

Эти походы в свое прошлое изнурительны. Перед тобой лежит черновик твоей жизни — никому ведь не дано жить начисто, — и ты не имеешь права вымарать ни одной строчки. Может быть, я ничего и не вымарывал бы, но я бы непременно вписал.

У историка Нечкиной есть книга — «14 декабря 1825 года». В тоненькой этой книжке рассказан, час за часом, один день русской истории. Восставшие полки выстроены офицерами-декабристами на Сенатской площади. Они ждут сигнала к выступлению. Николай гневно мечется по Зимнему дворцу. Перевес на стороне декабристов. Они ждут. С секунды на секунду должен появиться Трубецкой. По условиям заговора он — глава восстания. По его команде полки ринутся в бунт. Трубецкой опаздывает. Трубецкой не приходит. Николаю удастся собрать войска и разбить наголову бунтовщиков.

Дочитав книжку Нечкинсь, студенты спрашивают у нее на лекциях: ну, а если бы Трубецкой не опоздал? Если бы он прискакал вовремя?

Академик Нечкина отвечает им: истории противопоставлены эти вопросы. У истории нельзя спрашивать — если бы... Все закономерно у этой зануды истории.

Но у себя-то я имею право спрашивать?

Разве в масштабах моей крохотной жизни так уж все закономерно?

Сколько раз я хотел поступить не так, как поступал. Значит, мой личный Трубецкой тоже опаздывал? Он скакал где-то за моими плечами, иногда мне казалось, что я слышу усталый храп его коня, а порой видна была только пыль на горизонте. Сукин ты сын, ваше сиятельство. И конь под тобой не жеребец, а мерин.

В двадцатом году в нашем доме приключился пожар. Ночью загорелась сажа в дымоходе. Весь день до этого во всех этажах пекли «гóменташи» — треугольные пирожки с маком. Их положено печь в канун веселого праздника «пúрим». Старый дымоход не выдержал этого ритуального накала — пожар поплыл по вертикали, спалив три квартиры.

Мы сидели во дворе на узлах с бельем. Да еще стоял рядом с нами, прямо на земле, таз с этими глупыми гóменташами; волнуясь, мы жевали их один за другим.

Я не помню ни причитаний матери, ни растерянности отца.

Своего отца я видел растерянным и беспомощным один раз в жизни — незадолго до его смерти. Ему было восемьдесят два года, когда мы с братом привезли его на «скорой помощи» в больницу. Он лежал на носилках на полу в приемном покое. Откинув пальто, которым был прикрыт отец, дежурный врач быстро взглянул на его непомерно раздувшийся от водянки живот, на его белесые губы, торопливо ухватывающие мелкие рюмочки воздуха и тут же, на пороге рта, проливающие их; дежурный врач потрогал пульс отца, присев рядом с носилками на корточки.

— Хорошенькая история, доктор! — прошептал отец.

— Сколько ему лет? — спросил дежурный врач.

Я ответил.

— Доктор, — сказал отец медленно, но разборчиво, — старикам везде у нас почет, я слышал это по радио...

— Лежите тихо, дедушка, — сказал врач и пошел к своему столику.

— Ему надо откачать жидкость из живота и полежать в кислородной палатке, — сказал нам врач. Он снял очки со своего молодого усталого лица, дунул на стекла и стал протирать их полый халата.

Отец умер на третьи сутки. Молоденькая сиделка — она дежурила в тот вечер одна — попросила меня с братом перенести отца из палаты третьего этажа в подвал больничного морга.

Мы не знали, что нам придется нести его голым, Брату было лучше — он шел с носилками впереди, спиной к телу. А передо мной все три этажа длинной, как жизнь, лестницы лежал обесстыженный смертью отец. Я никогда не видел его голым, я знал, что ему и мертвому унизи-

тельно показываться сыновьям в таком виде. Зажмуриваясь и спотыкаясь на поворотах лестницы, я нес опухший труп своего отца. Обиды и горе, которые я ему в жизни причинил, лежали передо мной на старых носилках.

Прости меня, отец.

Мы похоронили тебя на Преображенском кладбище. В пустой задней комнате кладбищенской конторы тебя обмыли две старухи и одели в костюм, который ты носил по праздникам столько лет, сколько я тебя помню. Задремывая и просыпаясь, старухи зашили тебя поверх костюма в саван одной длинной ниткой, без узелков. Теперь я знаю, для чего это делается: на том свете, в который мы с тобой по-разному не верили, ты выдернул эту нитку в один прием и предстал на Страшном суде, разутый, в своем лучшем костюме. У тебя было что порассказать Иегове. Не так уж хорошо он устроил наш белый свет, чтобы иметь право вызывать людей на Страшный суд. И разве мог он хоть чем-нибудь испугать тебя после того, что ты видел на своем веку. Вызвать пьяного харьковского квартального и потребовать право на жительство? Обвинить тебя в том, что ты ешь мацу с младенческой христианской кровью? Призвать гитлеровцев на небо?

Я спокоен за тебя, отец, на том свете. Тебе некого и нечего там бояться.

После пожара мы переехали на Черноглазовскую улицу. Окна нашей квартиры выходили вровень с тротуаром, и я быстро научился распознавать людей по ногам.

Над калиткой нашего дома висела скромная вывеска: «Психиатрическая лечебница докторов Жданова и Гуревич».

Лечебница помещалась в одноэтажном желтом флигеле, обращенном одной своей стороной в сад. Больные, которых в те времена называли запросто — сумасшедшими, жили в лечебнице подолгу. Большинство из них были тихопомешанными. Добрые и вежливые, они бродили по нашему двору и по саду без всякого присмотра. Забредали они и к нам домой в подвальную квартиру.

Первое время я дичился их, а потом привык. Мне и моим товарищам они не казались такими уж безумными. Интересы и наклонности взрослых чаще всего чужды детям, быть может поэтому я не всегда замечал в черно-

глазовских сумасшедших разительные отклонения от нормы.

Заходил к нам в подвал Воробейчик. Мать угощала его чаем с сахарином. Он сидел за столом, церемонно подобрав коротенькие ноги в кальсонах под стул. Кажется, у него была мания величия, но я этого не чувствовал. Очевидно, величие его не обременяло окружающих: оно было настолько для него внутренне бесспорным, что не требовало никаких внешних подтверждений. В этом смысле деликатное безумие великого Воробейчика выгодно отличалось от безумия нормальных людей. Ласково глядя меня по голове, он иногда бормотал речи, обращенные к Учредительному собранию.

Вероятно, каждая эпоха порождает своих сумасшедших: самый замысловатый бред больного мозга есть в какой-то степени отражение действительности. Человек сходит с ума на современную ему тему.

За единственным решетчатым окном лечебницы Жданова и Гуревич металась в ночной рубашке растерзанная Соня: в буйном помешательстве ей мерещилось, что ее насилует эскадрон донских казаков.

Привозили к нам больных с Поволжья — они сошли с ума от голода. Их черные, обглоданные лица и мучительно безразличные, гигантские глаза пугали меня. Я и не подозревал тогда, что зимой сорок первого года в блокадном Ленинграде у меня у самого будет такое лицо.

Ходил по нашему саду задумчивый молодой человек в белое и в студенческой фуражке. Его звали Жорж Борман. С детской жестокостью мы сперва потешались над ним, но он обезоружил нас своей кротостью и недюжинным знанием математики. В саду, на песке, кончиком обструганной палочки Жоржик Борман, побочный сын знаменитого шоколадного фабриканта, тронувшийся от неразделенной любви, решал нам алгебраические задачи.

Сейчас, через сорок с лишним лет, после всего того, что я видел и в чем принимал участие, мне кажется, что на Черноглазовской был удивительно старомодный сумасшедший дом. Тамошние безумцы жили своей отдельной, сосредоточенной жизнью. Они бережно лелеяли свой бред внутри себя, не стремясь навязать его всему человечеству.

Не обижайтесь на меня, Зинаида Борисовна, — я не забыл вас. И спасибо за фотографии, которые вы мне прислали. Юношеские стихи Саши Белявского я тоже получил. Помните, каким щегольским, гортанным голосом он читал их?..

...С Сашей Белявским мы открыли курсы по подготовке в вуз.

Курсы были самоделковые: Саша уже учился на первом курсе филологического факультета, а меня уже в первый раз не приняли на медицинский. Вдвоем мы сколотили группу малоспособных абитуриентов и за небольшую плату натаскивали их по программе средней школы.

На мою долю пришлось точные науки, на Сашину — гуманитарные. Вот тогда-то я и сделал для себя важное педагогическое открытие: если ты чего-нибудь не понимаешь до конца, начни это преподавать. Объясняя своим ученикам математические правила и физические законы, решая с ними примеры и задачи, я изнемогал от скудости своих познаний. Однако внезапно меня осеняло. Это случилось в ту секунду, когда я и сам доходил до сути. И моя наивная радость узнавания приобретала магнетическую силу. Мои ученики превращались в моих сообщников. Быть может, запоздалый дикарь, додумавшийся до колеса, испытывал те же чувства.

Я калечил своих учеников напропалую, но они поступали в вузы, изумляя экзаменаторов необычностью методов рассуждения, граничивших с невежеством. Что касается меня самого, то каждую осень канцелярия медицинского института возвращала мои документы.

Отец определил меня подручным монтера в частную электротехническую мастерскую.

Я стал рабочим.

Хозяин мастерской, нэпман, брал подряды в государственных учреждениях. Два мастера-электрика с двумя подручными выполняли эти подряды. Таким образом, из нас, из четырех, выкачивалась прибавочная стоимость. Вероятно, она была очень невелика, ибо вся хозяйская мастерская помещалась в низкой, полутемной дворничкой. Вдоль стены стоял длинный, неопрятный верстак, по углам валялись ломаные люстры, бра и настольные лампы. Когда подряды иссякали, мы чинили этот хлам.

Хозяина я видел редко. Иногда он заходил в мастерскую, останавливался на пороге. Франтовато, не по возрасту одетый, в форменной инженерской фуражке, хотя инженером он вовсе и не был, хозяин обводил свою мастерскую печальными выпуклыми глазами. Его толстое лицо оплывало на белоснежный воротничок, как свеча. Никаких указаний он нам не делал, — стоял, засунув руки в карманы просторных чесучовых брюк.

Я был у него однажды дома: хозяин послал меня с какой-то запиской к жене. Неряшливо одетая, красивая и грубо-молодая, она распаривала мозоли, опустив маленькие крепкие ноги в таз. Лениво прочитав записку из моих рук, она сказала:

— От жлоб на мою голову!

Я подождал немного, но она больше ничего не добавила.

Хозяин спросил у меня:

— Что она делала, когда ты пришел?

Я постеснялся сказать, что она мыла ноги.

— Читала, — ответил я.

— Что-нибудь передала мне?

— Привет, — ответил я. На большее у меня не хватило фантазии.

— Ты добрый мальчик, — сказал хозяин. И дал мне полтора миллиона на одно пирожное.

Прослужив у этого странного нэпмана год, я осенью, заполняя институтскую анкету, назвал себя рабочим. Меня вызвали в приемную комиссию.

— Подручный монтера, — громко, брезгливым голосом прочитал председатель комиссии. Он посмотрел на меня: — Это ты и есть подручный монтера?

— Я, — прошептал я.

— Тогда задаю наводящий вопрос: что такое курцшлюсс?

Я молчал. Мастер, с которым я работал, называл короткое замыкание — коротким замыканием. Мастер не употреблял слова «курцшлюсс». Но он был хороший мастер.

— Товарищи члены комиссии, — сказал председатель, — картина, по-моему, ясная: перед нами очередная липа. Есть предложение — вернуть хлопцу документы.

И мне вернули их.

С тех пор, с юношеских лет, я не люблю свои документы. Я живу с ощущением, что в моих документах всегда что-то не в порядке. Чего-то в них всегда не хватает. И то, чего недостает, оказывается самым главным.

В ящиках моего письменного стола накопилось за долгие годы множество справок, удостоверений, пропусков и членских билетов. Если собрать все это воедино, запрограммировать и нанести на перфокарту, то будущая кибернетическая машина сочинила бы по этим данным не меня.

Я остался бы внутри машины, ослепленный ее бесчисленными импульсами.

Саша Белявский был среди нас аристократом. Он переехал с Рыбной на Сумскую — на главную улицу города. Она называлась теперь улицей Карла Либкнехта. Павловскую площадь переименовали в площадь Розы Люксембург. Для нас это было не будничным переименованием, а близкими зарницами мировой революции.

В квартире родителей Саше принадлежала отдельная комната с двумя коврами — над диваном и во весь пол. На собственном письменном столе у него лежал большой нож слоновой кости. Сейчас такие ножи перевелись.

Это было очень шикарно, когда Саша клал на свое колено новенькую пухлую книгу без переплета, отпечатанную на толстой серой бумаге, с неразрезанными листами, и, вложив нож слоновой кости между страницами, пилил им листы сперва по горизонтали, а потом по вертикали. Бумажные опилки сыпались на его остро отутюженные брюки, он их аккуратно смахивал в подставленную ладошку. Когда мы потом читали эту книгу, нам казалось, что никто до нас ее не знал.

Родители Саши, прежде чем войти в его комнату, стучались. Саша выкрикивал:

— Антре!

Или:

— Плиз!

Он знал несколько языков — даже турецкий. На турецком языке в Харькове можно было разговаривать только с чистильщиками сапог — айсорами. Поэтому Сашины туфли всегда зловеще сияли, и едва уловимый запах первоклассной ваксы «Функ» реял вокруг него.

Свою мать он называл по имени — Любой. Это меня смущало. Его жизнь была так не похожа на мою, что я испытывал неловкость, попадая к нему в дом.

Сергей Павлович ходил дома в суконном халате, длинные поясные кисти свисали до колен. Ноги его были обуты в мягкие расшитые туфли. Черный дог, величиной с жеребенка, бродил по коврам, царственно распахивая лапой двери. С догом тоже беседовали по-английски.

Мне казалось, что в доме Саши Белявского есть что-то ненастоящее. Я считал, что все они немножко прикидываются; даже важность пса была для меня напускной. Я легко представлял себе, что, когда в квартире Белявских нет посторонних, черный дог Рекс, отдыхая, превращается в дворнягу и жрет на кухне помой.

Вся наша компания бывала у Саши редко и неохотно. С нами были там вежливы и предупредительны, но что-то теснило нас в Сашином доме. То ли безупречный порядок и чистота, то ли Сергей Павлович, которого мы не понимали и стеснялись.

Он разговаривал с нами изнурительно шутливо. Ему почему-то казалось, что больше всего на свете мы ценим иронию. И отношения его с Сашей были ненатурально ироническими. Может быть, оба они полагали, что эта утомительная интонация подчеркивает их равноправную, чисто мужскую дружбу.

Первое время я был восхищен этой вольностью обращения, но вскорости заметил, что, несмотря на незлобивость перебранок, в глазах Сергея Павловича, когда он посматривал на сына, мелькала какая-то странная, жалкая искательность. Она была необычной у этого рослого, красивого и самоуверенного адвоката. Не знал я тогда, насколько сложны отношения Саши с отцом.

Сергей Павлович жил вне дома широко и свободно. Женщины угорали от него. Но ему не везло — он всегда попадался. Опытный юрист влипал на пустяках. Возвращаясь вечерами домой, перед тем как открыть дверь своей квартиры, он дотошно осматривал себя с макушки до каблучков, он убирал сытое и праздное выражение со своего лица, умело заменяя его усталым и озабоченным. Однако ничто ему не помогало. От него чадно пахло чужими духами, чужой пудрой, острой кулинарией ресторана.

В благополучном и элегантном доме Белявских было неспокойно. Я не догадывался об этом, но бывать там не любил.

Своих учеников мы с Сашей натаскивали в моем подвале. Они приходили к нам по объявлениям, которые я расклеивал на заборах. «Два студента, — врал я, — готовы в вузы по всем предметам. Оплата по соглашению».

Учеников было не так уж много — человек пять — семь. Самым для них привлекательным в нашей педагогике была дешевизна: за уроки мы брали гроши.

Саша выглядел солидней, поэтому он и вел начальные переговоры с родителями абитуриентов. Он был отлично одет и хорошо воспитан. Меня же можно было показывать ученикам, когда их отступление становилось уже невозможным. Я ходил в обносках своего среднего брата, который до меня донашивал вещи нашего старшего брата.

У отца была стойкая, мудрая формула — ею он отбивался от матери, когда она молила его купить мне обновку:

— А что, в этих штанах его не узнают?

И верно. Меня узнавали издали. По живописности моей рванины.

Единственное, что приобреталось для меня персонально, это дешевые белые хлопчатобумажные носки. Мать пробовала возражать против их цвета, но отец был неумолим.

— Казенный раввин в Минске ходил в белых носках, — говорил отец. — А нашего босняка в них не узнают?

Заведено было у нас в семье, что хозяйство вел отец. Не знаю, с чего это пошло, но к тому времени, когда я начал понимать уклад жизни, в доме распоряжался отец. Он покупал даже платья для матери. Он варил варенье и солил на зиму огурцы. Пек хлеб. Лудил и паял кастрюли. Чистил и смазывал свои пистолеты.

За обеденным столом никто не смел садиться на отцовское место. В последний раз отец ударил меня, когда мне было семнадцать лет.

Бить детей нельзя. Я это проходил. Но я видел столько необъяснимого в жизни, что насмерть запутался в выводах. Встречались мне семьи, где детей воспитывали по совершеннейшим педагогическим методам. Однако приходил срок, и из ребенка вырастал подлец. Я знал дома,

где у подонков родителей появлялись на свет дети, которыми могло бы гордиться человечество.

Загадочность эта, мне кажется, никогда не будет объяснена.

Условия, в которых я рос, мало соответствовали тому, о чем пишут в книгах по детской педагогике. И не потому, что они лживы. Есть в этих книгах один общий недостаток: в них не учитывается неповторимость личности воспитателя.

Для того чтобы растить детей, скажем, методами Макаренко, надо быть Антоном Семеновичем. Способ духовного воздействия на человека не может быть оторгнут от личности воспитателя. Метод должен быть внутри него, внутренне присущ именно ему. Обучить этому нельзя. И повторить то, что делал Макаренко, тоже нельзя. В лучшем случае можно скопировать. Копия будет, больше или меньше, похожа на оригинал, но живой она не станет. Успех мог бы быть достигнут, если бы каждый воспитатель сумел сыграть самого Макаренко. А это невозможно.

Всякая мать растит характер ребенка своим модельным способом. Во всю силу своей неповторимой личности.

Вот и пришло твое время, мама. Пусть люди узнают, какая ты была у меня хорошая. Когда ты умерла, я перестал пугаться телеграмм и ночных телефонных звонков; я стал одиноким, мама, — твоя смерть отняла у меня беспокойство за твою судьбу. Из трех своих сыновей ты всегда любила крепче всего того, кому было хуже всех. И мы всегда стояли в очередь к тебе, потому что кому-нибудь из нас непременно бывало плохо. Вспоминая мать, люди опрокидываются в свое детство. У меня не так. Я люблю тебя любовью взрослого сына. Я помню твое лицо, когда ты открывала мне дверь. Никто в мире не открывал мне дверь с таким счастливым лицом. Я стучался с улицы к тебе в окошко. У дверей приходилось повременить — ты шла из комнаты, трудно опираясь на палку. Лучше мне не вспоминать едкий запах сырости в твоей квартире.

Можно сойти с ума, мама, от сложностей жизни! Чем больше я живу на свете, тем сильнее увязаю в них. Единственное спасение, которому ты же меня и научила, — это не переставать удивляться тому, что происходит вокруг. До тех пор, покуда я изумляюсь, я, быть может,

остаюсь человеком. В людской мерзости самое страшное — не мерзость, а привычка окружающих к ней.

Никому больше не интересно слушать меня, мама. Женщины, слушавшие меня с интересом, делали это и с другими. Друзья нынче озабоченные; они и сами ищут человека, который мог бы постичь их печаль. А для тебя я был единственный. Спасибо тебе за то, что ты меня не воспитывала. Ты просто была, и этого мне хватит на всю мою жизнь.

В семнадцать лет я ослеп и оглох от любви. Мне и сейчас трудно представить себе, что я от нее освободился. В этом ознобе меня трепало пятнадцать лет кряду, вплоть до войны 41-го года. Время омывало меня весь этот срок, мне казалось, что я стою в нем по щиколотки.

Точные ощущения сильной любви невозможно восстановить в памяти, как невозможно запомнить взрыв, чувство полета во сне, высокую температуру.

Что бы я ни делал за эти пятнадцать лет, я делал либо для нее, либо против нее. Я потерял возможность совершать нейтральные поступки. Любовь стала моей профессией.

С Катей Головановой мы познакомились по объявлению. В объявлении был указан адрес Белявского, но Саши не было дома в положенные часы, и Катя внезапно появилась у меня на Черноглазовской.

На мое горе, она вошла в нашу квартиру не вовремя: в гостях у нас сидел Воробейчик. Его безумие напыляло на него волнами. И нынче он был на гребне своего сумасшествия. Обычно спокойный и деликатный, он нервно слонялся сейчас в своих потертых кальсонах по нашей столовой, завязки волочились за ним по полу.

В подвале было сумеречно, и Катя не сразу разглядела его жалкую внешность.

Таких красивых девушек я еще не встречал.

Воробейчик пошел прямо на нее, протянул ей свою липкую, невытую руку и отрывисто представился:

— Родзянко.

Она вежливо ответила:

— Катя Голованова.

Я дотлевал от ужаса в углу на диване.

— Позвольте в краткой и беспристрастной диссертации, — Воробейчик начал свою лучшую бредовую речь, —

изложить вам дух и направление современной идеализации. Пауперизм, происшедший...

— Соломон Нахманович, — прервал я его, — члены Учредительного собрания просят сделать перерыв на молитву.

Эта фраза была для него священной. Он отошел к восточной стене и, покрыв голову одной рукой, стал бормотать слова субботней молитвы.

Теперь я мог подняться с дивана и подойти к Кате. Меня разозлило, что она стала свидетельницей моего позора. Узнав, что ей нужны два студента согласно объявлению, я грубо сказал:

— Это вранье.

Она порылась в кармане своего пиджачка и вынула бумажку.

— Вот адрес. Кажется, я списала правильно.

— Адрес правильный, — сказал я. — А в объявлении — вранье. Я не студент.

— Но вы даете уроки? — вежливо спросила Катя.

— Даю.

— Мне нужен учитель физики. У меня задолженность по этому предмету. — Она протянула мне руку. — Меня зовут Катя. Можно, я сяду?

Она села, а я стоял перед ней в белых носках. Воробейчик молился на восток, то повышая голос до крика, то лопоча страстным шепотом.

— Он больной? — тихо спросила Катя.

— Немножко, — ответил я.

— Вы не волнуйтесь, — сказала Катя. — Мой отец врач. Я привыкла. Правда, папа бактериолог, но у нас дома бывают всякие доктора. Вам нравится медицина?

— Не очень.

— Пожалуйста, не отказывайте мне, — сказала Катя. — Я буду внимательной ученицей. Если вы мне откажете, мама найдет какого-нибудь старого кретина и я возненавижу физику навсегда.

— Где вы учитесь? — спросил я.

— На медицинском. На первом курсе.

Я не имел права брать этот урок. Задолженность Кати по физике намного превышала мои знания. Узнав, что это меня смущает, она упрямо мотнула головой.

— Глупости. Все равно вы знаете больше, чем я. И потом, есть же книги...

Она оставила мне свой адрес.

Назавтра я пошел к ней в первый раз.

Катя жила в здании Харьковского медицинского общества. Подымаясь в ее квартиру, я затерялся на широкой парадной лестнице. Толстые стенные зеркала повторяли мое изображение: справа и слева от меня, вровень со мной, нахально подымался по мраморным ступеням худой, лопухий юноша, в латаной толстовке до колен. Мне боязно было смотреть на него. Но я был горд тем, что его занесло на эту лестницу.

Служебный день в здании закончился, просторные гулкие коридоры запутали меня. Резкий тошнотворный запах бил в нос: здесь готовили сыворотку для всей Украины. Из-за высоких, как ворота, дверей доносились порой странные пронзительные крики и писк; это кричали обезьяны и жаловались на свою судьбу морские свинки.

Я набрел наконец на дверь с медной дощечкой: «Профессор Федор Иванович Голованов».

Катина мать встретила меня нелюбезно — я не мог ей понравиться. И не потому, что на мне были обноски, — я вопиюще не соответствовал вкусам жены петербургского профессора. Страдая оттого, что Федор Иванович ушел из Военно-медицинской академии и принял пост директора харьковского санбакинститута, Анна Гавриловна чувствовала себя в нашем городе униженной.

Ей не нравилось все: и речушка Лóпань вместо державной Невы, и хохлацкое произношение, и щербатый булыжник вместо торцов Невского проспекта, и ужасающая купеческая архитектура взамен Растрелли, Росси и Воронихина. Вдобавок ко всему этому — еврейский мальчишка-репетитор, которого привела в дом ее сумасбродная дочь.

Анна Гавриловна не стала со мной церемониться. Она тотчас дала мне понять, что я — ничтожество. Выяснилось под ее леденящим взглядом, что я не умею стоять, сидеть и передвигаться по комнате. Я громко пил чай. Я держал за столом вилку, как убийца. Я делал ударения, от которых Анну Гавриловну пошатывало. К чести ее надо сказать, она не скрывала своего отвращения ко мне. Она даже долго не могла выговорить мое длинное

имя — Боря и вместо этого называла меня коротко — молодой человек.

Странно — я не обижался на нее. Недоброжелательство, выраженное в такой открытой форме, забавляло меня. Злилась — Катя. Когда Анна Гавриловна особенно цепко впивалась в мой загривок, Катя кричала:

— Перестань! Сию же минуту перестань!

Наши занятия по физике шли успешно. Институтская программа нередко ставила меня в тупик, но вдвоем мы легко одолевали мое невежество. Деньги, которые Анна Гавриловна, с оскорбительной церемонностью, вручала мне за урок, мы с Катей прогуливали. Мне было неприятно получать плату за счастье общения с Катей, я хотел отказаться от денег, но она возмутилась:

— Вы сошли с ума! Это ваша работа. Почему вы должны делать ее бесплатно?

Не помню, когда я впервые объяснился ей в любви. За пятнадцать лет я делал это столько раз, что все мои объяснения слились в одно.

Это было и на холмах Технологического сада — весь город темнел внизу в сумерках, и, когда я произнес свои слова, вспыхнул у наших ног Харьков, словно я подпалил его силой своего чувства. Это было и на площади Розы Люксембург, и на улице Карла Либкнехта, в вонючих горбатых переулках, в подворотнях и парадных подъездах, в битком набитых трамваях, на подножках пригородных поездов. Это было в зиму, в осень, летом, весной. В солнце, в мороз, в слякоть. Это было и в тот день, когда она вышла замуж за Болеслава Тышкевича — старшего оперуполномоченного ОГПУ. И в тот день, когда она с ним разошлась. И в ту минуту, когда я узнал, что у нее второй муж. И тогда, когда я женился. И всегда, когда мы лежали с ней в постели.

Из всех человеческих чувств, пожалуй, труднее всего анализировать любовь. Разложенная на свои мельчайшие частицы, она мертва. Расчлененная, она не складывается воедино.

Мне потому и трудно рассказать о Кате, что свойства ее характера не дадут представления о том чуде, которое она собой являла для меня. Это не значит, что я ее сочинял. Я даже не был пристрастен к ней: когда мне указывали на ее пороки, я их не отрицал. Я только упрямо твердил:

— Все равно, вы ее не знаете.

Вероятно, я имел в виду, что любимая женщина состоит не только из черт своего характера. Между этими чертами есть какие-то неисследованные миры, видимые только влюбленному.

Так я и жил, словно идя по бесконечно длинному туннелю, в конце которого светилась Катя. И когда эта жизнь стала мне неведомой, я переехал в Ленинград. Шел тысяча девятьсот двадцать девятый год от рождения Христа и двадцатый год со дня моего рождения.

Мама уложила в мой чемодан две простыни, три смежные белья, пару брюк и одну стираную толстовку.

Накануне своего отъезда я пришел к Кате. Она не знала, что я уезжаю. Это известие я берег до последней секунды, нисколько не надеясь, что оно хоть как-нибудь изменит мою судьбу. Да и на что я мог рассчитывать? Мне только хотелось увидеть ужас в Катиних глазах, когда она услышит, что завтра меня здесь не будет.

Мы вышли из ее дома и пошли, как всегда, бесцельно, не разбирая дороги.

Через тридцать лет я приехал в Харьков без всякого дела. Обычно свидание со своей юностью трогательно. Дома и дворы кажутся меньше. Все видится иначе, нежели прежде. Со мной этого не произошло.

Бродя по городу, я пытался вызвать, как духов, давние воспоминания. Но улицы и дома были немые со мной. Даже запахи и звуки — эти стойкие вехи человеческой памяти — утратили свою мощь.

Я ходил по рядовому областному центру — столица моей биографии исчезла. Быть может, это объясняется тем, что меня к тому времени завалило обломками. Мне было не выбраться из-под них навстречу прошлому. Оказалось, что я не повзрослел, не вырос, не постарел — я был иной. Моя юность оказалась некомплектной, она принадлежала кому-то другому. Мне кажется, что многие нынешние старики испытывают то же чувство. Их жизнь так же некомплектна. Брюки не подходят к пиджаку — они разного цвета и фасона.

Мы ходили с Катей допоздна, и только прощаясь, у порога ее дома, я сказал:

— Завтра я уезжаю в Ленинград.

— Зачем? — спросила Катя.

— Да просто так.

— А когда вы вернетесь?

— Никогда.

— Не говорите чепухи, — сказала Катя. — Вы не можете уехать навсегда.

— Тем не менее, — сказал я.

— Вы не смеете бросать меня. Я без вас пропаду.

— Вот уж нет, — сказал я. — Нисколько не пропадете.

— А еще ввали, что любите меня.

— Ни капельки.

— Что ни капельки?

— Ни капельки я не врал.

Она заплакала.

— Если вы завтра уедете, я сделаю что-нибудь ужасное.

Я был счастлив — она плакала. Вероятно, это было заметно по моему лицу.

— Вы бесчувственная скотина, — сказала Катя. — У меня никого нет ближе вас.

Я уехал на другой день, послав ей с вокзала прощальную телеграмму. Когда телеграфистка считала слова, я встал перед окошком так, чтобы не было видно моего лица.

— Вы не ошиблись? — спросила телеграфистка. — Тут есть повторения. Можно сократить.

— Не надо, — сказал я.

Это случалось со мной постоянно: связисты всегда испытывали желание отредактировать мои телеграммы Кате. Связисты были правы: то, что я писал ей, надолго выбивало их из рабочего состояния.

Я непременно приеду к вам в Самарканд, дорогая Зинаида Борисовна. Еще раз спасибо за приглашение. Письмо от Сергея Павловича я получил и тотчас ответил ему. Он пишет мне, что переслал вам фронтовые дневники Саши. Пожалуйста, сохраните их у себя до моего приезда.

Что касается вашей просьбы, Зинаида Борисовна, то винюсь: я не в силах ее выполнить. Если бы это необходимо было для вас, то, конечно же, я написал бы всем тем приятелям моего детства, которых вы перечислили

в своем последнем письме. Но, насколько я понял, вы считаете, что это необходимо для меня. А я не ощущаю этой необходимости.

Мне поздно заводить новые дружбы и возобновлять старые. В том и в другом случае я вынужден распахиваться заново и заново же оценивать то, что раскрывается мне. В моем возрасте лепишься к друзьям, которые уже знают, как я поступлю и что подумаю. Людей дряхлят разочарования.

Нет, Зинаида Борисовна, прерванная юношеская дружба редко склеивается заново. Даже реже, по-моему, нежели складывается новая. Хотя бы потому, что от прежней дружбы всегда ждешь больше, чем она в силах дать.

В прошлом году я ездил в Ростов. Институтская аудитория, в которой я читал свою лекцию, была полупуста. Донская июльская жара загнала в прохладное здание случайных людей. Моя лекция, по-видимому, мало их интересовала. Настроение слушателей передавалось и мне — я поспешно и вяло закруглился. Вопросов ко мне не было.

Однако, направившись к выходу, я увидел, что в дверях меня ждет какая-то старуха. Когда я поравнялся с ней, она тихо спросила:

— Вы из Харькова?

Плохо соображая от жары и усталости, я ответил:

— Из Ленинграда.

Она посмотрела на меня, смущенно и печально улыбаясь. Улыбку я узнал. Так умела улыбаться только Валя Снегирева, моя бывшая жена, когда я ей врал. Мы прожили с ней неполный год, почти сорок лет назад:

Сейчас передо мной в дверях стояла бесформенная старая женщина с авоськой в руках. И я понимал, что перед ней стоит вспотевший от усталости, поношенный старик. Чувство вины, которое я всегда по отношению к ней испытывал, вонзилось в меня тотчас. Я схватил ее за руку и стал бессвязно лепетать. Я сказал ей, что она ни капельки не изменилась.

— Ты опять оправдываешься, — рассмеялась Валя.

Мы вышли на раскаленный добела бульвар. Даже голубое небо выгорело от жары.

— Отведи меня к себе попить чаю, — попросил я.

— Не могу, — сказала Валя. — Муж сегодня взял отгул, он выходной.

Увидев мое удивленное лицо, она робко добавила:

— Он не может слышать твоего имени.

— Валечка, — сказал я. — Валюша. Прошло сорок лет.

— Ну и что, — сказала Валя. — Я слишком много рассказывала о тебе.

Боже ты мой, что можно было рассказывать обо мне! В двадцать два года я женился на ней походя. Она это знала. Мы прожили вместе десять месяцев, и каждый день этого срока был для нее мукой. С фанатической жестокостью я пытал ее своей любовью к Кате. Мне почему-то казалось, что так честнее. Я слишком поздно заметил, чего это ей стоит.

Сейчас нас выбросило на ростовский бульвар, под акации. Притихшие пенсионеры доживали рядом на скамьях. Они безучастно посматривали на нас, мы — на них, не в силах представить себе, какие страсти сшибались у каждого из нас за спиной. И по аллеям бродили молодые люди, о которых мы небрежно и презрительно думали, что судьбы их проще и легче.

— Как же ты жила? — спросил я Валю.

— Жила, — сказала Валя. — Длинно рассказывать.

— У тебя есть дети?

— Двое. Оба женаты. Они тоже знают о тебе.

— И тоже не могут слышать моего имени?

— Нет, — сказала Валя. — Им было бы интересно с тобой познакомиться. — Она виновато улыбнулась. — Они ведь не представляют себе, что их мать могла любить кого-нибудь, кроме их отца.

— А если б увидели меня, то представили бы?

Она кивнула не раздумывая.

— Ты же мое калечество, — сказала Валя.

Я сошелся с ней пьяный, на вечеринке, приехав к родителям в отпуск в Харьков. Замыканный ссорами с Катей, я старался заткнуть ту рану, из которой хлестала моя любовь. Мне казалось, что надо заткнуть ее на скорую руку, как попало. Тут же, под утро, я объявил своим товарищам, что женюсь на Вале. Тосик Зунин отвел меня в сторону и сказал извиняющимся голосом:

— По-моему, ты сволочь.

— От талмудиста слышу, — сказал я. — Она все знает.

Он поднялся на цыпочки, взял меня своими слабыми руками за плечи и придвинул к себе.

— Зачем ты это делаешь?

— Я хочу начать новую жизнь, Тосик. Имею я право?

— Оботрись, — сказал Тосик брезгливо. — У тебя вся морда в помаде.

Узнав, что я собираюсь жениться, моя мать пригласила Валью к обеду. Отец был в отъезде. Братья два года назад уехали в Ленинград. На обед было приготовлено самое вкусное блюдо — начиненные мукой и жиром коровьи кишки. Мы сидели за просторным столом втроем, мать подкладывала в Валину тарелку самые румяные куски.

— Слава богу, удачно получилось, — сказала мама. — На базаре они не всегда бывают. — Она посмотрела на меня. — А теперь ты принесешь из колонки ведро воды, а мы вдвоем немножко поговорим.

Задержавшись в кухне, я услышал, как она ласково обратилась к моей невесте:

— Послушайте меня, Валечка: не надо выходить за него замуж. Я знаю своего сына — он вас бросит.

— Разве он плохой? — спросила Валя.

— Он очень хороший, — сказала мама. — Но с ним целая трагедия. Мне неловко выдавать его тайну...

— Я знаю, — сказала Валя. — Это все уже в прошлом.

— Он сам вам так сказал?

— Нет, он не говорил, но я чувствую...

— ...А где твоя мама? — спросила меня Валя на ростовском бульваре.

— Умерла.

В Ленинграде я поселился в Саперном переулке, в квартире бывшего журналиста из санкт-петербургских «Биржевых ведомостей».

Сдавая мне темную комнату прислуги рядом с кухней, он прежде всего пригласил меня в уборную и показал, как надо спускать воду в унитаз.

— Прошу вас повторить при мне, — сказал хозяин.

Его усатая жена предупредила меня, что я не должен пользоваться парадным ходом и ванной.

— Это не значит, — сказала она, — что вам не следует ходить в баню.

В квартире было тихо, как в погребке. Из хозяйских комнат не доносилось ни звука. Обутые в войлочные туфли, супруги бесшумно бродили по квартире, неотвратно появляясь за моей спиной.

Я зажигал свет в кухне — они его гасили.

Я открывал кран над раковиной — они его прикрывали.

Я разжигал примус — они его укрощали.

Перед сном до меня доносился скрежет запоров, звяканье цепей и разноголосое щелканье замков. На ночь хозяева закрывались внутри квартиры и от меня. Мне казалось, им не скучно жить в этом лютом одиночестве: подозрительность и недоверие к людям отнимают у человека много времени и сил. Конвоируемый этими чувствами, он занят круглые сутки. Доверчивому человеку хуже: одиночество непереносимо для него.

В первые три месяца я не видел Ленинграда.

Разложив в пустых папиросных коробках деньги, привезенные из дома, я судорожно готовился к экзаменам в институт. Всю свою жалкую наличность я разменял в магазинах на девяносто равных порций — по рублю в день. Аккуратно сложенные, эти рубли соблазняли меня донельзя. И чтобы выстоять, я ограничил свои прогулки тоскливыми маршрутами: скучная, как труба, Басейная улица, обрубки переулков рядом с моим Саперным, безликая Знаменская — вот и все, что я себе позволял.

Документы были поданы во 2-й медицинский.

На этот раз я срезался на первом же экзамене по литературе. «Железный поток» Серафимовича — тема сочинения, доставшаяся мне по билету, сгубила меня. Я написал, что это скучный роман, в котором нет ни одного запоминающегося героя. Расчесанный собственным свободомыслием, я наивно трепал своими молочными зубами произведение, считавшееся классическим. Тройка, поставленная за это сочинение, не позволила мне набрать проходной балл.

Легкомыслие юности благословенно — оно порождает бесстрашные поступки, о которых потом принято

говорить, что они закономерны. И в них действительно есть святая закономерность легкомыслия.

Мои деньги были на излете. В последней папиросной коробке лежали восемь рублевых бумажек — восемь дней жизни. Разменяв их в ларьках на мелочь и уложив ее столбиками по пятьдесят копеек, я удвоил свой капитал.

Мысль о возвращении домой, в Харьков, даже не приходила мне в голову. Я был в том состоянии непоколебимого физиологического безрассудства, которое подвергает в ярость пожилых людей.

— На что вы рассчитываете? — спрашивает старик у юноши.

Юноша не может ответить, ибо он ни на что не рассчитывает и одновременно рассчитывает на все. На то, что он найдет на улице бумажник. На то, что внезапно распахнется дверь его комнаты, войдет запыхавшийся человек и скажет: у нас есть для вас прекрасная работа, убедительная просьба не отказываться. В расчеты юноши входят утреннее солнце, полдень, вечер, ночь. И личное бессмертие.

Забрав документы из института, я почувствовал облегчение. Четыре года подряд я делал все, что мог. С меня хватит, сказал я себе. Живут же люди и без высшего образования!

Теперь у меня оказалась пропасть свободного времени. Можно было наконец осмотреть Ленинград. Осмотр надо начинать с вышки Исаакиевского собора — это мне было известно.

Взобравшись па вышку, я не мнил, как Растиньяк над Парижем, что подо мной лежит город, который я должен покорить. Найдется же, думал я, в этой равнодушной панораме крохотное местечко и для меня.

Не может не найтись!

Я жил уже всухомятку, доедая посылку, присланную родителями. Мои жалкие объявления давно висели на специальных досках, в окружении таких же голодных репетиторских воплей.

Последние три рубля я просадил во Владимирском клубе — в игорном доме растратчиков и нэпманов. Это

произошло с такой волшебной быстротой, что я даже не успел ощутить горечь проигрыша.

Крупье прохрипел: «Можно ставить, есть прием» — я воровато, из-за чужих тел, просунул три рублевые бумажки на край стола, услышал в полной тишине, пропитанной духами, потом и тревогой, какое-то жужжание, — и все было кончено.

Мне не удалось даже увидеть лиц игроков: густой ча-стокол их спин и затылков заслонял от меня стол, и по этому частоколу через равные промежутки времени пробежала судорога волнения.

Поднявшись на цыпочки, я рассмотрел на прощанье плавающий в папиросном дыму эмалированный пробор крупье. Он сидел на возвышении; в большой комнате было полутемно, и только голову этого афериста окружал электрический нимб святого.

Зал рулетки помещался в конце клуба. Идя к выходу, я прошел сквозь несколько комнат, таких же душных и затемненных. Освещены были лишь длинные столы, покрытые зеленым сукном. Здесь играли в коммерческие игры — в баккара и шмендефер. Незнакомые друг другу люди — мужчины и женщины — сидели в креслах вокруг стола. Играли они молча, как призраки. Ощущение нереальности того, что здесь происходило, сохранилось у меня до сих пор. Я и сам себе казался недостоверным в тот вечер.

Денег на трамвай у меня не осталось. Я шел по Невскому, с угла Владимирского к Московскому вокзалу. Оттого, что я вышел из игорного дома, Невский предстал передо мной в ином свете — в мареве страстей и порока.

У дверей ресторанов дежурили на облучках лихачи-извозчики. Их жеребцы, покрытые голубыми сетками, сучили нервными ногами.

Проститутки, которых я раньше не слишком замечал, заговаривали со мной, словно полагая, что игроку они могут понадобиться. Они прохаживались на углах и у освещенных витрин магазинов, одетые в свой боевой наряд и раскрашенные, как индейцы. Чем ближе я подходил к Московскому вокзалу, тем сиротливее и наглее они выглядели. У Пушкинской, неподалеку от бань, это были уже немолодые потаскухи, с красными мордами, от них за версту воняло водкой, табаком и банными вениками.

Весь Невский, казалось мне в тот вечер, проигрывал, продавался и покупал.

Утром я пошел на Биржу труда.

Я бывал уже здесь не раз, но всегда уходил в тоске: толпа разливалась у входа. Зал Биржи был перегорожен клетушками, там сидели служащие. Безработные гудели в очередях. Хвосты этих очередей, утолщаясь, вплетались в беспорядочное месиво на Кронверкском.

В то утро я был полон решимости. Сперва надо было встать на учет у окошка. Именно это мне никак не удавалось сделать. Я не знал, кто же я такой. Каждое окошко ведало определенной профессией. Я считал себя работником умственного труда, но на руках у меня была всего одна бумажка, удостоверяющая, что я действительно когда-то родился и продолжаю существовать.

Тут же в зале мне пришлось внутренне переквалифицироваться. На мое счастье, в этот день пришло требование с Никольского рынка: аптекарский склад, расположенный на рынке, запрашивал чернорабочих.

С месяц я таскал мешки на этом складе — из подвала их надо было нести по зыбкой доске, круто поднятой через люк, во второй этаж. Я не знал, чем наполнены эти проклятые мешки, но они были огромного размера и от них несло лекарствами.

Нанюхавшись за день, я не мог есть. Обессиленный постом, я не мог их таскать по доске. Получался замкнутый круг: для того чтобы жить, я должен был работать на этом складе. Работая на складе, я не мог жить.

Взбираться по крутой, колеблющейся доске с огромным мешком на спине становилось все труднее. Последние два-три шага были особенно невыносимы.

Груз раздавливал меня.

Я останавливался за смертью.

Зеленые и красные звезды вспыхивали у моих глаз.

— Задумался, интеллигент! — беззлобно кричал мне снизу кладовщик.

И тогда я вспоминал Катю.

Она возникала передо мной в горловине люка.

— Вы все можете, — говорила она мне. — Я вас жду наверху.

На подгибающихся ногах я шел к ней.

Религия моей любви к ней не раз выручала меня.

— Вы все можете, — слышался ее голос, когда я уже ничего не мог.

— Вы ничего не боитесь, — говорила Катя, если я бывал перепуган насмерть.

— Я люблю вас, — доносился до меня ее шепот в то мгновение, когда над моей головой смыкалось одиночество.

Вспоминая свое дальнейшее прошлое, сложнее всего восстанавливать в памяти не факты — они набегают непроизвольно; мучительно уточняются мысли того времени, тогдашнее отношение к окружающей действительности.

Труднее всего, вспоминая молодость, обтереть свои ноги у ее порога: войти в нее голым от сегодняшнего опыта и сегодняшних мыслей.

Когда, надрываясь, я делаю над собой это нечеловеческое усилие, то моим глазам открывается мир, в котором отсутствует закон тяготения. Тому голому юноше на той дальней планете ходить было легко, как полубогу; он делал мимолетное движение и тотчас отрывался от земли. Он ступал по земле веселыми ногами. Решения, от которых, быть может, зависела его дальнейшая судьба, он принимал мгновенно, не раздумывая.

Если что-нибудь оказывалось ему непонятным, он считал это несуществующим.

Непогрешимость его суждений вырубала перед ним просеку, гладкую, как взлетная полоса.

Я не знаю, в какой степени именно этот юноша характерен для того времени. Да и так ли уж важно знать это?

О чем я думал в те годы? Чем жил?

Сопричастностью ко всему, что делается в мире. Для моей юности не существовало расстояний. Все, что волновало меня, происходило рядом.

Рядом бастовали горняки Англии, за стеной простиралась Гренада, за углом строили Магнитку и Днепрогэс, под моими окнами бродили Маяковский и Бабель, Пастернак и Багрицкий.

В моей юности не было игр. Футбол и хоккей еще не изобрели для нас. Даже шахмат не было в нашем мире.

Собираясь, мы ни во что не играли. Мы разговаривали.

Я вмешивался в ход событий и в судьбы людей. Все,

что делалось вокруг, зависело и от меня. Мировые проблемы жаждали моего решения. Я был щедр — меня хватало на земной шар.

Мои суждения обладали одной сказочной основой: люди хотя и справедливы и ненавидят, когда их угнетают. Человеческая подлость была для меня категорией классовой.

Я верил в то, что говорил. И говорил то, во что верил.

На этот раз отдел работников умственного труда Биржи направил меня учителем в школу ФЗУ. Школа помещалась в Александро-Невской лавре, в здании, где прежде жили монахи.

Дважды в день мне приходилось шагать вдоль знаменитого кладбища, мимо могил.

Я не испытывал при этом никакого трепета.

Все, что касалось старого уклада жизни и смерти, представлялось мне канувшим в учебники. Я жил в то-ропливом и голодном любопытстве к завтрашнему дню: вечером зачеркивалось то, что происходило утром. Я не понимал еще, что человек, лишенный прошлого, похож на однодневное насекомое.

Школа ФЗУ им. Тимирязева выпускала автомонтеров. Фабзайчата — так называли тогда этих учеников — были настолько пестры по своей подготовке, что мою математику мне приходилось кромсать на ничтожные кусочки, которые можно было глотать не разжевывая.

В те годы был изобретен специальный термин для этого метода — пропедевтический. Я совестился спросить, что обозначает это слово, и до сих пор так и не удалось выяснить его подлинный смысл.

Однако суть его состояла в том, что мысль, требующая научного доказательства, внушалась полуцирковым способом.

На урок геометрии я приходил к своим фабзайчатам, груженный обрезками фанеры. Эти обрезки — наглядные пособия — подвешивались на стене у доски, я дергал их, как фокусник, за ниточки, и получалось, что большой фанерный квадрат, громоздившийся на гипотенузе, распадался на два меньших квадрата, расположенных на катетах.

Проделывал я это с необыкновенной легкостью, но поначалу мне чудилось, что в углу моего класса беззвучно рыдает старый грек Пифагор.

Сколько раз, уже много позднее, мне пытались внушать все тем же пропедевтическим методом истины, несравненно более спорные, чем бессмертная Пифагорова теорема!

В ФЗУ я работал недолго. Вряд ли кто-нибудь из моих учеников запомнил меня: ничему серьезному я научить их не мог.

Но они-то, эти бесшабашные мальчики и девочки, обучили меня одному: желанию быть понятым. Когдаходишь в класс, где за партами сидят сорок оголодавших от невежества ребят, разевающих на тебя свои шумные галочки рты, ты не можешь позволить себе подлой роскоши быть непонятым!

В ФЗУ мне уплатили первую зарплату — шестьсот рублей. Это было в два-три раза больше, чем я проживал до сих пор в месячный срок.

Старик шофер, преподававший ребятам автомобильную езду в моих группах, получал в кассе деньги вслед за мной. Увидев мое глупое от счастья лицо, когда я рассовывал бумажки по карманам, шофер сказал:

— Есть к вам разговор, товарищ преподаватель.

Я подождал его у входа, полагая, что разговор пойдет о наших учениках: бывало, что мы с ним помогали друг другу. Старика ребята любили; он ездил еще на первых автомобилях в России, был гонщиком, служил шофером у кого-то из великих князей. С князем они не ладили: выпивши у царя в Зимнем дворце, князь пытался сесть за баранку в состоянии алкогольного опьянения. Степан Иванович этого баловства терпеть не мог. Сперва он уговаривал князя по-хорошему, а потом, не сдержавшись, обложил его матерными словами. Князь очень расстроился, тоже психанули, и произошла между ними непоправимая размолвка.

— И уже того уважения, — рассказывал Степан Иванович, — у нас не стало. И я подал на расчет. А тут как раз и Февральская революция.

— И больше вы его не встречали? — спрашивали ребята.

— Врать не буду, не встречал.

Глядя на Степана Ивановича, я не сомневался в правдивости его рассказа. Он был человек самостоятельный — есть такое слово в народе. Что же касается великого князя, то, черт его знает, разные, вероятно, случались великие князья. Написал же один из них: «Умер, бедняга, в больнице военной» — тоже нетипично для семьи Романовых.

Дождавшись Степана Ивановича у входа, я пошел с ним через Лавру на Старо-Невский.

— Выпьем пивка? — предложил старик.

Мы зашли в «культурную» пивную, — так она официально называлась. Старик заказал пару пива — здесь подавали его с моченым горохом и с густо посоленными крохотными сушками.

Пиво я не любил, но из уважения к Степану Ивановичу потягивал его медленно и солидно.

— Глупостей много, — сказал вдруг старик. — Почему именно «культурная» пивная? Значит, если я здесь нарежусь, то я кто? Та же буду свинья. Это знаете кто придумал? Деревенский мужик. Он прикатил в город, и ему охота срочно откреститься от своей темноты. Вот он и пошел называть по-новому: культурная парикмахерская, культурный сортир. Прислонил серьезное слово к дерьму — и рад.

Я ответил что-то в том духе, что тяга к образованию, к культуре — явление положительное. Степан Иванович вежливо кивал, но слушал без всякого интереса. На середине какой-то фразы он внезапно перебил меня:

— Покуда не женились и деньжата завелись, надо вам построить костюм.

Я невольно взглянул на свою потертую толстовочку.

— Если желаете, — сказал Степан Иванович, — можно сходить к одному портному. Он раньше фраки шил. А нынче работает в спецмастерской. На горбунов шьет и на дипломатов.

Попасть в эту мастерскую было сложно, но старик шофер помог мне. На руках у меня оказался ордер, а знаменитый портной был предупрежден о моем существовании. Насколько я понял, Степан Иванович дружил с ним с давней поры. По какому разряду я был зачислен в клиенты — как горбун или как дипломат, меня не волновало.

Я хорошо запомнил этого мастера не потому, что он построил мой первый костюм: он поразил мое воображение.

Когда я вошел в мастерскую, Яков Захарович пил чай.

Поодаль, на широких столах, скрестив под собой ноги, сидели брючники.

Яков Захарович пил свой чай с лимоном за отдельным маленьким столиком. Седой, стройный и элегантный, со светлым платочком в верхнем карманчике отлично сшитого бархатного пиджака, он поднялся мне навстречу, небрежно принял из моих рук ордер и отложил его на столик не глядя.

— С вашего разрешения, я допью чай, — сказал Яков Захарович.

Он протянул мне журнал мод.

— Ознакомьтесь, — сказал Яков Захарович. — Я буду очень огорчен, если вы отсюда что-нибудь выберете.

В двадцать лет у меня не было четкого представления о модах, поэтому я листал журнал без всякого воодушевления. Возможность ничего не выбирать устраивала меня.

— Приступим, — сказал Яков Захарович, подымаясь и разминая свои длинные, тонкие пальцы, как музыкант перед роялем. — Попрошу вас пройтись до окна и затем — на меня.

Как заговоренный, я дошел до окна.

— Держитесь свободней, — мягко попросил Яков Захарович.

Я приблизился к нему, как он велел.

Он положил свои легкие руки мне на плечи и едва ощутимым нажатием пальцев как бы извлек из моей фигуры одному ему слышимую мелодию будущего пиджака.

Это не было шарлатанством. Я стоял перед художником. В эти краткие минуты я был его любимой темой.

— Лидия Николаевна, — окликнул кого-то Яков Захарович, — попрошу вас записать размеры.

И, осторожно бродя пальцами по моему телу, он тихим голосом диктовал, не подряд, а с паузами, во время которых по его лицу проносились тени волнения и мыслей.

— Правое плечо — восемнадцать сантиметров, — диктовал Яков Захарович. — Левое — семнадцать. Правая лопатка на полсантиметра выше левой.

Заметив, вероятно, мою растерянность, он сказал:

— Не пугайтесь: каждый человек своеобразен. И только настоящий мастер может разгадать эту тайну.

Лучшего костюма, чем сшил мне Яков Захарович, у меня не было в жизни. Даже через двенадцать лет, блокадной зимой сорок первого года, я получил за этот костюм на Кузнечном рынке баснословную цену — три килограмма дуранды.

И все-таки Яков Захарович запал мне в душу не этим. Он первый отнесся ко мне как к своеобразной, ни на кого не похожей личности.

Все обрушилось под откос, как только я встал на ноги. Профессор Голованов с семьей возвратился из Харькова в Ленинград.

Больше года мы не виделись с Катей. За это время я получил от нее два письма, из которых можно было понять, что она чувствует, но нельзя было сообразить, что она делает. Я и сам писал ей такие же письма: они были вне времени.

Я понял из ее письма, что она рассталась со старшим оперуполномоченным ОГПУ Тышкевичем и вышла замуж за артиста Астахова. Катя упоминала об этом мельком, как о само собой разумеющемся поступке.

С Болеславом Тышкевичем она сошлась еще в то время, когда я жил в Харькове.

Он был старше нас лет на десять, этот загадочный блондин с неподвижно-породистым лицом интеллигентного аскета. Впрочем, даже глядя на него, я выдумывал его наружность. Человек, профессией которого являлась каждодневная борьба с контрреволюцией, не укладывался для меня в рамки своей определенной внешности. Его лицо, даже когда я смотрел на него, было размыто легендой.

В это лицо Катя выстрелила из нагана.

...Гуляя с ней, застигнутые ливнем, мы постучались к нему, — он жил подле Университетского сада. Увидев, что мы промокли, Тышкевич дал нам свою одежду. Мне достался плащ, а Катя надела его галифе, гимнастерку

и высокие сапоги. Оба мы, и Тышкевич и я, смотрели на нее влюбленными глазами.

Она прохаживалась по комнате, грохоча сапогами не по росту.

Подле дивана на тумбочке лежал наган, патроны были рассыпаны рядом. Катя взяла наган и, зажмурившись, прицелилась в Тышкевича.

— Страшно? — спросила она.

— Нисколько. Он не заряжен.

— А говорят, что с оружием нельзя шутить, — сказала Катя.

— Говорят, — ответил Тышкевич.

— И вам нисколько-нисколько не страшно?

Он пожал плечами, не сводя с нее околдованного взгляда.

— Ладно, — сказала Катя. — Я только скомандую, как в книжках.

И она скомандовала:

— По врагам революции — огоны!

Комната взорвалась от выстрела. Тышкевич упал. Но тут же, приподнявшись на колени и придерживая окровавленное лицо, он сказал:

— Запомните: я чистил револьвер... Положите его около меня.

«Скорая помощь» увезла Тышкевича через десять минут. Пуля пробила ему щеки навылет, не зацепив кости. В протоколе было записано, что ранение произошло в результате неосторожного обращения владельца с оружием.

Этот выстрел решил судьбу их отношений. Катя ухаживала за Тышкевичем, покуда он болел. Она вкладывала в это столько своей вины и восхищения его мужеством, что уже ничего другого не оставалось, как наградить Болеслава самым дорогим, что у нее было, — собой.

Их брак привел родителей Кати в ужас. Чекист у самовара, за чайным столом, в доме петербургского профессора — этого Анна Гавриловна вынести не могла. Она прокляла бы дочь, если бы не знала, что Кате наплевать на ее проклятие. Федор Иванович ужасался вслед за своей женой — он все, кроме своей работы, делал вслед за Анной Гавриловной, — но борьба с заразными болезнями занимала его глубже, нежели то, что творилось дома у самовара.

— Я требую, чтоб ты поговорил с ней, Федор, — те-
ребила его Анна Гавриловна.

— Непременно, — кивал он.

— Катенька, — ловил он свою дочь в коридоре мед-
института, — нам бы надо с тобой обсудить...

Поднявшись на цыпочки, она целовала его в щеку.

— Я сидела на твоей лекции, ты у меня просто пре-
лесть, папочка!

— Тебе правда понравилось?

— Ужасно! И всем нашим девочкам — тоже.

Вспомнив свою тягостную отцовскую обязанность,
Федор Иванович бормотал:

— Дело в том...

— Дело в том, что мама просила тебя поговорить со
мною. Ее не устраивает Тышкевич. А меня не устраивает,
что ее не устраивает. Я могу не бывать у вас дома. А ты
ко мне будешь приходить на тайные свидания, хорошо,
папа?

Растерявшись, он отвечал:

— Хорошо.

Дома Анна Гавриловна спрашивала у него:

— Ты поговорил с ней?

— Поговорил.

— Ну и как она реагировала?

— Обещала подумать.

Этот брак был обречен с первого дня. Он был осно-
ван на Катином восторге. Когда же восторг протерся и
залоснился на сгибах каждодневного общения, то вне-
запно оказалось, что Тышкевич вполне ординарная лич-
ность. Его многозначительная молчаливость объяснялась
тем, что ему нечего сказать.

У всех у нас был в то время один способ, при помощи
которого мы оценивали человека, — стихи. Никто из нас,
кроме Саши Белявского, не писал стихов, но страсть
к ним представлялась нам непреложной.

Когда мы громко выли Блока и Есенина, Маяковско-
го и Багрицкого, у Болеслава Тышкевича глохло лицо.
Он смотрел на нас вежливо-мертвыми глазами. И этого
Катя не могла ему простить.

Я хорошо понимаю, насколько легковесно было су-
дить о людях по этому поэтическому принципу. Но как
быть, если даже сейчас мне все еще продолжает чудить-
ся, что человек, расцветающий от строчек: «опять, как

в годы золотые, три стертых треплются шлеи, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи», — что человек этот догадывается о чем-то, о чем догадываюсь и я. Это как бы пароль для прохода назад, в мое поколение.

По велению случая в огромном городе Катя оказалась моей близкой соседкой — Головановы поселились в Озерном переулке. А я-то целый год ходил мимо этого переулкa запросто, даже не подозревая, какой смысл он приобретет для меня, когда сюда в угловой дом переедет Катя.

Все близлежащие улицы — безликая прежде Знаменская, унылая, как труба, Бассейная, — все трамвайные маршруты впадали теперь в Озерной переулк и столбенили у дома на углу.

Этот дом на углу еще долго умирал для меня, постепенно и по частям. Сперва отсохли и отвалились окна, затем омертвело парадное, и только балкон держался на расшатанных кронштейнах моих воспоминаний. Он и сейчас еще, облупившийся и навсегда пустой, висит как ни в чем не бывало.

Нового Катиного мужа, артиста Астахова, я прежде не знал. Вероятно, Катя что-то рассказывала ему обо мне — он встретил меня как старого и доброго знакомого.

Маленький, быстрый, круглый, без двух главных зубов в передней части рта, Игорь Аркадьевич Астахов мало походил на артиста. В доме Головановых он приживался так же трудно, как Тышкевич. Ко всему прочему, Астахов почти ничего не зарабатывал. Что-то у него не складывалось с артистической работой, она была у него случайной, то в одном временном театре, то в другом, — срывы не обескураживали его. Он носился с какими-то новыми театральными идеями, в которых я ничего не смыслил.

Ко мне Астахов был полон дружелюбия. Получалось даже как-то так, что я заслуживаю его особого доверия именно потому, что люблю его жену. Порой мне казалось, что Астахов умышленно связывает меня своим доверием. Опутанный им, я чувствовал себя подлецом. Когда они ссорились, я чаще всего принимал сторону Астахова. В этом не было никакой логики, кроме той, что оба мы были заморожены Катей.

По-моему, она никогда не понимала, каких мучений мне стоила эта близость к их семье. Раздираемый ревностью, я выискивал в Астахове недостатки и не находил их. Я пытался утешить себя чудовищным Катиным характером, заботливо перебирал ее пороки, бормоча их вслух для большей убедительности, — все это отлетало от одного прикосновения к ней.

Когда становилось совсем невмоготу, я исчезал. Но она не позволяла мне исчезать. Приходил Астахов.

— Куда вы девались? — спрашивал он.

— Работы много.

— Брехня, — смеялся Астахов. — Не валяйте дурака. Идемте пить чай. Катя ждет нас.

— Я не могу, у меня — тетради...

Он садился со мной на кровать, не снимая пальто. Его круглое, доброе лицо светилось участием.

— Она вас чем-нибудь обидела?

— Ничем.

— Я же свой человек, — говорил Астахов, заглядывая в мои глаза. — Мне вы можете рассказать.

— Так ведь нечего рассказывать. Просто я занят: надо проверить тридцать контрольных.

Астахов вздыхал.

— Вы мне оба ужасно надоели. Она там сидит и плачет, что вы не идете, а вы здесь сидите и бубните, что у вас тетради. И самое смешное — почему-то я должен разбираться в ваших отношениях!.. Вставайте. Пошли!

И я вставал и шел. По дороге, держа мой локоть, Астахов убеждал меня:

— Не сердитесь на нее. Она к вам замечательно относится.

Катя так радовалась моему приходу, что я обмирал от счастья. Я пил с ними чай, останавливая время, — кроме этого стола, за которым она сидела сейчас, мне ничего на свете не надо было. Даже присутствие Астахова не слишком меня угнетало. Я научился уговаривать себя словами Кати.

— Когда вы наконец поймете, что вы существуете отдельно от всех! Вам этого мало?

Она говорила это яростно, с такой силой убежденности, что я обмякал и сдавался. Но стоило мне расстаться с ней, как мутные волны ревности били меня об стены домов. Тот же чайный стол, за которым я только что

был счастлив, тот же Астахов, милым шуткам которого я только что смеялся, Катя, та же Катя, все та же Катя, принадлежавшая другому, рвали меня на куски. Я кружил по Озерному переулку, таясь в тени домов, светились на весь земной шар три угловых окошка, хлопала входная парадная дверь на тугой пружине, люди входили и выходили из этого дома, не представляя себе, в какой дом они входят, висел в небе балкон, меченный моей мукой. Он был единственный от горизонта до горизонта. Сперва гасло одно окно, потом второе — это еще можно было вынести. Третье окно, в спальне, гремело в меня светом, и когда свет мерк в нем, я подбирал себя, замертво, с земли и уползал к себе на Саперный.

Профессор Голованов умер в тридцатом году, и спустя неделю после его похорон я переехал в Озерный переулок: Анна Гавриловна попросила меня об этом — она опасалась, что у них отнимут лишнюю площадь.

Жизнь у Головановых была мне в тягость. Несчастье, соединившее нас, обрело со временем буднюю форму, я оказался лишним внутри него.

Горе Анны Гавриловны стало стойким делом ее существования, она жила для того, чтобы помнить Федора Ивановича и наращивать память о нем все новыми и новыми подробностями. Это горе не было показным, но оно строго отбирало для себя только тех людей, которые были причастны к нему и полезны ему. Они нужны были горю, как топливо огню. Все, что не относилось к утрате, оборачивалось для Анны Гавриловны неприличием.

Режим печали вдовы стал так деспотичен, что даже Катя не выдерживала его. Она болела сердцем по отцу, но хотела жить дальше, не задерживаясь в том месте, где он погиб.

Астахов и я чувствовали себя в этом доме виноватыми. У Игоря Аркадьевича было дело — он мог открыто любить Катю, на это Анна Гавриловна мало оскорблялась. Что же касается меня, то мое постоянное присутствие ограждало ее от нахальства управхоза, но одновременно я напоминал Анне Гавриловне, до какого же страшного уровня дошла ее жизнь.

У меня хватило бы терпения и сил вынести это — я

жалел Анну Гавриловну, — добивало меня мое бесправное состояние рядом с Катей.

На моих глазах, ежедневно и поминутно, Астахов грабил меня, обкрадывал до нитки.

Вечера мы проводили вместе. У меня было свое место за их столом. Все было у меня в этом доме: висело мое полотенце в ванной, мое пальто на вешалке в прихожей, мои домашние туфли стояли под моей кроватью. И ничего здесь мне не принадлежало. Единственной собственностью была моя непроходящая боль.

Лежа ночью в постели, я вслушивался в чужое безмолвие. Из-за стены доносилось похрапывание Астахова — он смел храпеть рядом с Катей. Он все смел, лежа рядом с ней. Когда храп внезапно замирал, жизнь останавливалась во мне. Я накрывал свою голову подушкой и, контуженный тишиной, принимался шепотом выводить алгебраические формулы. Сквозь пух подушек, сквозь стройность выводов меня выволакивало на поверхность мое больное воображение.

Утром, по воскресеньям, мы завтракали вместе.

Катя спрашивала:

— С кем вы разговариваете по ночам?

— Ни с кем.

— Не врете, господин учитель, — подмигивал Астахов. — Вчера мы слышали, как вы трепались на какую-то тему.

— Это со сна, — сказала Катя. — Что вам снилось?

— Наверное, урок.

— У вас был странный голос, — сказала Катя. — Я даже хотела постучать вам в стенку, но Игорь не разрешил.

— Голос как голос, — сказал Астахов. — Чего ты к нему привязалась?

Жить так дальше я не мог. Питанный бессонницей, я приходил на свои уроки в школу. Здесь, в классе, на виду у ребят, я опоминался. Ощущение своей необходимости ставило меня на ноги. Это свойство учительской работы не раз приходило мне на помощь. Класс, парты, лица учеников, обращенные ко мне, ограниченность сорока пяти минут, произвольное чувство самоуважения, вызванное немедленной необходимостью совершить важный поступок, — все это как бы брало меня за шиворот и со звоном встряхивало. Я давал урок.

За моей спиной, локоть к локтю, стояли добрые, проверенные веками наставники: Шапошников, Вальцев, Киселев и Рыбкин. Рядом с точностью истин, которые они проповедовали, моя боль становилась приблизительной. Я совестился Шапошникова и Вальцева, Киселева и Рыбкина. В сущности, я был еще полуграмотным юноцом — подвиг составителей учебников вызывал мое безмерное уважение.

Та нищая математика, которую я знал, продолжает и сейчас восхищать меня. Рушатся миры, дичают целые народы, эпохи предают себя, а параллельные линии продолжают пересекаться только в бесконечности. И сумма углов треугольника по-прежнему равна двум прямым...

И вот я оказался на Урале, в городе Свердловске, — в тридцать первом году он еще помнил себя Екатеринбургом.

Все случилось внезапно.

На доске приказов, прибитой в коридоре школы Тимирязева, кто-то повесил объявление, что обком профсоюза учителей вербует добровольцев для работы в учебных заведениях Урала.

Мне было решительно все равно, куда ехать и кого учить. Я должен был исчезнуть. Я еще не догадывался тогда, что человек лишен этой возможности, ибо, куда бы он ни исчез, главный груз его жизни малой скоростью следует за ним.

На этот раз я знал, что Катя не станет оплакивать мой отъезд. Ей было не до этого. Экзаменационная сессия, частые размолвки с матерью, неустроенность Астахова уводили ее в сторону от меня.

Узнав, что я завербовался, она сказала:

— Ну что ж, может, вы и правы.

Злоба свела мне рот. Я ответил:

— Подробности письмом.

— Господи, до чего вы мерзкий тип! Ну почему вы злитесь?

— Не обращайтесь внимания. Чисто нервное.

— Я вас ненавижу, — сказала Катя.

— Не имеет решающего значения, — ответил я.

Поезд уходил в шесть вечера. С утра, пока дом спал, я попытался уложиться.

Большая корзина стояла на двух стульях, а вокруг, на полу, на кровати, на подоконниках, были разбросаны мои вещи. Я попробовал укладывать их подряд, как попало, но, когда корзина была заполнена до краев, в комнате оставалась половина барахла. Хотелось все бросить и ехать вот так, в чем стоишь. Эта квартира доконала меня.

— Кавалер де Грие, — сказал я себе. — Дерьмо собачье.

Корзина не закрывалась. Я сел на ее скрипящую крышку и с трудом накинул петли.

Свердловское горono определило меня в Урало-Сибирский коммунистический университет, в комвуз. Отныне я стал именоваться ассистентом кафедры математики. Уроки мои отныне именовались лекциями.

Эти солидные названия — университет, кафедра, лекция — тешили мое зазеленевшее тщеславие; кажется, я всерьез считал себя научным работником.

Меня захлестнул педагогический восторг. Этому восторгу способствовало то, что в комвузе я мог до дна, без остатка, тратить все, что знал. В работу, как в прорву, шли любые сведения, почерпнутые мной в жизни. Их было не так уж много, и я возвращался после занятий с площади Народной Мести к себе домой опустошенный и обессиленный.

Уровень знаний студентов комвуза был так невысок, что даже мое самодельное образование было покрыто для них снеговой шапкой труднодосягаемой вершины. Секретари райкомов партии, сельских и заводских партийных ячеек, председатели сельсоветов и райисполкомов — эти немолодые люди сидели передо мной в бывшем особняке миллионера Демидова и старались не проронить ни одного слова из того скудного запаса знаний, которым я расточительно с ними делился.

В деревнях и селах прошло детство моих комвузовцев. Они обучались грамоте у сельских дьячков, в церковноприходских школах, в трехклассных городских училищах. Это было так давно, что один из моих студентов в анкете, в графе «образование», раздраженно написал: учился при царе Горохе. Бездонную пропасть между их огромным жизненным опытом и их незнанием заполнить

было трудно. Комвуз перебрасывал через эту пропасть мостки. Балансируя, по ним можно было ходить.

Мне было проще, нежели другим преподавателям. Мне не приходилось присаживаться перед моими студентами на корточки, я стоял перед ними в рост. Их благоговейное отношение к арифметике не казалось мне наивным. Постигнутое деление десятичных дробей приводило их в восхищение, которое я разделял вместе с ними. Для меня было счастьем, что я могу их чему-то научить.

Способ, при помощи которого я это делал, был изобретен мной в одиночку. Комвузовцы не воспринимали абстрактных категорий. А я хотел быть понятым во что бы то ни стало. Проявляя немыслимую изворотливость, я пытался находить любому математическому понятию употребление в повседневной действительности.

— А где это применяется в жизни, на практике? — каждодневно спрашивали меня студенты.

Вопрос этот не возмущал меня. В ту пору я считал его совершенно естественным. Мне представлялось непреложным, что даже политические события могут быть рассмотрены в аспекте математики. Я сочинял задачи на производственные темы, на оборонные, на колхозные.

Я был убежден, что математика — наука классовая. Спрос на эту точку зрения был велик, я искренно разделял ее и проповедовал. Глаза моих студентов загорались пламенем, когда я рассказывал им, что есть математика кулаков, капиталистов и математика рабочих в союзе с беднейшим крестьянством.

В «Анти-Дюринге» и «Диалектике природы» я искал три-четыре примера, сгодившихся для обоснования моей позиции. Фридрих Энгельс здесь ни при чем.

Сейчас, оборачиваясь назад, на то время, я с особенной тщательностью пытаюсь соблюсти непотревоженным мое тогдашнее мироощущение.

Втуз-городок строился километрах в пяти от Свердловска.

Здесь, в чистом поле, в степи, наскоро ставили громадные неуклюжие корпуса. Улиц между ними еще не было, казалось, что раскинулся тут под просторным не-

бом каменный цыганский табор. Шестиэтажные дома пестрели разноцветными заплатами: низ был выложен из красного кирпича, а дальше шло в дело все, что попало под руку, — серый, белый и желтый камень.

Не было дверных и оконных петель и ручек, рамы намертво забивались гвоздем-соткой, двери висели на кожаных обрезках, не достигая пола; половые доски, настиленные из свежесрубленной сосны, высыхая, стонали и задирались дыбом. Уральские непокорные ветры со свистом врывались под подоконники и осыпали штукатурку на пол. Ветер сновал по длинному полутемному коридору — он освещался только двумя окнами в торцах.

В недостроенные корпуса втуз-городка, в пыль, в грохот, в строительное безумие въезжали студенты. Над их головами возводились этажи, под их ногами настился пол, ржавая вода в трубах водопровода подымалась только до третьего этажа. Во всю длину узких умывальных комнат протянулись железные корыта, над ними висели рукомойники с подсосками. От вони аммиака слезились глаза и першило в глотке.

Я был счастлив. В пятом этаже комвузовского корпуса мне дали комнату. Окно во всю стену, застекленное мелкими шибками, искажающими божий свет, выходило на дальнее озеро Шарташ. Туман с Шарташа сочился в щели, оседая за ночь на моем приютском байковом одеяле.

Я был очень счастлив. У меня было любимое дело, не дававшее мне опомниться. Вокруг меня жили люди, которым я был остро необходим, и в благодарность за это я любил их. Это были люди, владевшие чем-то, в чем я невнятно разбирался. Их усилия, воля и ум представлялись мне государственными. Я видел в них аскетов, жертвующих своим благополучием ради блага народа.

Поливаемые злыми уральскими дождями, засыпаемые снегом, по щиколотку в глине, по колено в сугробах, замеченные колючей пылью, они ранним утром шли из нашего корпуса по пять километров в один конец до площади Народной Мести, в комвуз. Темень стояла над землей, когда тем же путем они возвращались во втуз-городок. Пустяковая стипендия кормила их впроголодь.

Городские магазины были пусты. Порожные консервные банки стеной высились за спинами одичавших в одиночестве продавцов. Из этих же банок вздымались кре-

постные башни в витринах. И висели аншлаги: «Бутафория».

Про сою и маргарин писали в газетах, что они полезней мяса и масла. Ни сои, ни маргарина в продаже не было. Ученые доказывают на крысах, что обильная еда — вредна; полезно воздержание в пище. В тот год Свердловск жил полезно.

Никому из нас в комвузовском корпусе не приходило в голову, что можно жить иначе. Мы хлебали свои пустые щи в студенческой столовой, пили теплый мутный чай б/с — без сахара — и, упираясь головой в облака, дышали разреженным воздухом будущего.

Такого чувства своей правоты, какое было у меня тогда, я больше уже не припомню. Немедленная полезность преподавательской работы удваивала мое рвение. Комвузовцы начинали с нуля, и поэтому уровень их осведомленности зримо вспухал на глазах.

Уже гораздо позднее для меня прояснилась одна общая черта их мышления. Когда люди в тридцать — сорок лет узнают то, что положено знать детям и что дети запоминают походя, не затрачивая на это решающих сил своего сознания, это у немолодых, отягощенных жизненным опытом людей происходит драматично: запоздалое познание элементарных сведений плотно застревает в их мозгу, делая их неповоротливыми и невосприимчивыми к последующему познанию на более высоком уровне. Они трудно отказываются от того, что было достигнуто с таким адовым усилием. И они слишком почтительно относятся к тем упрощенным сведениям, которые были усвоены ими в неудобном для этого пожилом возрасте...

Комната во втуз-городке была дана нам на двоих: со мной поселился преподаватель математики Арсений Георгиевич Посмыш.

Посмыш был глуп. И у него была отвратительная манера писать в воздухе пальцем, как на доске: разговаривая, он водил средним пальцем правой руки подле лица своего собеседника. Этим путем Посмыш внушал свои сиротские мысли в письменной и в устной форме. Косясь на кончик его пальца, я укачивался.

При всем том его тонкое, красивое, значительное лицо было подпоясано ироническими губами. Откуда, из какого несправедливого сочетания генов приبلудилось к Посмышу и это тонкое лицо, и эти иронические, умные

губы скептика! Быть может, он обездолил своей случайной наружностью какого-нибудь мудреца, всю жизнь мучающегося с чужой для него восторженно-глупой физиономией Посмыша.

Я знаю, что был нехорош с ним. Сейчас мне совестно, что я так раздраженно думал о нем тогда. Посмыш преподавал математику лучше, чем я. Он любил ее и знал в совершенстве. Но меня замучила совместная жизнь с ним, его острая жажда общения.

В толстой клеенчатой тетради он вел дневник. В своем дневнике он не опускался до мелких житейских записей. Здесь были мысли. Выдержки из книг великих мыслителей, обнаженные, как провода высокого напряжения, — они производили в мозгу Посмыша короткое замыкание и перегорали, не освещая его сознания. Они били его своим током и уходили в землю.

Широкие поля клеенчатой тетради были усеяны замечаниями Посмыша:

«Нота бене!»

«Совершенно согласен».

«Спорно».

«Применить на практике».

«Обдумать на досуге».

Я прожил с ним три месяца в одной комнате. Его благоразумие, педантичность и даже доброжелательство раздражали меня.

По утрам он спрашивал:

— Надеюсь, сон освежил тебя?

А перед сном он писал своим длинным средним пальцем по воздуху:

— Разреши пожелать тебе приятных сновидений.

Он спал оскорбительно для меня крепко и просыпался улыбаясь.

Вероятно, я завидовал его душевному покою. Иногда мне хотелось разозлить его, но это никак не удавалось. В ответ на мою грубость он говорил:

— Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав.

Мне кажется, он жалел меня. Мне кажется, он искренне жалел всех, кто был не похож на него. Это была жалость непонимания. Он любил говорить мне:

— Я бы на твоём месте...

— Не будешь ты на моём месте! — огрызался я.

Посмыш был старше меня на десять лет. И я точно

знал, что он не будет на моем месте. Да и не такое уж это было завидное место.

Когда Валя Снегирева приехала ко мне из Харькова, Арсений Георгиевич надел свой выходной костюм. Он волновался больше, нежели я. За месяц до Валиного приезда я сообщил ему, что женился.

— Поздравляю тебя от всей души, — сказал Посмыш. — И надеюсь, что цепи Гименея не помешают нашей закадычной дружбе.

Без всякой моей просьбы он тотчас пошел к коменданту дома и попросил у него место для себя в другой комнате.

— Если тебе нужны деньги на обзаведенье, — предложил Посмыш, — то мой кошелек к твоим услугам.

Взволнованный, он пришел к нам в первый же вечер; не переступая порога комнаты, протянул Вале букет цветов.

— Желаю вам и вашему супругу, — сказал Посмыш, — полного счастья в личной жизни и творческих успехов в труде.

В те времена еще не была придумана эта форма поздравления. Но Посмыш обладал поразительной способностью угадывать даже грядущие пошлости.

Он был добр ко мне. И в особенности — к Вале. Не замечая запухших Валиных глаз, Посмыш восхищался всем, что она делала: крепко заваренным чаем, занавесками на окнах, шкафом, который она купила. Он ходил с Валей в кино и, приводя ее домой, игриво говорил мне:

— Надеюсь, ты не ревнуешь?

Он читал ей вслух записи из своей клеенчатой тетради. Продолжая восхищаться нашим семейным очагом, он не видел ни моего, ни Валиного растущего одиночества.

Саша Белявский рассказал вам правду, Зинаида Борисовна: я поступил с Валей непорядочно. Это я сейчас так думаю — тогда я так не думал.

Нынче я так же, как, вероятно, и вы, говорю молодым людям, что на смену первоначальной страсти приходит нечто большее — дружба, взаимная ответственность. Но дай мне бог, Зинаида Борисовна, испытать хоть один раз наново ту ярость вражды, ту полную безответ-

ственность, которыми раскалена молодая любовь. Дай мне бог снова метаться в этом пламени...

В Свердловске Валя окончила музыкальный техникум — сюда она перевелась на последний курс из Харькова. По окончании она получила направление в детдом. Работа музыкального воспитателя не заинтересовала ее. При тех отношениях, которые у нас сложились, вряд ли какая-нибудь работа могла бы ее увлечь.

Мы не ссорились. Мне кажется, я был внимателен к ней. За несколько дней до ее приезда я с трудом отыскал женщину, которая обещала мне три раза в неделю приносить нам молоко. По тем временам это стоило больших денег. Молоко доставлялось аккуратно. Даваясь от слез, Валя пила это чертово молоко. Чем виноватей я чувствовал себя перед Валею, тем усердней я заботился о ней. Есть и такая форма подлости.

Вечером, когда мы ложились в постель, у Вали всегда были холодные ноги. В светлые ночи я видел, что она спит, приоткрыв рот. Если бы я любил ее, мне казалось бы все это трогательным. Из каких постыдных мелочей состоит отчуждение, испытываемое к женщине, с которой спишь!

Мы не ссорились. Ссора возможна тогда, когда ее причина произносима. У нас не было возможности произнести ее.

Я жил, хмелея и валяясь с ног от запойной работы — по десять-двенадцать лекционных часов в день. Преподавание в параллельных группах оболванивало меня: четырежды на дню я талдычил одно и то же. К вечеру лица моих студентов неразличимо размывались передо мной от усталости, и мне чудилось, что я с утра объясняю одно и то же одному и тому же человеку. На обратном пути к дому во втуз-городок я продолжал механически производить в уме привычные действия: складывал и умножал номера домов и трамваев. И был счастлив, если получалось круглое число.

Осенью аудитории комвуза внезапно опустели: студентов, словно по тревоге, вымело на хлебозаготовки. Возвращаясь, они еще долгое время приходили в себя.

В свободное от лекций время я составлял задачник для комвуза. Эта работа была поручена мне секцией научных работников нашего университета. Поручением я гордился. Я был уверен в успехе и ждал оаций своей

кафедры. В бурных волнах тщеславия я заплывал так далеко, что мне уже мерещилась ученая степень.

На заседании нашей кафедры, утверждавшем мой задачник, случайно присутствовал ректор. Я никогда не встречал его ранее. Из слухов, бродивших по комвузу, мне было известно, что ректор — старый большевик — прислан к нам в Свердловск из Москвы.

За длинным столом расположились преподаватели. Среди них, наискосок от меня, затерялась щупленькая фигура ректора. Помню, что меня поразила его большая лохматая голова. Он сидел, склонив ее к столу.

Я бойко рассказывал кафедре принцип, на котором будет построен мой задачник. Весь материал его пронизан современностью. Рост политического сознания студентов приобретет крепкую математическую базу. Для примера я привел две-три задачи на самые актуальные темы.

Ректор тихим голосом произнес:

— Все это удивительно вульгарно и пошловато

В наступившем замешательстве кафедры я заносчиво спросил:

— Значит, вы считаете, что математика должна быть оторвана от действительности?

— Это дурацкий вопрос, — сказал ректор.

Что-то хрустнуло во мне от оскорбления и обиды. Я опустил на стул, обведя растерянными глазами своих товарищей по работе. Они молчали, не глядя на меня. И только Посмыш прислал мне через стол торопливую записку:

«Морально я с тобой!»

В тот же вечер я написал заявление на имя заведующей кафедрой с просьбой освободить меня от работы. Прочитав его, она вздохнула:

— Ректор допустил бестактность.

— Грубость, — сказал я. — Хамство.

— Не следует так болезненно реагировать, — сказала завкафедрой. — У ректора крупные неприятности, он нервничает... Я оставлю ваше заявление у себя, но вы подумайте.

Шли годы, в течение которых мне так и не удавалось подумать. Я долго носил в душе оскорбление, нанесенное ректором. Жалость к этому старику и пронижительный стыд за себя охватили меня гораздо позднее.

Письма Кати приходили в Свердловск на мой домашний адрес. Они были редки. Я написал ей, что женился, но Катя сообщила мне, что считает мой брак недействительным.

Она никогда не писала мне в спокойном состоянии. Дрожь ее писем передавалась и мне, как только я брал полученный конверт в руки. У меня не хватало терпения разорвать его аккуратно. И я никогда не мог охватить содержание ее письма с первого же захода. Давясь ее словами, как голодный человек хлебом, я глотал их громадными ломтями, сперва различая только их приближительный звук: они произносились во мне голосом Кати.

...В блокадную ленинградскую зиму сорок второго года ко мне приходили ее письма из Ташкента. Они шли долго — месяцами. Грузовики с почтой проваливались под ладожский лед. Чернила были размывы водой. Отдельные слова доносились до меня, как крик. Иногда на обратной стороне конверта чудом уцелевала фраза: «Товарищи почтовые работники! Товарищи военные цензоры! Пожалуйста, сделайте так, чтобы это письмо дошло до моего мужа — я не могу без него жить».

Это я виноват. Я отправил ее из Ленинграда в первый вечер войны. Моя обида на то, что она согласилась уехать, и ее досада на то, что я не уезжаю вместе с ней, скрестились в тот вечер на вокзале. Мы еще не понимали размеров беды, наползающей на нас. Никто еще этого не понимал. Каждая отдельная боль была как наркот, она еще не позволяла осмыслить ее всеобщность.

Многолюдный вокзал затих, как на похоронах. Уходила последняя «Красная стрела». В этот первый день войны все сразу стало последним.

Последняя Катя стояла на ступеньках вагона...

Сколько лет прошло, покуда я вылюбил ее из себя до дна.

Не будет больше Батилимана... Сюда, в Крым, я привез Катю, уехав из Свердловского комвуза на каникулы. Астахов отпустил ее со мной — он доверял нам.

Я сказал директору батилиманского санатория, что мы муж и жена и что нам нужна отдельная комната.

— Это свиство, — рассердилась Катя. — Я сейчас же пойду к нему и скажу, что вы наврали.

Директор куда-то девался, его не было до вечера, а потом стемнело, и маленький домик, в котором нам дали отдельную комнату, утонул в облаке, стекшем с горы.

Я просидел всю ночь, не раздеваясь, в плетеном кресле, нераспакованный чемодан стоял в углу. В комнате были две койки, на одной из них спала Катя; иногда она просыпалась и бормотала:

— Поделом вам... Не нужно было врать.

Так продолжалось семь суток. Утром мы спускались к морю, в пустынную бухту. Все это уже было когда-то. Я уже спускался по этой морщинистой скале, цепляясь когтями за этот сухой кустарник. Мне уже тогда не было дела до всего мира — море и скалы были слишком необъятны, чтобы я мог постигать пустяки размером в одно тысячелетие.

Обожженные солнцем, мы лежали на плоских горячих камнях, морская соль брызгами оседала на нашей коже. Мы сотворили эту землю и еще не успели населить ее человечеством.

На восьмую ночь Катя позвала меня к себе. Время взорвалось и перестало существовать. Исчезло пространство. Не было ничего до этого и не будет ничего после этого. Было сейчас только это. Оглушенный, задохшийся, я погибал здесь и заново рождался.

Сперва в комнате стояла теплая мгла, пропитанная нагретой полынью, она была разбросана по полу отблех. Потом в распахнутое окно нацедился рассвет, его задувало в комнату легким предутренним ветром. Мгла, как дым, поднялась к потолку, поклубилась в углах и исчезла внезапно. Это время суток, мимо которого я жил до сих пор, обладало незнакомым мне запахом и цветом; казалось, что у этого времени есть даже звук, тоненький, чуть различимый.

— Теперь я пропала, — сказала Катя.

— Дай бы бог, — сказал я. — Пропади, пожалуйста, пропадом.

— Я всегда знала, что этим кончится. А ты?

— Ни черта я не знал. Разве я смел знать? Если бы я точно знал, мне бы не выдержать столько лет.

— Подумаешь, три года, — сказала Катя. — Если человек любит по-настоящему, он может ждать всю жизнь.

— А потом? — спросил я.

В комнате стало совсем светло. От бессонной ночи мы были удивительно легкие. Большой комар с длинными голыми ногами, похожий на балерину, сел на Катину руку.

— Не убивай его, — попросила Катя. — Знаешь, что странно? Все, что казалось важным, сейчас кажется не имеющим значения. А пустяки, на которые я раньше не обращала никакого внимания, внезапно стали громадными. У тебя тоже так?

— Конечно, — сказал я. — У меня открылось второе зрение и второй слух.

— Смешно, что когда-то ты учил меня физике. Я до сих пор помню закон Гей-Люссака.

— Хороший парень этот Гей-Люссак, — сказал я.

— А разве это не два парня? — спросила Катя. — Я думала, что был Гей и был Люссак.

— Ты спутала с Бойлем и Мариоттом.

— Они были женаты? — спросила Катя.

— Бойль любил жену Мариотта. Он просто с ума сходил по ней. В сущности, свой знаменитый закон создал один Мариотт. А Бойля он присобачил из жалости.

— Это ты сейчас придумал, — сказала Катя. — Сочини что-нибудь еще, а я полежу с закрытыми глазами.

Она прикрыла глаза, и я сочинил:

— Давай останемся здесь навсегда.

— В Батилимане? — сонным голосом спросила Катя.

— Я устроюсь тут затейником, а зимой, когда все разъедутся, меня переведут в истопники.

— Здесь нет печей, — сказала Катя.

— Я построю печи. Ты даже не представляешь себе, чего я могу достигнуть.

— А дрова?

— Я выращу лес.

— Сосновый?

— Какой захочешь.

Через двадцать дней, когда окончился срок наших путевок, она уехала в Киев к мужу: Астахов бедствовал где-то там на гастролях.

Я проводил ее до Харькова. Мне надо было ехать дальше, в Свердловск, но у меня не осталось денег на билет. Просить их у отца я не хотел. В институте переливания крови мне сказали, что за пятьсот граммов донору

платят триста рублей. В те времена еще не умели как следует консервировать кровь и переливали ее непосредственно от человека к человеку.

На мое счастье, какой-то псих на Сабуровой даче разбил в этот день кулаком стекло и порезал себе вену. Нас положили в операционной на соседние столы. Мои пол-литра крови, полной батилиманского безумства, перелили этому психу. Мне заплатили триста рублей и дали донорский паек: полкило сахарного песку и килограмм крупы.

Жив ли ты, милый псих? Ты меня здорово выручил. И прости, пожалуйста, за ту бурду, которую перекачали тебе из моих вен.

Я купил билет до Свердловска, но по дороге, в Москве, сошел с поезда и, очутившись на Сухаревке, открыл свой чемодан и встал в ряд с продавцами толкучего рынка. Расторговав все, что было в моем чемодане, я взял билет в Киев.

— Зачем вы приехали? — спросила меня Катя. — Игорь все знает, я рассказала ему, он простил меня.

Мы стояли на Владимирской горке, на узком мостике, над обрывом. Далеко внизу, у самой днепровской воды, бродил спиной к нам Астахов. Я различал его коротенькое, ненавистное мне сейчас туловище.

— Представляю себе, — сказал я, — как вы валялись у него в ногах, вымаливая прощение.

— Но я люблю его, — сказала Катя.

— Какого же черта вы спали со мной в Батилимане?

— Не мучайте меня, — попросила Катя. — Бывает же такое несчастье, что любят двоих.

— Бывает! — заорал я. — У шлюх, будьте вы прокляты, все бывает!

Она не побежала за мной, когда я мчался вниз с этого мостика, не окликнула меня, не заплакала в голос.

Оглянувшись, я увидел, как она медленно спускалась к Днепру. Навстречу ей шел Астахов; неуверенное, жалкое счастье перекосило его лицо.

Говорят, личность человека формируется в младенчестве; внешняя среда способна только развивать или гасить закодированные в генах черты его характера.

Не берусь судить. Вероятно, бывает по-разному. Со мной было вот как.

Софья Львовна, учительница русского языка в той школе, где я учился до пятого класса, вызвала мою мать.

— Скажите, пожалуйста, — спросила Софья Львовна, — ваш мальчик живет дома в нормальных условиях?

— По-моему, в нормальных, — ответила моя мать.

— Вы не замечали за ним никаких странностей?

— Ничего такого особенного, — сказала мама. — Он не очень любит мыть ноги перед сном, но я его заставляю.

— Вы его бьете?

— В буквальном смысле — нет. Случается, конечно, ушибнуть ребенка... Он что-нибудь натворил в классе?

— Видите ли, — сказала Софья Львовна, — ваш сын пишет очень грустные сочинения. В прошлый раз всему классу была задана тема: «Как я провел лето»...

— Это лето мы провели в Покотиловке, — сказала мама. — С продуктами было неважно.

— Он не жалуется на питание, — сказала Софья Львовна. — Он вообще ни на что не жалуется. Он веселый мальчик. Но его сочинения носят какой-то грустный характер, необычный для этого возраста.

Мама хотела выручить меня. Она сказала:

— Может быть, у него глисты? Я постараюсь проследить.

Глистов у меня не было. Почему я заполнял ученические тетрадки печальными выдумками — неизвестно.

Воспоминания неуправляемы. Притаившись до времени, они живут в человеке навалом, вразброс, и внезапно обрушиваются на него вне всякой последовательности и вне всякой связи с тем, что окружает его сегодня.

...Рослый узбек шел впереди меня. Он шел легко, широким шагом, несмотря на тяжелый багаж: мягкий тюк с Катиными вещами узбек нес на своей крепкой бритой голове, а длинный тяжелый чемодан он перекладывал в пути из руки в руку.

Узбек оглядывался на меня, улыбаясь во все свое большое лицо. Адрес я ему сказал еще на перроне — улица Энгельса, 15, — и теперь он уверенно вел меня по теплым ташкентским улицам.

В этот ночной час город уже остудился от жары. Сквозь кислый смрад эвакуационных пунктов, теплушек и вокзалов, стойко забивший мои ноздри, пробивался сейчас легкий, летучий запах отдыхающей зелени.

Мне казалось, что я не иду, а плыву в этом внезапном покое.

Никаких усилий не требовалось от моего усталого тела, оно не испытывало враждебного сопротивления среды. Я шел, одуроченный тишиной, темным простодушным небом, в котором позванивали незнакомые мне веселые звезды.

Отпустив узбека у дома номер пятнадцать, я присел на крыльцо и перемотал тряпье, которым были обмотаны мои распухшие ноги. Они были обуты в просторные гаши, подвязанные бечевкой.

Дом спал. По его одноэтажному фасаду чернели пять окон. Я пытался угадать, которое Катина. Странно — топорливость не колотила меня. Я мог бы и дольше сидеть на этом крыльце, окруженный сладким неправдоподобием. Блокадный голод вышиб из меня нетерпение.

На мой стук дверь открыла Люся. Эту толстуху зовут Люсей, — Катя писала мне о ней.

Она сказала:

— Ой, вы приехали! А Катя ушла ужинать...

Что-то замечалось на ее толстом сонном лице. Мы внесли мой багаж в дом.

Люся не зажгла свет в той комнате, куда мы вошли, но по запаху я понял, что это Катина комната. Все, что происходило в эту ночь, добиралось до меня медленно, застревая и разжижаясь по пути. Быть может, мое истощенное тело оборонялось именно так: оно подбирало для себя посильные эмоции.

Уличный фонарь слабо освещал комнату, я осторожно рассматривал ее. Попадались на глаза отдельные Катины вещи — какое-то платье на гвоздике, истоптанные домашние туфли, теплый клетчатый платок. Но это была ничья комната, как бывает ничья земля.

Возле аккуратно застланной постели, на тумбочке, стояла в рамке чья-то фотография. Люся, толстуха, заслоняла ее своим испуганным задом.

Я сидел на коротком диване, не снимая пальто.

— Может, вы хотите умыться с дороги, я вам солью, — сказала Люся.

Я снял пальто и попросил вынести его во двор — в нем могли быть поездные вши.

На фотографии был изображен по пояс мужчина в чистой белой рубашке, с галстуком. Он держал в зубах не самокрутку, а папиросу.

Умывался я в сенях над тазом. Люся сливала мне из кувшина. Она смотрела на черную воду, стекавшую с моих рук и лица. Мне хотелось помыться до пояса, но я знал, что нижняя фуфайка присохла к лопнувшим на мсей спине чирьям дистрофика, — в этих местах ее надо было отмачивать теплой водой.

А Кати все не было. Я не испытывал беспокойства по этому поводу — волновалась Люся. И от волнения, мне непонятного, она говорила не останавливаясь. Я не очень вслушивался в смысл того, что она произносила. Когда мы вернулись из сеней в комнату, фотографии на тумбочке уже не было: вероятно, Люся успела убрать ее.

Это тоже было мне безразлично. Я ничего не додумывал до конца. От додумывания до конца можно умереть. Нельзя думать назад и нельзя думать вперед — вот к чему я приучил себя в блокадном Ленинграде.

А Катя все не шла. В соседней комнате время от времени били часы.

— Ой, — сказала Люся, — уже двенадцать. Я пойду к ней навстречу.

Мы пошли вдвоем, я увязался за Люсей. Кажется, ей не хотелось идти со мной, но мне было наплевать.

Катю мы встретили по дороге, она шла домой. Толстуха первая заметила ее. Заметив, она побежала ей навстречу и быстро залопотала что-то, чего я не мог разобрать, да и не пытался. У меня все еще было ощущение, что я остался в Ленинграде, а здесь идет по ташкентской улице кто-то другой, до которого мне не так уж много дела. Я был спокоен за него — метроном не тикал, снаряды не рвались, часа два назад он умял в вагоне буханку хлеба.

Приостановившись, Катя дослушала толстуху. А я шел. Я приближался к ним в рост, не пригибаясь.

— Здравствуйте, — сказал я, дойдя до них.

— Кто вы такой? — спросила Катя.

— Ты с ума сошла, — сказала толстуха. — Это же Боря.

Мы пошли рядом.

«Вот и все, — вяло думал я. — Оказывается, не так уж сложно».

Огромность того, что сейчас произошло, была не по мне. Это свалилось рядом со мной, я видел, что оно рухнуло, но именно потому, что оно обвалилось бессмысленно и сразу, я не ощутил сотрясения. В общем-то, меня стукнуло крепко — я не помню, как мы дошли до дому.

Люся исчезла. Катя включила электрическую спираль, вставила ее в кувшин с водой, но, когда вода вскипела, мы не стали пить чай.

Я спросил у нее:

— Это тот человек, что стоял у вас на тумбочке?

— Да, — сказала Катя.

— Давно?

— Полгода.

— Почему же вы не написали мне?

— Я сопротивлялась этому, — сказала Катя. — Я думала, что это пройдет.

— Здорово же вас забрало, если вы даже не узнали меня.

— Не потому, — сказала Катя. — Он уехал неделю назад совсем. В Варшаву. Он поляк... Боже ты мой, если б вы знали, как мне было плохо. Я совсем не умею жить одна...

— Все не умеют, — сказал я.

— Я была совсем одна. Я была такая одна...

— И он вас пожалел?

— Он меня ужасно жалел.

Я спросил:

— И часто он тебя жалел?

Это верно, Зинаида Борисовна, — время от времени я занимался литературным баловством. Иногда это даже носило характер хулиганства. С Сашей Белявским мы отправили в «Харьковский пролетарий» маленький рассказик Чехова, заменив в нем только дореволюционные должности героев современными. Даже фамилии их оставались нетронутыми. В «почтовом ящике» газеты нам ответил заведующий литературным отделом. Разобрав недостатки рукописи и отклонив ее, он просил нас учиться у классиков — Чехова и Тургенева.

Саша писал стихи — вы это знаете. В ту пору почти все мои друзья сочиняли стихи. Время, что ли, было такое? Меня эта страсть не коснулась. Когда во мне возникало желание выговориться стихами, я кричал чужие строчки, — этого вполне хватало. Громко читая их, я как бы сам переселялся в эти строчки и гордился тем, что живу в них, что мне удалось так превосходно высказаться.

Я не ждал и не требовал от стихов, чтобы они объяснили мне окружающую действительность. Я даже влюблялся в стихи, не до конца мне понятные. Поэтическое бормотанье волновало меня, как знахарство, как магия. Не помню я деления поэзии на лирическую и гражданскую. На смелую и трусливую. Мне и моим друзьям не нужно было разъяснять в рифму преимущества нового социального строя. И оборонять его от нас тоже не надо было. Вероятно, мы испытывали потребность, чтобы стихи — если уж они что-нибудь должны объяснять — объяснили нам нас же самих.

Мы были хорошими читателями. Нам и в голову не приходило, что мы можем подсказать поэту, о чем и как он должен писать. Хороший поэт для меня и сейчас колдун. На каких травах настояны его стихи — тайна для меня; если бы я в нее проник, колдовство бы исчезло.

До моего уха доносились глухие раскаты боя между литературными направлениями, невнятица их названий катилась мимо: я любил поэтов и враждовавших между собой. Гораздо позднее я узнал их тогдашние теоретические декларации, и, как правило, эти декларации только снижали мое преклонение перед кумирами. Мне кажется, читатель нередко испытывает разочарование при близком знакомстве с любимым поэтом. Гениальные стихи всегда лучше, чище и оглушительней самого гения, ибо в стихах выражены самые высокие его свойства.

Имею ли я право рассуждать об этом, Зинаида Борисовна? Получилось так, что ваши письма о Саше Белявском пустили в ход какой-то механизм внутри меня, и теперь он тикает вне зависимости от моей воли. Я потерял контроль над ним. Прошрое беспорядочно мечется во мне. Казалось бы, при этом я должен с лунатической легкостью излагать события своей жизни. Почему же мне так трудно пишется?

Литература не стала моей профессией. Я — любитель. Мое сочинительство возникло случайно.

Живя в военном лагере и обучая курсантов военного училища математике, я люто скучал вечерами. Отлучаться в город не разрешалось. Возможно, от скуки я сочинил тоненькую рукопись. Она была напечатана, но это нисколько не изменило моих жизненных намерений. Профессия учителя по-прежнему увлекала меня, хотя я продолжал чувствовать себя в ней все менее уверенно. Тщеславие литератора не пустило во мне серьезных корней, — я исписался тотчас, в первой же рукописи. И моя жизнь как бы утратила свою целенаправленность: не став литератором, я постепенно переставал быть учителем.

Как всегда бывает, я понимаю это сейчас гораздо полнее и глубже, нежели понимал тогда. Беспокойство, одолевшее меня тогда, привело лишь к одному — еще сильнее я затосковал по Кате.

Хронология мешает мне: она путается в ногах, пытаясь создать порядок там, где он обременителен. В жизни человека есть события, точно привязанные ко времени. Но случается и так: был год, были месяц и число, было некоторое царство-государство.

Катя ушла от Игоря Астахова и приехала ко мне. Она потом много раз уходила от него и приезжала ко мне, но в тот день это случилось в первый раз.

Поезд пришел ночью. Я увидел ее в окошке вагона, ползущего вдоль перрона. Она поскребла по стеклу, улыбнулась мне, и я пошел рядом.

Вещей у нее было немного — два чемодана. Я всегда смотрел ей в руки еще в ту секунду, как она появлялась в тамбуре: по количеству чемоданов я догадывался, надолго ли Катя ушла от Астахова.

В тот первый раз мы поехали с вокзала в гостиницу. Нам негде было жить.

Я вконец запутался. Вернее, я так никогда и не распутывался. В том, как складывалась жизнь Кати, Астахова и моя, никто из нас не был волен. Отказаться от того, что выпадало на мою долю, я был не в силах. Мне было мало этого, но без этого я ничего для себя не значил. Без этого меня не было совсем.

С вокзала мы поехали по Невскому. Квартиры для Кати у меня не было, но я создал для нее сейчас этот пустой, рассветающий город — я очень на него рассчитывал. Четыре коня, которых я поставил на Аничковом мосту, повернули к нам свои длинные добрые морды. Знакомые голые парни сдерживали их. Кони рвались из рук парней к Кате.

Оттого что Невский был пуст, я населял его своим беспорядочным воображением. Два полководца — Кутузов и Барклай — ждали нас у Казанского собора, спустив свои бронзовые плащи. У «Астории» гарцевал Николай Первый.

По Катиному московскому паспорту мы сняли самый дешевый номер. Его окна выходили во двор гостиницы и упирались в стену.

И опять провалилось время и не было никаких мыслей, кроме одной, безумной — удержать это бессмысленное существование. От неполноты счастья, поминутно ощутимой, я терял голову. Не веря в то, что это продлится, я бросал все ради того, чтобы оно длилось. Изменялись пропорции окружающего меня мира. Отсекалось ненужное сейчас, сегодня, сию минуту. Я слышал и видел только напролом — к Кате.

...Был год, были месяц и число, было некоторое царство-государство. Мне не вспомнить, когда же это было...

В письменном столе, в правой тумбе, еще долго лежали конверты, надписанные ее рукой. Они продолжали приходить ко мне уже в то время, когда мы разошлись. Последнее ее письмо я получил в конце войны. Соседка по лестнице, чудом пережившая блокаду, вручила мне конверт в сорок пятом году. Я не стал читать это письмо. Оно было мертвое. Оно было чужое, написанное как бы не мне и не Катей. Переписывались два незнакомых мне человека, я не имел права вникать в их отношения.

Раза три в год, приводя в порядок стол, я натывался на эти нераспечатанные конверты. Они торчали во мне, как невытащенные осколки, заросшие диким мясом. Боли уже не было, но в этом месте утратилась гибкость суставов, я вроде бы не сгибался в этом месте.

Война и блокада явились рубежом — все, что происходило потом, уже без Кати, всплывает в памяти стройно, по первому моему зову.

.. Я позвонил Зинаиде Борисовне из Душанбе и сообщил ей номер поезда и номер вагона.

По правде говоря, я сильно волновался в предвидении этой встречи. Мы переписывались лет пять. Письма были нечастые, — все темы в них давно исчерпались. Но само существование Зинаиды Борисовны взболтнуло во мне мое прошлое. Возможно, это произошло бы и независимо от нее, по законам моего пенсионного возраста, однако наличие человека, знающего подробности твоей жизни, создает для тебя собеседника. Мне было к кому обращаться.

И, обращаясь к ней, я заботливо составлял ее облик в своей душе. Рассказать себе словами, какая она, я бы не мог, да и не пытался. Это не имело для меня никакого значения. Парило в моем растревоженном воображении нечто родственное мне по духу, не облаченное в плоть. Оно составилось из крупинок моей жизни и жизни моих давних друзей.

Письма Зинаиды Борисовны не давали особой пищи для фантазии. Она ничего не писала о себе. Мои рассеянно-вежливые вопросы по этому поводу она оставляла без ответа. Я знал только, что она работает в Самаркандском университете на кафедре иностранных языков.

Сейчас я понимаю — ее письма порой удивляли меня. Но это удивление отпечаталось нынче как бы задним числом. Когда я получал ее письма, они меня не удивляли. Читая их, я не задавал себе вопросов, я давал только ответы. Мне не важна была Зинаида Борисовна — кто она? откуда она? какая она? — был для меня в Самарканде некий катализатор, без которого не вошли бы в соприкосновение причудливые тени прошлого.

Прилетев московским самолетом в Душанбе, я в тот же день позвонил ей в Самарканд. Разговор был короткий. Короче, чем я ожидал. Может, это случилось потому, что, привыкнув к интонации переписки, я растерялся, услышав незнакомый голос. Быть может, мне почудилось, что он, этот голос, непременно будет уже знаком, а он был совершенно чужой. Голос, не населенный никакими ассоциациями. Повесив трубку, я подумал, что Зинаида Борисовна испытывает то же чувство.

Когда медленный душанбинский поезд, полупустой и пыльный, подходил к самаркандскому вокзалу, на перроне никого не было. Я стоял в тамбуре за спиной проводницы, у самых ступенек вагона, и не сразу заметил женщину, идущую неподалеку вдоль поезда. Она смотрела на меня, но я сперва не обратил на нее внимания — я подумал, что это кто-нибудь из вокзальных служащих. В длинном черном пальто, сильно поношенном, застегнутом только на две верхние пуговицы у горла и неопрятно распахнутом на животе, в больших мужских башмаках, эта женщина шла уже вровень с моим вагоном. Выискивая глазами Зинаиду Борисовну, обещавшую встретить меня, я никого не увидел у поезда. А женщина эта шла и шла, она взялась даже рукой за поручень вагона. Я посмотрел на нее внимательней, она улыбнулась мне всем своим некрасивым лицом. Не пойму почему, но мне не хотелось, чтобы она оказалась Зинаидой Борисовной. Я запомнил Сашу Белявского молодым, щеголеватым парнем, изысканно интеллигентным, и мне было не под силу соединить его даже мысленно с этой женщиной; улыбаясь сейчас, она была особенно непривлекательна. Ее уродовала не старость, а запущенность. Что-то было не только в ее одежде, но даже в лице неряшливое. Нелепая, глупая шляпка, слишком маленькая для ее крупной головы, сидела боком на нечесаных волосах. Грубо выдвинутый вперед рот, — в нем не доставало зубов. Все это я отметил мгновенно, кляня себя за придирчивость.

У вагона мы познакомились.

Зинаида Борисовна полагала, что я остановлюсь у нее, но я запросился в гостиницу. Мой отказ огорчил ее.

— Я очень многого жду от нашей встречи, — сказала Зинаида Борисовна. — Ведь вы были самым близким другом Саши.

Она проводила меня до гостиницы и подождала, пока я получил номер. Задержаться дольше она не смогла, ее отпустили с работы на полтора часа.

— У вас лекция? — спросил я.

Она ответила:

— Лекций у меня не бывает. Я работаю лаборантом на кафедре. Вам надо непременно прийти к нам в университет. Возможно, вы обменяетесь опытом.

Я пробормотал что-то в ответ. Мне показалось еще на вокзале, что она не очень вслушивается в то, что я говорю.

— Вы мало изменились, — сказала Зинаида Борисовна. — Таким я вас и представляла себе по рассказам Саши... Значит, вечером вы у меня.

Весь день я слонялся по Самарканду.

Равнодушный к старинному зодчеству, я бродил по каменным плитам дворов древних мечетей, задерживался подле усыпальниц. Холодное восхищение охватывало меня. Постигнуть величие этих сооружений я не мог. Я никому не навязываю своей позиции, но, очутившись в Самарканде, я почувствовал, что слишком устал от кровавой истории человечества. Величие, достигнутое такой ценой, претило мне. Рубили головы строителям, травили их ядом, засекали плетью, побивали камнями — и воздвигали себе памятники немыслимой красоты. Владыки осточертели мне, даже если они обладали непревзойденным художественным вкусом. Я знаю, что должен был восхищаться работой безвестных мастеров, но и это не получалось у меня искренно. Сквозь всю эту красоту я видел сейчас талант к покорности и рабству. Однообразие человеческой жестокости, уходящее в глубь веков, доколачивало меня здесь, в Самарканде.

Ничто не придумано заново. Все было.

Вечером я пошел к Зинаиде Борисовне. Она жила на одной из тех улиц, что не претерпели никаких изменений за последние пятьдесят лет. Безликие одноэтажные дома опускались вниз под гору. Кроме антенн телевизоров, ничто не напоминало середину двадцатого века. Да и много ли значат эти антенны? Я давно заблудился в десятилетиях. Вымарывая их из своей натруженной памяти, я жил сейчас не подряд, а обрывками, они не складывались в одну жизнь.

— Я переписала для вас Сашины стихи, — сказала Зинаида Борисовна. — Они в этой тетради. А здесь его фотографии. В большом конверте — письма ко мне. Пока я буду накрывать на стол, вы посмотрите.

Я сел в старенькое плюшевое кресло у кафельной печки. Зинаида Борисовна направилась в сени, где у нее шумел на табурете примус. Но по дороге к сеним она внезапно опустилась на круглый стул у раскрытого пианино и застучала пальцами по клавишам.

— Вам, конечно, знаком этот фокстрот? — спросила она, обернувшись. — Помните слова: «Джон Грей был всех милей, Кетти была прекрасна...» Мы танцевали его с Сашей в Феодосии.

И, не дождавшись моего ответа, она вышла из комнаты.

Я стал рассматривать то, что она разложила передо мной на маленьком столе. Этого было не так уж много — гораздо меньше, чем можно было предположить.

Сашины стихи я знал, они все были датированы еще тем временем, когда мы встречались в Харькове. И штук пять фотокарточек были того же периода, может быть, лишь чуточку более поздние. Тоненький пакет с письмами я не рискнул рассматривать подробно; приоткрыв его, я увидел в нем четыре конверта, надписанных четким Сашиным почерком. Обратный адрес на всех был харьковский. Когда я неловко повернул этот пакет, на стол выпал листок письма; оно начиналось словами: «Дорогая Зина, ты напрасно упрекаешь меня...»

Дальше читать я не стал. В комнату вошла Зинаида Борисовна. Она спросила:

— Вас, вероятно, удивляет, что Саша так мало писал мне?

Она внимательно посмотрела на меня.

— Напрасно вы не прочитали его письма. Я не делаю из них секрета.

Мы сели пить чай. Ощущение неловкости и разочарования теснило меня все более. Однако Зинаида Борисовна не замечала этого. Она держалась уверенно и спокойно. В ее тоне, когда разговор шел о Саше, было что-то хозяйское, словно она одна имела основание владеть памятью о нем.

А я не мог себе этого представить. Чем подробнее она раскрывалась передо мной, тем насильственнее угадывалась ее общность с Сашей.

— В каком году вы с ним познакомились? — спросил я.

— В тридцать четвертом. Саша был в аспирантуре и на каникулы приехал в Феодосию. А я жила в Феодосии. Да он, вероятно, рассказывал вам об этом...

— Мы редко виделись, — сказал я.

— Да, я знаю. А писать он не любил. — Она засмеялась. — Все его друзья жаловались на него. Даже Лидочка Колотилова...

— Это кто? — спросил я.

— Боже ты мой! — сказала Зинаида Борисовна. — Вы не помните Лидочку Колотилову?! Она жила рядом с вами. На Садовой, угол Черноглазовской. Вот так идет Черноглазовская, а вот так — Садовая. Ваши окна выходили на ее калитку... Погодите, сейчас покажу вам ее фотокарточку.

На фотографии Лидочка Колотилова оказалась маленькой сухонькой старушкой. Я понял, что она маленькая: она стояла в каком-то скверике, держась рукой за спинку скамейки и не сильно над ней возвышаясь.

— Узнали? — спросила Зинаида Борисовна.

— Нет, — сказал я.

— Станный вы человек. Саша всех помнил.

Я хотел сказать ей, что Саша погиб четверть века назад и что неизвестно, кто бы остался в его памяти, живи он сегодня, — но не решился.

— А давно вы видели эту Колотилову в последний раз? — спросил я.

— Я вообще никогда не видела ее, — сказала Зинаида Борисовна. — Но это не имеет никакого значения, ведь мы регулярно переписываемся.

— А в Харькове, — спросил я, — когда вы жили в Харькове...

— Я никогда там не жила, — ответила Зинаида Борисовна. — Я же вам только что говорила, мы познакомились с Сашей в Феодосии. Он, вероятно, рассказывал вам...

В ее голосе послышалась досада на мою бестолковость. Чего-то я действительно не мог взять в толк. И это начинало меня раздражать, хотя я отлично представлял себе, что раздражение мое неприлично. Сделав над собой усилие, я сказал:

— Простите меня, Зинаида Борисовна. Мне кажется, вы преувеличиваете мою с Сашей близость. К сожалению, еще задолго до войны мы виделись нечасто.

Она удивленно посмотрела на меня.

— Юность сохраняется в человеке навсегда.

— Если бы! — сказал я. — У меня-то она сильно захламлена.

— А я живу только ею.

Незнакомая, пожилая и некрасивая женщина сидела со мной за чайным столом. Только сейчас я увидел, как

необычно все, что нас окружает. В этой комнате все вещи были случайными и словно выхваченными из минувшей действительности. При взгляде на них тотчас всплывали их прежние наименования: шифоньер, оттоманка, гардероб, фортепьяно. И даже в то время, когда они так назывались, они, вероятно, были уже старомодными. Я не люблю нынешнюю новую мебель — она для меня слишком неодушевленная, магазинная, не обладающая личным характером. Однако в этой комнате существовала другая крайность: вещи растеряли своих владельцев, жизнь выцедилась из них по капле, они стояли мертвые, не соединимые друг с другом.

— Вам проще, — сказал я. — Вы виделись с Сашей вплоть до его ухода на войну.

— Нет, — сказала Зинаида Борисовна. — После Феодосии мы не встречались ни разу.

Понимая всю глубину своей бестактности, я спросил:

— Сколько же это у вас продолжалось?

— Почему «продолжалось»? Это продолжается и сейчас. У меня никого не было, кроме Саши. Когда он погиб, его друзья стали мне близкими людьми.

— Кого же из них вы видели? — спросил я.

— Никого. Вы — первый.

Я не мог себе вообразить этой жизни. Я спросил:

— Откуда же вам столько известно обо всех нас?

— Я писала письма. Мне отвечали. Ведь вы же мне тоже отвечали? Вот так же и другие.

— Но почему, — спросил я, — почему вы ни разу не приехали в наш Харьков до войны?

— Не получилось, — сказала Зинаида Борисовна. — Саша не хотел.

Удивительно было, что в ее голосе не вздрагивало, не прослушивалось и ноты сокрушенности. Она отвечала мне победительно, словно именно так и должны были сложиться ее отношения с Сашей.

По всем человеческим законам ее следовало жалеть. Логически я это понимал, но, обычно легко жалостливый, я не мог сейчас наскрести в своей душе ни крупницы сочувствия к ней. Она мне не нравилась. Я не мог себе представить ее иной, нежели видел сейчас. Это было несправедливо до жестокости, но меня заколодило за этим столом. Я не мог пропустить ее в свое прошлое.

— Вы не думайте, что это был просто курортный ро-

ман, — сказала Зинаида Борисовна. — Саша читал мне свои стихи, мы много беседовали на разные темы. Если бы не война, все могло бы сложиться иначе... Хотите, я вам сыграю то, что мы любили?

И, не заручившись моим согласием, она перенесла свое грузное тело из-за стола на круглый стул у пианино.

— Садитесь поближе, — попросила Зинаида Борисовна. — Я должна видеть выражение вашего лица.

Она заиграла и запела. Не знаю, что можно было бы читать на моем окаменевшем лице.

Она била пальцами по клавишам, пианино гудело под ее тяжелыми руками. И поверх этого гуда раздавалось ее неумелое пение.

И в самый пожар моего стыда за нее я внезапно подумал: кому-нибудь и я смешон. И еще я подумал: разве это так уж смешно, когда нелюбимая тобой женщина, через двадцать лет после того, как ты ее бросил и тебя уже давным-давно нет на земле, собрала вокруг себя все, что от тебя осталось?

И впервые я посмотрел на Зинаиду Борисовну с восхищением и жалостью. А она, раскрыв свой большой рот, изнемогая, докрикивала: «Отвори потихоньку калитку!..»

И я отворил, и впустил ее к Саше.

И еще прошли годы. Сто, двести лет. Я ничего не забыл. Человеческая память обладает охранительным свойством: забывается лишь то, что заслуживает забвения.

Выгорая от времени и корбясь по углам, воспоминания выцветают, как давние любительские фотографии. Выцветают подробности...

У меня не сохранилось ни одного Катиного снимка. Мы не дарили их друг другу на память — страсть запечатлеть себя на глянцевой бумаге еще не стала в то время тотальной. В нашей юности люди фотографировались редко.

Пожалуй, это и хорошо, что у меня не сохранилось ни одного Катиного снимка: расстояние от него до меня все возрастало бы. Мне было бы все невозможней представлять себя, сегодняшнего, рядом. Без ее фотокарточки мне проще вообразить и себя молодым: мы вдвоем

существуем только в моем воспоминании. Мы равны. Мы не старели бок о бок. Мне не надо делать никакого усилия, чтобы увидеть ее прекрасной. Время не разрушило ее.

Она наделила меня могуществом мага: стоит мне чуточку поколдовать над своей памятью, и Катя снова и снова — сколько раз прикажу — идет мне навстречу. Харьков ли это, Ленинград, Батилиман — не имеет значения. Она идет мне навстречу по неопознанной земле, по планете. Я не могу припомнить, во что она одета, я не помню ни одного ее платья, мне не нужны подробности. Грохочет гром, светит солнце, льет дождь, метет метель — и все это вместе, разом, — мне наплевать, что так не бывает. Когда я вижу ее, идущую навстречу, я забываю даже век, в котором это происходило. Мне важно только одно — чтобы она дошла до меня.

Я позабыл цвет ее глаз и волос. В моей памяти не сохранилось даже словесного портрета. Если бы мне описали черты ее лица, я не опознал бы их. Она была для меня неделима. Вся, какая есть. Такая — что я готов был бежать от нее на край света. Такая — что я готов был ползти за ней на край света.

История моей любви к ней стала надолго историей моей жизни.

ОЦЕНЩИК



из мебельного, — сказал Карев. — Вы приглашали оценщика.

Пожилой осанистый мужик впустил его в квартиру. Карев снял свое вымокшее пальто, пристроил его с краю просторной вешалки. И мокрые калоши скинул у самых дверей. В прихожей было чисто. Хозяин повел его по комнатам, показывая мебель. Вещи были малоинтересные: платяной шкаф, ясеневый, требующий ремонта, письменный стол, дубовый с тумбами, кресло, правда, ценное, вольтеровское, на любителя — если его привести в порядок, то оно пройдет в магазине хорошо, быстро. Это кресло Карев не стал особо осматривать, только кинул на него боковой взгляд, вроде оно и не привлекало его вовсе. А шкаф, стол и еще кое-какие случайные мелочи он исследовал подробно, перечисляя вслух их недостатки.

Однако хозяин квартиры и сам не выражал какого-нибудь острого интереса к оценке своей мебели. Он сказал:

— По мне стояли бы они тут до самой моей смерти. Да вот дочка с мужем надумали заводить новый гарнитур.

— Но вы уполномочены продавать эти вещи? — спросил Карев. Он устал, это была седьмая квартира за сегодняшний день.

— А кто меня уполномочит? — сказал хозяин. — Мебель моя, хочу — продам, хочу — сожгу.

По давней привычке, уже ненужной сейчас, Карев

взглянул на него внимательней, прикидывая, что за человек. Ни к каким выводам Карев не пришел — человек как человек. Пенсионер, наверное. Может, отставник, хотя вряд ли. Да на кой мне черт все это нынче знать.

Поскрипев дверкой шкафа и подвигав перекошенными ящиками письменного стола, чтобы еще раз продемонстрировать их изношенность, Карев назвал цену вещей.

— Окончательно? — спросил хозяин.

— Окончательно, — сказал Карев.

— А кресло?

— С креслом — проблема. Не пойдет оно у нас, наверное. Громоздкое. В новые дома его надо вносить через окно.

— Ну и бог с ним. Я его на помойку выставлю. Добрые люди подберут.

— Зачем же на помойку? Десятку могу предложить.

Так они и сговорились. Карев пометил на бумажке все согласованные цены, записал телефон магазина — завтра с утра можно справиться, когда машина придет за мебелью. Внизу он расписался.

Хозяин взял в руки бумажку, всмотрелся в роспись и спросил:

— Это у вас какая буква стоит?

— Буква «Я», — ответил Карев. — Меня зовут Яков Степанович.

— Понятно, — сказал хозяин. — Здравствуйте, Яков Степанович.

— Здравствуйте, — сказал Карев.

— Дай господь памяти, — задумался хозяин. — Под какой же фамилией вы меня последний раз брали?.. Серегин я тогда, кажется, был.

— Серегин, Антон? — быстро спросил Карев.

— Убей — не помню, может, и Антон... А я вас сразу признал, Яков Степанович: еще вы пальто снимали в прихожей, я подумал — ищет кого-нибудь Яков Степанович. Только не мог взять в толк, зачем вы ко мне-то пришли. Я ведь этими делами с войны не занимаюсь. — Серегин засмеялся. — А под оценщика вы здорово ловчите. Не зная, не различишь.

Карев сказал:

— Уволился я из милиции, Серегин. Пятый год работаю в мебельном комиссионном.

— По болезни?

— Да нет, здоров я. А ты-то на пенсии?

— Сто целковых дали. Не жалуюсь... Дочка у меня кончает торговый техникум, зять — экономист. Жить можно, Яков Степанович. Спасибо вам — дали мне тогда чистый паспорт.

— А у тебя почему такая большая пенсия? — спросил Карев. — Ты где работал последнее время?

— Шофером-дальнорейсовиком. Водил МАЗ.

— Калымил небось?

— Сказать по совести, случалось. Но не рядился, брал, сколько дадут. Создавал людям удобство... А вы правда уволились, Яков Степанович, или шутите?

— Правда.

Серегин покачал головой.

— Такой были работник, это ж поискать! Вы нашего брата разматывали — будь здоров. Известно было: раз попался к Кареву — колись до пупа... По собственному желанию ушли?

— По собственному.

— С ума сойти. Вы ж на сегодняшний год уже, наверное, полковник были?

— Майор, — сказал Карев. — Не в званиях дело, Серегин.

— Как посмотреть, — сказал Серегин. — У меня было звание — жулик. А нынче — водитель первого класса. Две большие разницы...

Он дотронулся до локтя Карева.

— Яков Степанович, сделайте мне уважение: такого человека встретил, охота посидеть с ним. У меня пол-литра настояно на калгане, я не алкаш, но раз выпал такой случай...

— Это для чего ж, на калгане? — спросил Карев.

— Для желудка.

На улице шел дождь, Карев устал, ему все надоело.

— Ладно, — сказал он. — Отметим встречу.

Они пошли на кухню. Серегин усадил гостя за стол, а сам принялся хозяйничать. Делал он это суетливо, радостно, но умело. Собрав на столе тарелки, вилки, ножи, он не положил их навалом, а расставил два прибора друг против друга и даже расстелил подле них бумажные салфетки треугольничком. Поколдовав у плиты, он

вынул теплое жаркое в латке, достал из холодильника колбасу, соленые огурцы, сыр.

Карев посмотрел на запотевший графин с коричневой водкой.

— Тут, Серегин, не пол-литра — граммов восемьсот.

— Возможное дело, — сказал Серегин. — Зять доливает, я доливаю, мы не меряем.

— И обое лечитесь? — спросил Карев.

— Я лечусь, а он — так... Между прочим, Яков Степанович, зятек мой не знает про меня. Вообще-то он парень дельный, только зануда.

— А дочь знает? — спросил Карев.

— Не вполне. В случае, они придут, значит, я вам поставил, чтобы вы мебель оценили подороже... Давайте по первой, Яков Степаныч, за встречу.

Калган оказался крепкий, но вкусный. Отсыревшее тело Карева тотчас угрелось, он не ел с утра — день выдался беготливый — и сейчас налег на закуску. Ему было приятно, что против него сидит за столом приветливый, домовитый Серегин — человек, которого он, Карев, кажется, довел до ума. Подробностей серегинской уголовной биографии он уже не помнил, промелькнули лишь какие-то маловразумительные обрывки, однако тот факт, что этот Серегин знал Карева в лучшие его боевые годы, а не мебельным оценщиком, торгашом, растрогал Якова Степановича.

— Значит, говоришь, доволен жизнью? — спросил Карев.

— Я теперь, Яков Степанович, ударился в религию, — робея, сказал вдруг Серегин.

— Сбалдел, — сказал Карев. — К психиатру тебе надо.

— Вы погодите, Яков Степаныч. Почему именно к психиатру? Вреда от меня людям нету. Вот когда вы сажали меня в тюрьму — вред от меня имелся.

Карев спросил:

— Освежи-ка, Серегин, в моей памяти: ты ведь тогда фармазоном, кукольников был?

— Кукольников.

— Чисто работал. Помнится, я на тебя месяца три извел, покуда словил.

— Да и не словили бы, Яков Степаныч, кабы мне эта жизнь не опостыледа,

Карев обиделся:

— Но ты ж все-таки не явился с повинной, а поймали мы тебя!

— Бдительность моя ослабла, — пояснил Серегин. — Устал я. И задумываться начал. А в нашем деле задумываться нельзя... Бабе одной, старухе деревенской, продал я куклу вместо мануфактуры, все деньги у бабы выгреб, вечером проиграл их в очко, и такая меня взяла тоска по себе...

— А не врешь? — спросил Карев. — Уж больно у тебя получается форсисто.

— Зачем мне нынче врать? — сказал Серегин. — Совершенно незачем. А тут еще на допросе вы попали в самую мою больную точку. У кого, спросили, воруеть, Серегин? У неимущих воруеть?..

— Что-то ты путаешь, Серегин, — сказал Карев. — Не мог я так говорить. Откуда в нашей стране неимущие? Наверное, сказал: воруеть деньги, заработанные трудом.

— Не путаю, Яков Степаныч. Под заработанные трудом я б тогда не раскололся. Я под неимущих раскололся. Это меня и проняло.

Врет, подумал Карев. Жулики — народ сентиментальный, любят о себе думать красиво. Устал — это возможно, бывает, конечно, — устают.

— Ну и в чем же заключается твоя религия? — спросил Карев. — Сектант ты, что ли?

— Нет, — сказал Серегин. — Зачем.

— Это хорошо. А то на сектантов статья, кажется, есть, не помню номера.

— Объяснить вам свою религию я не могу, — сказал Серегин. — У меня нету таких слов, чтобы кто-нибудь понимал их до глубины.

— Ишь ты, — сказал Карев. — Умный какой: придумал себе персональную веру. И помогает она тебе?

— Помогает, Яков Степаныч. У меня от нее покой на душе.

— Покой у тебя, Серегин, от твоей пенсии, а не от веры. Отыми у тебя пенсию, ты и в церковь перестанешь ходить.

— А я в нее и так не хожу, Яков Степаныч. Моя вера домашняя: где я, там и она со мной.

— Хорошо, — сказал Карев. — Допустим.

Калган начал одолевать его. Внезапный интерес к своему давнишнему подследственному, а нынче совершенно неизвестному ему человеку разбирал Карева все острее. Да и взболтнулась в его душе вся та муть, которую он уже давно не допускал до своего сознания.

— Вот ты говоришь — покой. А если тебя обидеть? Ну, например, по работе взяли бы да крепко обидели?

— А я б не обиделся, — сказал Серегин. — От меня зависит.

— Ты мне голову не морочь, — раздражился Карев: он теперь легко выходил из себя. — Как это возможно не обидеться, если тебя именно обижают?.. Я вон в угрозыске протрубил тридцать пять лет, сам говоришь — неплохой был работник...

— Замечательный были работник, Яков Степаныч, — сказал Серегин. — Я вас век не забуду.

— Ты-то вот не забыл, хоть и срок из моих рук имел, а Санька Горелов сегодняшний день встретит меня на улице, к фуражке не приложится своей белой ручкой...

Карев в сердцах выпил.

— Закусите «краковской», Яков Степаныч, — жалея его, предложил Серегин и вежливо спросил: — Это какой же Санька? Который по ювелирным магазинам работал?

— Да нет, — буркнул Карев, он жевал колбасу, не чувствуя ее вкуса. — У тебя все жулики на уме... К вашему сведенью, Александр Юрьевич Горелов получил нынешний год полковника.

И на кой бес я тут рассоплился, досадливо сверкнуло в голове Карева, но остановиться он уже не мог: слежавшаяся в нем за долгие годы боль самовозгорелась вдруг, как торф. И не в калгане был избыток температуры, подпаливший эту давнюю боль.

— Мой отдел в управлении знаешь как ребята называли? Штучным. Мы простых дел не расследовали. И Санька этот талант был, сукин сын. Я в него вбил все, что знал, все, что умел! Он же пришел ко мне после юридического слепым щенком — в оперативной работе ни черта не петрил, протокола допроса не умел оформить... Боже ж ты мой, как я его любил!..

— Уж очень вы переживаете, Яков Степаныч, — сказал Серегин. — Желаете, я вам заварю крепкого чайку?

Карев помотал отяжелевшей головой.

— И на что, дурак, польстился? На холуйскую должность: перешел от меня к начальнику управления писать доклады. Башка у него сработала, куда положено. И на-ружность подходящая: костюм пошил себе в модном ателье, завел очки на здоровые глаза, модельные туфельки. Выступит где-нибудь на совещании в исполкоме, в гороно или в редакциях, а там ахают: ах, как выросли кадры милиции! Начальнику приятно — он растил. Да и удобно — Санька сочиняет речи, статьи, обобщает опыт, и все научно, с цитатами из трудов. Ловит-то жуликов нынче не он, а обобщает — он... И стал я, Серегин, нынче не гош. Комиссовали меня, подпал под сокращение. Процент роста я им снижаю. Кабы мне кто-нибудь пятнадцать лет назад подсказал, что Санька меня продаст, я бы тому человеку плюнул в глаза...

— Вас один человек предал, Яков Степаныч, — сказал Серегин, — а Иисуса Христа — двенадцать любимых апостолов. Это уж, наверное, так заведено, Яков Степаныч. Предать они предали, а веру его, учение его людям понесли. Даже взять Иуду. Не было бы Иуды, не было бы и подвига Христова, и был бы он обыкновенная личность. Сезонник, плотник.

— Слушай, Серегин, — улыбнулся Карев, — неужели ты веришь во всю эту хреновину?

— Верю, — сказал Серегин. — Две тыщи лет моей вере.

— Значит, согласно твоей вере, и Гитлера прощать надо?

— Гитлера — не надо, — сказал Серегин.

— А как же ты разбираешься: кого — надо, а кого — не надо?

— Совестью своей, Яков Степаныч. Душой.

— Интересно! Ты своей совестью судишь, я, значит, своей, и выходит на проверку — самосуд? Анархия?.. А бог твой при чем же?

— Он при всем, — ответил Серегин.

— Какая же у него получается роль? — спросил Карев. — Наплодил на земле людей, они друг дружке вцепляются в глотку, жгут, режут. За давешнюю Великую Отечественную двадцать миллионов душ извели!.. А он — что?

Серегин подумал немного и сказал:

— Вопрос знакомый, Яков Степаныч: я от него сам сколько ночей не спавши. И сейчас отвечаю. Бог в наши людские дела не мешается, доверяет нам. А человек должен сам за себя отвечать, все ж таки мы люди, а не звери, и почему это с господина надо взыскивать за нашу подлость?

— Ну, а его-то роль, я у тебя спрашиваю? Наблюдатель он, что ли?

— Он наблюдает, — подтвердил Серегин.

Карев устало зевнул.

— Не пыльная у него работенка, Серегин. На такую должность и я гожа...

Серегин собрался было ответить, но из прихожей донесся стук входной двери и неразборчивые голоса — женский, мужской. Быстро подхватившись, он вышел из кухни; дверь за собой плотно прикрыл.

Карев уже остыл от спора и от своей размозолевшей обиды. Пора было собираться домой. Немножко-то на душе полегчало.

Из прихожей послышался строгий мужской голос:

— А вы точно не продешевили, батя? Мебель-то ведь сейчас подорожала.

И кроткий, тихий ответ Серегина:

— Да какая же это мебель, Костя? Рухлядь.

И тут же вступил женский голос:

— Где я теперь достану корень калган? Могли бы и чаю попить. Водку брала, «Экстру», по четыре двенадцать...

Карев вышел в прихожую. В наступившем молчании он надел свое пальтецо, калоши и, не глядя на молодых людей, сказал старику:

— Спасибо за угощение, хозяин... А насчет кресла у меня вышла ошибка: поставим его в магазине за тридцать.

Когда дверь за ним захлопнулась, Серегин, прищурившись, посмотрел на своих родственников и сказал:

— Ну и гады же вы! Хорошего человека обидели...

А дождь на улице припустил еще усердней, Карев вымок тотчас наново и шел, не разбирая пути. Ничуть он на этих людей не обиделся и только жалел Серегина за его темноту. А насчет Саньки Горелова — да ну его, Саньку... Горчичники надо на ночь поставить — в груди сипит, — чаю с медом выпить. Ох и погода...

МАТЬ

1



Младший сын, Славка, уже второй раз отсиживал в колонии. За него у старухи болела душа. В прошлую судимость она ездила к нему на свидание — срок у него тогда был небольшой, полтора года, — а нынче дали ему пять лет и отправили так далеко, что добираться туда надо было трое суток.

Судили его правильно, за дело, это старуха знала и понимала, но только она для себя считала, что можно было б его и простить. На суде он ни разу от своей вины не отпирался, мать видела, что ему совестно перед людьми, и ей казалось, что если б его сейчас прямо с суда отпустили, то он уж другой бы раз ни за что не попался.

Забирали его всегда за драку. Так получилось в жизни старухи, что она видела на своем веку много драк, — и кольями бились, и бутылками, и замахивались топорами, а уж кулаки и не в счет, — но в тюрьму попадался не всякий: вечером схлестнутся, утром замирятся. Славке же не везло, судьба его так складывалась, что его забирали. Конечно, он вино пил без меры, но и Гришка, другой сын, тоже выпивал будь здоров, и кругом никто от вина не отказывался, а вот Славику судьба отмеривала положенный срок. И старуха не кляла эту судьбу. Она только горилась, что уж здорово не везет.

У старшего сына Гришки жилось ей худо. Она переехала к нему, когда младшего отправили в колонию. Жена Славика относилась к свекровке хорошо, даже

звала ее мамой, но дожидаться своего мужа пять лет ей не было расчета.

— Я вас, мама, со всей охотой буду содержать при себе, — сказала невестка. — А куковать через Славку второй раз нету моих сил. Выйду замуж.

Она поплакала вместе со старухой, что приходится расставаться, и старуха ее не осудила.

Старший сын Григорий жил не бедно. Таисия, жена его, работала в поселковом молокозаводе, а сам он получал приличную военную пенсию и, чтоб не одичать с тоски, помогал в сельсовете по общественной линии.

Григорий был старше Таисии лет на пятнадцать, и хотя порывивал на нее порой, однако верх был ее.

Старуха не угодила Таисии, а в чем — понять не могла. Невестка вязалась к ней по всякой мелочи и глядела в рот, когда свекровь кушала. Чай ей доставался спитой, спала она на прохудившейся раскладушке, днем раскладушка убиралась на чердак и к вечеру сильно там выстывала.

Особых болезней у бабки не было. Худенькая, она двигалась sporo, зубов во рту было два, но десны уже закаменели и перемалывали пищу хорошо. Силы сохранились в ней по возрасту — возраст был семьдесят четыре года. Глаза еще видели разборчиво, а уши подвели: лет пятнадцать назад она застудила их, по докторам не стала ходить, все перемогалась, и нынче сильно оглохла. К своей глухоте бабка уже привыкла; в сущности, это затрудняло только тех, кто с ней разговаривал, она же сама чего надо, то и слышала. Поселковая учительница, жалая старуху, привезла ей в подарок из города слуховой аппарат с батарейками, обучила, как пользоваться им, но аппарат старухе не понравился. С непривычки обрушилось на нее столько лишних, бесполезных звуков, что у бабки разболелась голова. Со своей глухотой ей было жить спокойней: не всякая невесткина брань достигала до ее поврежденного слуха. А сына Григория она понимала и так — когда по губам, а когда и разбирала слова.

В хозяйстве сына старуха могла бы еще приносить свою пользу, но Таисия всячески устраняла ее помощь: вроде бы и посуду бабка мыла грязно, и половики вытряхнуть не умела, и даже печи дымили от ее топки.

Плакать старуха устала. Держало ее на поверхности жизни сознание, что она еще может сгодиться Славику, когда он выйдет на волю.

Изредка от него приходили письма. На второй год своей отсидки он написал:

«Здравствуйте, мама! С приветом к вам сын Славка. Мама, я живу ничего, вы за меня не переживайте. Сам себя чувствую здоровым. Мама, мне охота повидать вас, пока вы живая. Если здоровье вам позволяет, приезжайте ко мне на свиданье. Мама, на дорогу вашу и деньги заработал, леса повалил страсть сколько. Поведение мое хорошее. Мама, дорога до нас дальняя, харчи берите на всю путь консервами. Хлеба тоже. Мама, начальник обещался отпустить меня на пять дён, когда вы прибудете. Разрешенье вам я выправил. Сахар тоже берите, и трусы с майкой, а кальсоны нам выдают. Мама, вы у меня на всем свете остались одна. Третьего дни повидал вас во сне, вы картофель сажали, а я обочь стою, не роблю ничего. Вот ведь дурость какая. Мама, чаю тоже прихватите, и которые жиры в дороге не стухнут. Кланяюсь брату Григорию, а Тайка обойдется. С этим остаюсь ваш сын Слава».

Старуха прочитала письмо не один раз, но, боясь, не упустила ли чего, понесла его учительнице. Да и хотелось еще услышать его складно, с голоса. Наклонившись к бабкиному уху, учительница медленно, громко читала, а бабка потихоньку плакала, без звука, одними слезами.

— Неужели, бабуса, поедешь? — спросила учительница.

— Только ты моему Гришке покудова не рассказывай, — попросила старуха. — Он злой на Славку.

2

— Вам, мама, сахар даден к чаю, — сказал Григорий. — Зачем же вы опять прячете его в подол? И по поселку треплете с кем ни попадя.

Старуха вынула из кармана юбки кусок пиленого сахара и положила его на стол. В кармане она нащупала еще два куска, но оставила их там.

— Вчера стою в магазине, — сказала Таисия, — Алка из мясного мне говорит: мамаша ваша собирается в

дальний путь. Я спрашиваю: это откуда же тебе известно? Она говорит: никому не секрет, за два года за прилавком я каждого покупателя всю допотопную знаю, а он всю мою допотопную знает.

— Вбейте вы себе в старую голову, мама, — сказал Григорий, постучав костяшками кулака по своему лбу, — ваше поведение компрометирует меня.

— Это ж до чего дойти, — сказала Таисия, — мать офицера ходит по дворам стирать белье!

— Ну, это ты не ври, — оборвал жену Григорий. — Кому она стирала?

Обидевшись, Таисия встала и унесла посуду на кухню.

Григорий покосился на мать.

— Мама, — сказал он ей в ухо, — вы что, действительно чужих людей обстирываете?

Старуха не ответила.

— Можете вы понять, — сказал Григорий, — что я в поселке фигура? Народ в любой момент может спросить с меня. Я должен быть перед ним чистый как стеклышко. — Он понизил голос, зная, что мать все равно его услышит: — А если вас Тая другой раз обижает, то вы, мама, перепустите. Она женщина очень качественная, она против вас никакого зла не держит. Вы поняли меня, мама?

Старуха кивнула, но Григорий знал, видел по ее мутным глазам, что она плохо слушает его и, вероятно, думает о том, о чем ей думать совершенно не следовало.

— А Славку выбросьте из головы, — велел он, подымаясь из-за стола. — Наградили меня брательником, срамотище подумать.

— Гришуня, — сказала старуха, — вы же оба-два мои сыны.

— Я с этим прохиндеем ничего общего иметь не желаю! — крикнул Григорий. — И вы меня, пожалуйста, с ним не равняйте. Я еще пока баланду в колонии не пробовал. И пробовать не собираюсь. А вашему Славке хлебать ее пять лет.

— Гришуня, — сказала старуха, — а из чего ее варят?

Он уже дошел было до двери, но, услышав вопрос матери, быстро вернулся.

— Вы что, совсем сбрендили?

На пороге кухни показалась невестка.

— Ты у нее лучше спроси, — сказала Таисия, — зачем она деньги копит? По дворам ходит, подбирается...

— Не ври на меня, Тая, — сказала старуха.

— Я вас в последний раз спрашиваю, — подступился к ней сын, — перестанете вы позорить меня?

— Чем же, сынок? — удивилась старуха.

Она даже попыталась погладить его по руке, которую он положил на спинку стула, но Григорий убрал руку.

— Добьетесь вы, мама, что я вас пристрою в Дом хроников. Гоже будет, да?

— По крайней мере, там в байню станет ходить, — сказала Таисия. — По три недели не мывшись.

— Да отстань ты со своей байней! — рывкнул Григорий.

— Не ори, паразит.

И они начали лаяться между собой, и старуха знала, что чем больше они грызутся, тем хуже будет потом ей.

3

Деньги она действительно копила. От Славика пришел перевод — сто рублей. Старуха сходила на станцию, узнала, сколько стоит билет в оба конца; оставалось на руки не густо.

Билет она погодила брать, решила сперва приработать маленько, да и не просто было управиться с покупками. Гришка денег для брата не даст, это она знала.

Наступили для бабки деловые ночи: спала она и так-то дыряво, а теперь сон и вовсе перестал брать ее. Лежала и все прикидывала, высчитывала, как получше, повыгодней купить. Грамоты было у нее три класса, но считать бабка умела и даже записывала цифры в тетрадку, не полагаясь на свою память.

Покупки надо было до отъезда припрятывать, она договорилась с учительницей, что будет сносить их к ней. Забирать в магазине сразу помногу старуха остерегалась, таскать большой груз ей было не под силу. Выпросила она в магазине большой картонный ящик и складывала в него пакеты. И еще дала ей учительница толстый длинный чемодан.

Приработать в поселке копейку было трудно, люди управлялись со своим хозяйством сами. Однако старуха довольствовалась такими грошами, что от ее помощи не отказывались: у кого за ребенком присмотрит, где примоет полы, кому грядки прополет. А иногда за эту работу ее только кормили — тоже было сытнее, нежели дома. Получая за свои труды полтинник, старуха думала: «Славику на полкило сахара». Когда она переводила в уме полученные деньги на продукты для сына, ей всегда казалось, что заплатили ей хорошо. Особенно любила она пересчитывать свой заработок на крупу — пшена выходило много.

Сборы в дорогу подходили к концу. Ящик и чемодан были набиты доверху. Учительница Вера Сергеевна попыталась приподнять груз с пола и охнула.

— Как же ты, бабуся, их понесешь?

— Люди подмогут.

— Ведь тебе же ехать с пересадками?

— Не знаю, милая, на билете, должно, написано.

Оставалось сказать Гришке, что она уезжает. Старуха все откладывала этот разговор, но сын сам начал. Таисия ушла на свой молокозавод, Григорий покормил двух поросят, налил воду индюку, курам и сел на ступеньки разводил пилу — он собирался в лес заготавливать дрова.

— Привезу две машины, кубов двенадцать, — сказал он. — За неделю, мама, мы с вами распилим их. А с Таисии требуем за это на литр. Как полагаете, мама, — даст?

Он засмеялся, взглянув на старуху. Она отвела глаза.

Отложив трехгранник, которым он направлял зубья, Григорий велел:

— Выкладывайте, чего надумали?

— Не сердчай, Гриша, — сказала старуха, — надумала ехать к сыну.

— А я кто? — спросил он. И, засопев, сказал: — Назад можете не вертаться.

Старуха печально улыбнулась.

— Послухал бы, чего говоришь, — сказала она. — Ведь ты хороший, Гриша.

— Вы мне баки не забивайте! — крикнул он. — Слово даю: поедете к Славке в колонию — все, крест, нету у меня матери! Хоть судитесь со мной!

— Совсем очумевши, — сказала старуха.

На другой день она собралась и поехала. Учительница Вера Сергеевна велела двум старшекласникам помочь старухе; они донесли ее багаж до шоссе и поставили его на обочине.

Она села на чемодан. Мимо проносились машины в город — шоссе было бойкое, ходовое, — пыль курчавилась из-под колес и повисала сухим облаком над дорогой. Бабка не скучала, не томилась, она знала, что ее подберут. Была у нее с собой бутылка воды, теплой и невкусной от солнца. Посасывая воду из горлышка, бабка свободно жила сейчас у обочины, сидя на богатстве, которое она скопила оголодавшему сыну.

Раза два шоферы грузовиков притормаживали подле нее, полагая, что с этой бабки можно содрать приличную сумму, но, рассмотрев старуху и увидев, что ничего рыночного она не везет с собой, шоферы нажимали на газ и катили дальше.

Часа через полтора остановился возле нее самосвал, пожилой шофер высунулся из окошка кабины:

— Тебе куда, мамаша?

Старуха рассказала, что надо ей в город, на станцию, а оттуда путь ее лежит далеко: поездом трое суток, и еще, сын писал, километров пятьдесят на попутке.

Шофер попался понятливый, он спросил:

— В колонию, что ли?

Она радостно закивала, шофер понравился ей. Он вышел из своего самосвала, погрузил старухину поклажу в порожний кузов, а саму старуху взял к себе в кабину.

— Ты вот что, мамаша, — сказал шофер, — ты не сиди молча: я вторые сутки не сплю, могу закемарить за баранкой. Ты пой.

Она не разобрала того, что он говорил. Тогда он крикнул:

— Глухая?

— Недослышиваю, — ответила старуха.

Не понижая голоса, шофер во второй раз пояснил:

— Можем мы с тобой разбиться к чертовой матери, если я засну за рулем. Поняла?

— Поняла, — сказала старуха.

— Твоя задача — не давай мне спать, мамаша. Ставь передо мной вопросы, а я буду отвечать.

— Тебя как зовут? — спросила старуха для начала.

— Минаев, Степан Данилович.

— Семейный?

— По второму разу.

— Разошедшись или померла жена?

— Умерла, — сказал шофер. — Замечательная была женщина... Объясни мне, мать, если можешь, почему всякая сволочь живучее хороших людей?

— Не знаю, — сказала старуха. — Не буду врать.

— Третьего дни показывали у нас в Доме культуры кино. Нашли на Кавказе столетних стариков, сняли, как они чай пьют в саду, как прытко персики с дерева обирают. А я смотрю на них и думаю: какую же вы, заразы, спокойную жизнь прожили, если дотянули до ста лет!

— Может, невестки у них хорошие, — сказала старуха. — Или зятья.

Но шофер не слушал ее.

— Это ж сколько надо близких людей похоронить за такой срок, и чтоб душа не надорвалась! Это ж надо только об себе думать, чтоб так долго жить!.. Ты прикинь, мать, цифру подлости за сто лет: чего они насмотрелись на своем веку? Вон ты оглохла совсем, и душа в тебе держится на самом кончике...

— Верно, — сказала старуха. — Сработавшись я, устала уже маненько.

— А до ста годов тебе еще дудеть лет двадцать. Выдюжишь?

— Куда мне, — сказала старуха. — И так зажилась.

— Ты с какого года?

— Не знаю, милый.

— Пенсию получаешь?

— Нету у меня пензии, — вздохнула старуха.

— А за что взяли сына?

— За драку.

— Убил кого?

— Не, — сказала старуха. — Было сотрясение мозга. Выздоровел. Ходит. Кабы не милиция, они б и так замирились.

Дорога разворачивалась плоская, однообразная, ни кустика по обочинам. Пожилому шоферу захотелось спать с новой силой. Он вел машину, высунув голову в боковое окошко, чтобы встречным ветром сдувало с лица сон.

В городе у вокзала он выгрузил старухину поклажу, снес ее на тротуар и пошел к машине, но, оглянувшись

на глухую к городскому шуму бабу, совсем тощую и махонькую в толпе быстрых и уверенных людей, шофер выматерил себя громко за свою дурью жалость, воротился и занес багаж в здание вокзала к кассам.

Старуха всю дорогу, покуда сидела в машине, зажимала в кулаке трешку, выделенную для расплаты с шофером. Однако денег он с нее не взял. Только сердито спросил:

— Камней ты сюда наложила, что лп? — И пнул погой картопный ящик. — Харчи небось?

— Продукты, — заулыбалась старуха.

— Сына-то как зовут?

— Славик.

— Сволочь твой Славик, — сказал шофер. — Ну, бывай здорова. Счастливо доехать, мамаша.

Она не поняла, за что он на нее рассердился, но обрадовалась сэкономленной трешке. Можно бы купить еще банок пять консервов, да некуда было класть.

Бабка осмотрелась обстоятельно, сидя на деревянном диване подле своих вещей. Торопиться было некуда, поезд отходил вечером, а билет у нее взят загодя на станции в поселке. Посторонних людей она нисколько не робела: за долгую свою жизнь старуха убедилась, что если кто ее утеснял или обижал, то были это всегда не посторонние, а люди, которых она знала.

4

Ехала она хорошо, удобно. Ей досталась верхняя полка, просторная для ее худого недлинного тела; в головах встал ящик, под боком — чемодан. Проводница дала старухе за рублевку матрац, байковое одеяло, две чистые простыни, подушку, к ней наволочку и еще вафельное полотенце. Столько чистого белья за один раз бабка никогда не потребляла. Лежать ей было мягко, и она думала, что едет к сыну в мягком вагоне.

Народу в вагоне набилось много, внизу сидели по трое на полке, над бабкой, у потолка тоже лежали, но это ей нисколько не мешало. Отоспалась она за дорогу да и отъелась порядком. Чайников у соседей хватало, мужики бегали на станциях за кипятком, ее всякий раз приглашали к столу.

Продукты в дорогу она запасла — хлеб был, маслице, яички, наколотый кусковой сахар, заварка и дешевые леденцы. Всем этим она потчевала соседей, а они в свой черед угощали старуху. Было с кем и поговорить, здесь люди считали ее за человека. Она не таилась от них, рассказывала, зачем и к кому едет. Бабкина беда не казалась этим людям зазорной, никто ее не срамил за сына — не вор все-таки, не мошенник, по пьяному делу чего не случается, — а горькую ее жизнь при злой невестке и по-давно понимали.

Попалась, правда, одна городская, уже не молоденькая женщина, на нее бабка сильно рассердилась. Женщина эта сказала, оглядывая при этом всех пассажиров и как бы приглашая подивиться, какая она разумная:

— Я вас всецело понимаю, но, полагаясь на свой жизненный опыт, должна сказать, что такова уж наша участь, всех матерей. Редкая невестка нам нравится, потому что мы ревнуем к ним наших сыновей.

— Это как? — спросила старуха.

— А вот очень просто, бабуся. Вы должны не показывать вида, если вам что-нибудь не по душе в доме вашего сына. Помалкивать надо, даже когда вам обидно. У вас с ней могут быть разные взгляды на жизнь. . .

— Она мне исть не дает, — сказала старуха.

— Ну это уже крайность, я думаю, вы преувеличиваете. Не запирают же от вас еду на замок?

— А как я сама возьму? — рассердилась старуха. — Они покушают, уйдут на работу, со стола убрано, чай и тот весь спитой, один хлеб гольем ем. Кабы я имела свою копейку. . .

— Но это же смешно: в доме родного сына вести отдельное хозяйство! Дикость какая-то. . .

Бабка не успела ответить. — за нее вступились пассажиры. Городскую эту женщину быстро заклевали. Оказалось, что едут в вагоне еще старики и старухи, которым не так уж сладко живется при детях. Высокий мужик, с жухлым обвисшим лицом, одетый по-простому, но аккуратно, вежливо вмешался. Он тоже обращался к бабке, но смотрел при этом на всех пассажиров.

— Извиняюсь, — сказал он. — На то есть закон. А поскольку есть закон, постольку он направлен против имеющегося беззакония: в случае нарушения заботы о родителях последние имеют право возбудить дело.

— Вы юрист? — спросила у него городская женщина.

— Ветеринар. И вам, гражданка, — обернулся он к старухе, — целесообразно подать в суд на алименты, их взыщут с вашего сына.

Чтобы не обижать его, бабка кивала головой.

— Я лично, — продолжал ветеринар, — в дополнение к своей небольшой пенсии, на которую мы с супругой не могли бы существовать, взыскиваю и с дочери, и с сына. Это не значит, товарищи, что наши отношения осложнились. Напротив. Решение суда внесло в них ясность. Не говоря уже о воспитательном значении. . .

«Бесстыжая твоя морда», — думала бабка, продолжая согласно кивать головой.

— Если желаете, — сказал ветеринар, — могу вам тут же в вагоне написать заявление по форме.

— Давай, бабуля! — крикнул кто-то молодым голосом с боковой полки. — Дави родного сына!

В вагоне загалдели.

Старуха молча полезла к себе наверх.

Ветеринар сказал городской женщине:

— Вот так с ними всегда: мечтаешь сделать услугу, а тебя же смешают с дерьмом.

Старуха лежала на своей верхней полке, уже не слыша пересудов внизу. Она задремывала, видела короткие старушечьи сны, все больше покойников, людей, давно умерших. С ними ей было проще, только непривычно, что обращались они к ней по имени, звали Дусей, а она уже и вспоминать позабыла, что крестили ее Евдокией. И просыпаясь, она долго отделяла свои сны от действительности, сладко запутываясь в том, что было и что есть.

5

Путь ее приближался к концу.

Вагон пустел.

Старуха попросила солдата спустить ее багаж вниз, на пол. Задолго до нужной станции, обозначенной в письме сына, она уже была совсем готова к выходу: убрала под чистую белую косынку спутавшиеся за дорогу реденькие, седые волосы, ополоснула в умывальнике лицо, отряхнула от пыли юбку, жакет и сидела последние часа два неподвижно у окна.

На станции вышла она из всего поезда одна. Поезд простоял недолго, ушел, старуха посмотрела ему вслед, томясь немного по своей полке, где ей так самостоятельно жилось.

Станционное здание было маленькое, бревенчатое, рубленное по-старинному, в хряпу. В эти места уже вступила осень, густой, напористый ветер сносил на сторону печной дым из трубы.

Ухватившись за веревку, обматывающую чемодан, старуха поволокла его по земле к станции. Она не торопилась, времени для того дела, по которому она сюда приехала, у нее было много — вся оставшаяся жизнь. Чемодан она волоком дотаскала, села на него передохнуть и терпеливо дождалась того доброго человека, кто поможет ей сладить с грузным картонным ящиком.

Путевой обходчик шагал мимо, сперва заметил этот ящик, стоявший у самых рельсов, потом увидел старуху и поднес груз к ней.

Обходчик был долговязый, седой, согнутый в пояснице своей жизнью и работой.

— Здорово, тетка! — сказал он. — Вон куда тебя занесло.

— Какая же я тетка? — улыбнулась старуха. — Я бабушка.

— А я дед, — сказал он. — Значит, для меня — тетка. Ты откудова?

— Из Подпорожья. На Ладоге.

— Ну, как там люди-то живут?

— Как сумеют, — сказала старуха. — По своей совести... Мне на автобус надо, ты бы подсобил за ради бога.

— А водка у тебя есть при себе?

У старухи было с собой два пол-литра, но она сказала, что нету.

Обходчик подумал немного, спросил для какой-то надобности, поют ли в Подпорожье соловьи и растет ли подсолнух, потом загнул с бабки пять рублей. Сошлись на трех. Идти оказалось недалеко: шагах в ста пролегалла щебенка. Поставив у столба с автобусной жестянкой старухины вещи и получив с нее договоренную сумму, обходчик сказал:

— Вот, тетка: лет пятнадцать назад я б с тебя ни хрена не взял. А нынче я злой на людей.

— На меня-то почто? — спросила старуха.

— На тебя, может, и не надо, — сказал обходчик. — Но только нету у меня возможности входить в каждого. Он спрятал полученные деньги в кепку и надел ее на свои сивые лохмы.

— Тем более ты мне туфтишь: водка у тебя есть, да ты ее бережешь.

И зашагал он, согнувшись под своей нелегкой злобой.

На остановке старухе повезло, ожидала она недолго, автобус пришел вскоре. Погрузиться ей помогли пассажиры, опять какие-то военные. Машина была старая, битая, грохотала по щебенке.

Автобус шел долго; Славик так и писал, что схать надо до самого конца. Последнее письмо сына лежало у старухи в кармане жакета, она вынимала его много раз, сверяясь, верно ли едет, — в письме был указан весь путь. Щебенка шла вдоль редкого низкого леса, и хоть лес этот был хвойный, но зеленого цвета не имел, а был желтый — видно, рос на болотистой земле. Перелетали через дорогу сороки, и старуха поразовалась им — они были такие же, как в Подпорожье. . .

На конечной остановке, в дощатом стандартном доме, уже жарко натопленном, она добралась до начальника. Прикидываясь еще более глухой, чем была на самом деле, бабка показала ему сыновье письмо. Начальник прочитал, с любопытством посмотрел на старуху и спросил:

— Сколько же, интересно, вам лет, бабушка?

— Восемьдесят, — соврала старуха.

— Герой, — сказал начальник. — До нас в таком возрасте еще никто не добирался. Как же мне с вами поступить?

— Хорошо поступи, сынок, — попросила старуха.

Она заплакала. Впервые за всю дорогу она устала, и сейчас испугалась, что этот начальник может завернуть ее обратно.

— Поступим мы так, — сказал начальник. — До пункта вашего назначения отсюда еще тридцать километров. Часа через два туда пойдет наша полуторка. Я прикажу подкинуть вас, пропуск вам выпишут, о порядке свидания с заключенным узнаете на месте. Все, мамаша, можете быть свободной.

Когда она пошла к дверям, начальник посмотрел ей

вслед и хотел добавить два или три каких-нибудь слова; у него было много разных слов: для общения с подчиненными, с начальством, с заключенными, с собутыльниками, но тех слов, которые ему вдруг захотелось сказать старухе, он быстро найти не смог.

Сперва дали им свидание в присутствии конвойного.

Старуху усадили в пустой комнате за длинный широкий стол, обитый по столешнице оцинкованным железом. Сидела старуха на табурете, а напротив, с другого края стола, была длинная скамья. Сюда конвой привел Славика.

Когда сын вошел впереди конвойного, старуха хотела подняться на ноги, но, побоявшись упасть, не встала, а только пошевелилась навстречу. Славик же бросился к ней, конвойный подумал было его придержать, однако старуха была такая маленькая на своем табурете, такая ничтожная и безопасная, что вреда от нее произойти не могло никакого; закулив, конвойный опустил на стул у дверей.

Славик обнял мать за плечи, пал лицом в ее сбившуюся косынку и всхлипнул.

— Теперь уж что, — сказала старуха. — Теперь ничего... Приехала я.

Она погладила сына по коротко стриженной голове.

— Не зябко без волос? Шапка-то где твоя?

От прижавшегося к ней заключенного пахло казенным, едким запахом, но сквозь него пробивался, как родник, тоненькой, еле различимой струйкой знакомый старухе запах сына. Она порылась в кармане своей длинной, свалявшейся за дорогу юбки, вынула горсть слипшихся леденцов и протянула их на ладони Славiku.

Конвойный от дверей сказал:

— Заключенный, займите положенное место за столом свиданий.

Старуха не расслышала слов солдата, однако она всякую минуту украдкой поглядывала на него, боясь его рассердить, и тотчас заметила, что лицо его переменялось, стало хуже, чем было.

— Слушайся, сынок, начальства, — сказала она Славiku покорным и даже угодливым голосом, который предназначался не сыну, а конвойному.

Теперь они сидели разделенные широким столом. Славка была отощавший, но не сильно. Главное, что рассматривала в нем старуха, была не худоба, а тоска. Одиноким, он сидел против нее в своей оттопыренной, жесткой рубашке, уши торчали неприкаянно на его голой бугристой голове. В глазах было пусто и обугленно, как в избе после пожара.

— Кланялся тебе брат Гриша, — сказала старуха. — Велел передавать поклон. И невестка Таисия тоже наказывала... К рождеству закололи мы поросенка, потянул на сто двадцать кило, весь год с мясом жили, сала я привезла тебе...

— Не обижают вас, мама? — спросил Славик.

— Кто меня обидит, — сказала старуха, — все ж таки у своих живу.

— Сука Тайка, — сказал Славик. — И Гришка ваш такой же, как и не она. Вот погодите, мама, выйду из заключения — станете жить при мне. Я деньги накоплю.

— Вот и хорошо, — закивала старуха, — вот и ладно, вот и замечательно... Я, Славик, на здоровье еще крепкая, все могу робить...

— Не плачьте, мама, — попросил он.

Суетливо вытирая слезы и улыбаясь, старуха пояснила:

— Оно само плачется.

— Два сына у вас, — сказал Славик, — как два кобеля: радости вам от них ни грамма.

К вечеру им отвели комнату в том бараке, что стоял при входе в колонию. Часть помещения, с выходом наружу и в зону, занимала охрана, а в дальнем конце барака, по обе стороны длинного коридора, расположены были маленькие комнаты для краткого жительства заключенных с родственниками. Заканчивался коридор просторной кухней — здесь на плите дозволялось готовить себе вольную пищу. Сюда приходил конвой греться после дежурства.

В комнате, по стенам, друг против дружки стояли две железные кровати с сениками, с чистой постелью. Проход между ними был с полметра. Две тумбочки виселись в изголовье. Стол и два стула помещались в начале комнаты подле дверей. Простора старухе хватало, свет шел из окна, забранного решеткой между рамами.

Как и было обещано, Славку на работу не выводили, дали ему пять суток отгула. Старуха распаковала картонную коробку и чемодан, вынула гостинцы. В этой комнате она была хозяйкой. И на кухне ей тоже никто не мешал. Сменяясь с дежурства, конвойные кипятили себе только чай в большом артельном чайнике, а кормиться ходили в служебную столовую. Дрова у них были запасены на круглый год, поленница выстроилась под навесом у самого крыльца. Плита топилась — надо, не надо — круглые сутки, лишка тепла уходила в трубу, обогревая божий свет.

В первый же день старуха постирала свое бельишко, заношенное в дороге, прихватила в стирку и портянки охраны, и всякую грязную тряпку, найденную в избе, напустила песком чайник, перемыла кружки.

А Славка все ходил за ней следом и просил:

— Говорите, чего помочь, мама.

Помощи от него не требовалось, только грязную мыльную воду из бадьи он выхлестывал на улицу.

Пищи она наготовила сразу много, и кушали они, не соблюдая времени, целый день. Глядя, как сын уплетает все, что ему подложено, старуха и жалела его и радовалась — значит, не зря дожидала до этого дня. И сидела она за столом вольно, не так, как у Гришки, никто ей в рот не досматривал. И спать было удобно на кровати, сеник набили для нее свежий, от него пахло весело, полем. Ночью Славик храпел и стонал, но и это радовало старуху — значит, живой.

На другой день пришел навестить их замначальника по режиму. Старухе он понравился: веселый с лица, чисто одетый, худой; он прямо с порога громко сказал:

— С приездом, мамаша. Будем знакомы — капитан Рудаков.

И протянул ей руку. Здраваться за руку старуха еще не научилась за свои семьдесят четыре года, но сейчас постаралась сделать это правильно.

Капитан сел на стул, осмотрел комнату, словно видел ее впервые, и спросил:

— Жалоб на условия свидания нет?

От волнения слух старухи обострился, она разобрала голос капитана и ответила, кланяясь:

— Всем я довольная, повидалась с сыном перед смертью.

Славка сидел на кровати не подымаясь, а старуха стояла.

— Вам, мамаша, помирать еще рано, — сказал капитан. — Вам еще сына надо доводить до кондиции. У тебя какой срок?

— Пять лет, — сказал Славка.

— Двести шестая?

Славка кивнул.

— Ну вот, мамаша, — сказал капитан, — был у вас, очевидно, брачок в воспитании сынка, разбаловали его, и нам, государству, приходится за это расплачиваться. Да вы садитесь, мамаша, тянуться вам передо мной совершенно не надо.

Старуха села на кровать.

— Как жизнь-то в деревне? Как настроение людей? Боевое?

— В поселке мы живем, — сказала старуха.

— Поросенок небось есть? Огород? Картошечка своя, капуста?

Она кивнула.

— Да, — сказал капитан, — три года я не был в отпуске. . . Деньги сыну привезли, мамаша? — внезапно спросил он старуху в упор.

Она ответила, как учил ее сын:

— Все извела. Только на обратный билет оставшись.

— Покажите.

Она показала: три десятки лежали в пустой металлической коробке из-под чая.

— Имели место случаи, — сказал капитан, — когда приезжающие для свидания родственники привозили с собой деньги и передавали их заключенным. В результате — возможность пьянства и карточной игры в зоне.

Все это капитан проговорил в иной интонации, чем говорил до сих пор. Интонации его изменялись легко, как бы механически.

— Сын ваш, — сказал капитан, — ведет себя в данное время хорошо, норму выработки выполняет и в нарушениях режима колонии замечаний не имеет.

Капитан поднялся.

— Вот, мамаша, сынка вашего мы подремонтируем морально, укрепим его уважение к правопорядку, и тогда получайте его себе на здоровье. Пусть тешит вашу

старость... А теперь отдыхайте, мамаша, беседуйте с сыном, не буду вам мешать.

Он вышел, снова пожав неумелую руку старухи.

Она хотела сказать Славке, что надо бы попросить начальника похлопотать насчет ее пензии, чтобы у нее была своя копейка, но лицо сына после ухода капитана стало вдруг напряженным, и мать не решилась заговорить с ним.

Она только спросила:

— Чего он говорил-то? Будет тебе полегчание, Славик?

Сын ничего не ответил. Он перепрятал деньги, которые она ему привезла — сорок рублей, — из кулька с пшеном в макароны, свернув каждую пятерку трубочкой и запихнув их по одной в макаронину.

— Без меня не варите, мама, — велел он. — Я их пометил.

С конвойными солдатами старуха поладила легко, они ей зла не чинили. По ее представлениям, это были такие же деревенские парни, как и ее Славка, только судьба их сложилась удачливее — не он их караулил, а они — его. Могли б, может, и они напиться, думала старуха, и тоже б нашли, кому набить морду и получить срок, да бог уберег их. С богом у старухи были затейливые отношения: она верила в него не во всякую минуту, а для объяснения крайних случаев своей трудной жизни.

Солдатам же, этим конвойным, обывкшим в своей службе, появление старухи в вохровской казенной избе, где было не продохнуть от тяжелого холостяцкого духа, от круглосуточного уставного распорядка, — появление этой старухи словно бы напомнило солдатам, что где-то в дальних деревнях и поселках у них тоже имеются бабки, матери, тетки, схожие с этой старухой. Она и разговаривала с ними давно позабытыми и никогда здесь не употребляемыми словами. Обращаясь к ним, она называла их сынками, детками, и, отвечая ей, они говорили: мамаша, бабуся, и эти непривычные, домашние слова сперва с трудом проталкивались сквозь их служебное горло.

На третий день пребывания в колонии старуха отдала сержанту Бобылеву привезенные два пол-литра. Ничего ей от конвоя не надо было, а хотела она порадовать их гостинцем к празднику.

Было это так.

Разувшись после ночного дежурства и протянув за-калевшие от сырости ноги к горячей плите, Бобылев дремал. Еще не развиднелось, однако старуха уже подхвати-лась с постели и тотчас стала прикидывать, что бы ей еще сделать для пользы сына. Славка спал. Она попра-вила на нем сползшее на пол одеяло, утерла ему щеку, залитую ночной слюной — он не проснулся, — и вышла на кухню.

Увидев здесь дремлющего Бобылева, она воротилась назад в комнату, вынула припрятанные две бутылки и сложила их в свой фартук.

В полутемной кухне она приблизилась к Бобылеву и дотронулась до его плеча.

Он обернулся моментом, словно бы и не дремал.

— Чего тебе, бабка?

Старуха развернула перед ним фартук.

— За это знаешь что полагается? — строго спросил Бобылев.

Она не расслышала.

Наклонясь к ней, он крикнул:

— За это дело знаешь что дают?

— По два восемьдесят семь отдала, — сказала ста-руха. — Или у вас дороже?

— У нас дороже! — сказал Бобылев. — У нас за та-кое дело срока дают. Вот составлю сейчас акт на тебя, и будешь ты, бабка, сидеть от звонка до звонка. На пару со своим Славкой... Да не держи ты вино в подоле — уронишь. Поставь вон в шкафчик.

Нисколько старуха не оробела. Здесь, в колонии, она уже ничего не боялась.

— Это можно, сынок. Со Славиком — я не против.

— Неужто согласилась бы, бабушка? — удивился Бо-былев.

— А чего? И у вас люди живут. Ты вон — живешь?

— Так я же, бабка, вольный.

— Нету твоей воли, — сказала старуха. — Вольный бывает только малый ребенок: захотел — в пеленки нафу-рил... А ты, солдат, на службе.

— Не в заключении все ж таки, — обиделся Бобы-лев. — Отслужу — у меня паспорт чистый, езжай на все четыре стороны.

Хотела старуха сказать ему, что в деревнях люди и совсем без паспортов живут и не в том состоит человек, какой у него на руках документ, но ничего она говорить Бобылеву не стала, чтобы он окончательно не рассердился на ее Славку.

А сержант встал, обул свои нагретые у плиты сапоги и вынес такое решение:

— Для первого раза, бабка, не буду я составлять на тебя акт, по причине явки с повинной. Ограничиваюсь словесным внушением. Вино отымаю. Живи, бабушка, дальше согласно установленного режима.

И она стала жить дальше.

Шло время, приближался день отъезда. Старуха совсем перестала спать. Ей казалось, что таким способом она наращивает срок своего пребывания рядом с сыном.

Свободнее всего было вечером, когда колония затихала. Иногда только взлаивали сторожевые псы, но старуха не думала, что они сторожевые, — собаки брехали, как в поселке.

Вечером она была вдвоем со Славиком. Трезвый и ласковый, он был тут на глазах у нее. За всю ее долгую жизнь они никогда не были так помногу вдвоем. Когда же она вспоминала, что придется вскорости возвращаться в поселок, в Гришкин недобрый дом, душа ее замирала в тоске и одиночестве.

Славке она не рассказывала подробностей своего унижения перед невесткой — он и сам догадался. Всмотревшись в ее худобу, в древнее ее тряпье, знакомое уже много лет, увидев, что она ест пищу так же жадно, как и он, Славка сказал:

— Несладко вам, маманя, живется у моего брата Гришки.

— Да что ты... Да что ты... — всполошилась старуха.

— Ладно. Встренусь с ним, посчитаемся.

— Ой, Славик, не надо, — сказала старуха. — Опять сядешь в тюрьму. Да и невиноватый он, это все Тайка, она уж и прыщами пошла от злости, всю морду ей закидало, он и не спит с ней, брезговает.

— А послал бы он ее... — сказал Славик, и нарушил свое обязательство, данное в честь праздника.

В последнюю ночь перед старухиным отъездом оба расстроились. Не спали вовсе. Славка плакал, просил прощения у матери, обещался аккуратно высылать ей деньги, говорил, что споловинит срок хорошим поведением.

— Дождитесь меня, мама, — просил он, размазывая слезы по своему тощему серому лицу. — Не помирайте. Очень я вас прошу. Нету у меня никого на свете, кроме вас.

— Не помру, сынок. Дождусь, — посулила старуха.

Она разложила ему в кульки оставшиеся харчи, перекрестила его на прощанье, поклонилась дежурному конвою и уехала к вечеру.

За горем своим старуха и не заметила обратного пути. Ехала она теперь налегке — все оставила сыну. И сердце свое тоже кинула там — ехала пустая. В вагоне, внизу под ее полкой, опять было много пассажиров, они смеялись в дороге, шумели, играли песни; мужики бегали с чайниками за пивом, за кипятком; ели беспрестанно то одни, то другие. Старуха не сползала со своей полки. До того она долго лежала, что какой-то молодой бородатый турист даже крикнул на все купе:

— Братцы! А ведь старушка-то наша ни разу не спустилась в туалет! Может, она дуба дала?

И встав на нижнюю скамью, он заглянул к ней наверх.

— Бабушка, ты живая?

Она не откликнулась, только открыла глаза. И заглянув в них, турист сполз вниз.

В поселок старуха воротилась среди дня. Дверь Гришкиного дома была на запоре. Пошарив под крыльцом ключ и не найдя его, старуха села на свой порожний чемодан дожидаться. По двору бродили два индюка, она налила им воды в корытце. На огороде картошка была уже выкопана, ботва валялась по всей земле. Старуха собрала ее в кучу и стала перетаскивать за ограду в лесок — там в яме перепрела и прошлогодняя.

Первой пришла домой Таисия. Она не поздоровалась со свекровью; вошла в дом, растопила плиту, поставила на огонь чайник. Старуха все возилась с ботвой, покуда не показался в ограде сын. Уже выпачканная в земле,

держа охапку мокрой зелени, она выпрямилась сколько могла навстречу ему и робко сказала:

— Приехала я, Гришуня.

— Вижу.

— Велел Славик кланяться, поклон передавал брату Григорию и супруге его Таисии Яковлевне. . .

— Да пошел он со своими поклонами, — сказал сын. — Прохиндейская морда!

Потом Гриша пил чай вместе с Таей. Старуху не звали, она сама пришла, допила, что осталось после них

СОБАКИ



этим псом я познакомился в 1959 году. Подлинное его имя — Султан. Позднее я придумал ему псевдоним — Мухтар.

Вот как состоялось наше знакомство.

Султан стоял передо мной, застекленный в стенной нише, его длинная, густая, но тусклая шерсть уже была тратачена временем — уборщицы музея изредка выбивали из нее пыль. На двух стендах по бокам ниши рассказана была трудовая биография пса. Пожалуй, легче и привычней всего мы укладываем жизнь работяги в цифрах; на стендах и были выведены эти внушительные цифры, не привлекавшие моего пристального внимания: за десять лет своей работы в ленинградском уголовном розыске Султан участвовал в пяти тысячах операций, задержал более тысячи преступников, нашел похищенного имущества на общую сумму в три миллиона рублей...

Из всего этого не складывался для меня характер пса, его особая индивидуальность и личная судьба. Эти стендовые цифры как бы принадлежали все тому же застекленному пыльному чучелу — они были так же мертвы для меня. Помимо них на стендах, при помощи хитрой системы тумблеров, зажигались десятки маленьких лампочек, освещавших поэтапно картинное изображение одного из наиболее знаменитых преступлений, раскрытых Султаном.

Испытывая острую и стойкую неприязнь к детективной литературе, я остался равнодушным и к этой посред-

ственной живописи. Однако перед самым моим уходом один из работников музея рассказал мне походя драматический финал жизни Султана — его бесприютную тяжкую старость. Вот тогда-то и дрогнуло мое сердце. В судьбе этого пса я увидел нечто человеческое.

Быть может, кому-нибудь подобная точка зрения и представится порочной, — кажется, она даже имеет специально научное наименование — антропоморфистская, но мне решительно безразлично, к какой графе отнесет наука мою любовь и уважение к собакам. Я не оговорился, употребив слово «уважение». Ленинградский биолог профессор В. Я. Александров сказал мне как-то, что, слишком легко и просто рассуждая о поведении животных, мы зачастую проявляем некое Ното-чванство: нам чудится, что поскольку человек — высшее, сложно мыслящее существо, то психика собаки уже совершенно элементарна, ограничена считанным количеством условных рефлексов, лишена какой бы то ни было загадочности и доподлинно нам понятна.

Лично же мне многое непонятно в поведении животных, а к явлениям сложным и неясным для меня я привык относиться с уважением.

Казалось бы, увидев по-иному жизнь этого пса, я должен был еще и еще раз стремиться навестить его в Ленинградском криминалистическом музее. Однако чувство Султана уже мешало моему разыгравшемуся воображению, и я более ни разу не испытывал желания взглянуть на него.

Идя по его давнему следу, я прежде всего разыскал бывшего проводника Султана — отставного майора Бушмина. К слову сказать, Петр Серапионович Бушмин — ныне покойный — ничем не напоминал младшего лейтенанта Глазычева, которого я изобразил в моей повести и в сценарии фильма «Ко мне, Мухтар!». Ничем, кроме одного свойства: любви к своей собаке.

Поначалу мне казалось, что Бушмин несколько преувеличивает ум, понятливость псов. И однажды, когда я в очередной раз мягко усомнился в этом, он насупился, обернулся к углу моей комнаты, где на подстилке дремал мой добрейший кучерявый эрдель, и спросил:

— Как зовут вашего пса?

- Тришка.
- Любит он вас?
- По-моему, любит.

— А вот вы попробуйте сделать так. Каждое утро, сидя с супругой за столом, говорите ей: «Тришку надо продать. Продать надо Тришку». А она, конечно, ответит: «Ни в коем случае!» Дней пять побеседуйте так, и ваш пес станет относиться к вам совершенно иначе — он отлично поймет, что вы для него предатель.

Я не стал производить этот рискованный эксперимент: дружба с моим псом была для меня намного дороже, чем установление даже научной истины.

Задолго до начала съемок нам уже было ясно, что роль пса Мухтара не сможет исполнять одна собака: действие в сценарии происходит в течение семи-восьми лет, сперва Мухтар — молодой полторагодовалый пес, а к концу фильма ему уже лет десять — возраст это солидный, в переводе на людские параметры — почти пенсионный. Значит, сперва на экране должна жить молодая собака, а затем, на глазах у зрителя, она постепенно стареет. Для артиста-человека это задача не слишком сложная: его соответственно гримируют, надевают седой или лысый парик, артист изменяет свою походку, голос, — в общем, повторяю, даже посредственный актер с подобной задачей посильно справляется.

Но ведь пса не загримируешь. Ему не наденешь парик. Его не заставишь ходить старческим шагом. И толщину на него не напаялишь, чтобы изменить его фигуру, сделав ее более матерущей.

Было, правда, и еще одно дополнительное обстоятельство, из-за которого следовало загодя думать о «запасных» псах. Дело в том, что на съемочной площадке зачастую царит такой кавардак, такая сумасшедшая нервозность, что даже люди переносят все это с трудом, а уж дисциплинированным собакам — совсем не вмоготу, они могут взбеситься от ярости на кинематографические беспорядки.

Вот почему было решено, что нашей съемочной группе понадобятся три пса разного возраста, одинаковой чепрачной масти. По мере необходимости можно будет подменивать этих собак на съемках, и у зрителей создаст-

ся достоверное впечатление, что годы идут, Мухтар дряхлеет.

Однако в первый же день съемок оказалось, что мы ошиблись в расчетах.

Двух служебно-розыскных собак нам уделило на все время работы министерство охраны общественного порядка. Это были взрослые, злые, хорошо обученные своему делу псы из московского милицейского питомника. Третью собаку, самую молодую, киностудия «Мосфильм» купила по объявлению. Она и стала той единственной, которая отзывалась на кличку Мухтар; купили ее месяца за четыре до начала съемок, поселили на территории студии и, кормя трижды в день, приучали ее к новому имени — на самом-то деле при рождении бывший хозяин нарек этого пса Геком.

Нрав у него был еще полущенячий, веселый, малопо-слушный, весь окружающий мир лежал у его нелепых толстых лап и принадлежал лично ему. В группе его любили, но особых актерских талантов, кроме искренней юной непосредственности, у Мухтара не обнаружилось. И снимали его только в тех эпизодах, где следовало подчеркнуть молодость пса, не более того.

Забегая вперед, с грустью скажу, что дальнейшая жизнь этого Мухтара сложилась невесело. После окончания съемок он оказался ненужным «Мосфильму». А на балансе студии висела сумма, уплаченная при его покупке. И Мухтара продали во второй раз. Он попал в семью, где вскорости тоже оказался лишним, — супруги разводились. И Мухтара продали в третий раз... Когда тебя, даже если ты собака, трижды перепродают из рук в руки на протяжении трех лет — радости мало. Есть от чего озлобиться на человечество!.. И Мухтар стал кусаться, зачастую бессмысленно, кидаясь уже и на тех людей, которые совершенно неповинны в его печальной судьбе. В общем-то, картина знакомая...

Первый же съемочный день опрокинул все точные расчеты директора группы, страстно им составленные и много раз утвержденные. Случилось нечто, никем не предвиденное: производственный план смяли собаки.

Фильм был запущен в работу в январе. Стояла в ту пору лютая стужа. Группа выехала в Подмосковье, рас-

положилась в селе — здесь в окрестностях планировалось отснять зимнюю натуру. По сюжету сценария зимние эпизоды — в конце фильма, с конца, задом наперед, он и снимался. В кино это бывает нередко, важно ведь не упустить соответствующую погоду.

По плану на первый съемочный день пришелся тот эпизод, где служебно-розыскной пес Мухтар со своим проводником Глазычевым идут по следу бандита, убившего колхозного сторожа. В снежном поле вьюга, метель, ночь, следы бандита переметает поземка. Именно это и следовало запечатлеть на пленке.

Далеко не все зрители знают, что метель на киноэкране, так сказать, искусственная — ее делают на съемках при помощи ветродуя. А ветродуй — штукавина на редкость, до омерзения, шумная. Это мощный мотор, приводящий в неистовое движение огромный самолетный пропеллер. Установленный в поле, в глубоком снегу, ветродуй запускается; с ревом вертится пропеллер, вздымая далеко вокруг тучи снежной пыли. Это и есть кинематографическая метель. Ее и снимают кинооператоры, оставая, конечно, за кадром ревущую адскую машину.

Все и было сделано, как положено: долго и кропотливо устанавливали осветительную аппаратуру — на свирепом морозе это не так-то просто, — режиссер и оператор, окованные до синевы и переругиваясь осипшими головами, выбрали точки съемок, моторист запустил ветродуй — вьюга поднялась знатная! — и вот тут-то получился чудовищный конфуз. Служебно-розыскной пес Урал, бесстрашный зверь, не раздумывая кидающийся на человека, стреляющего из пистолета в упор, Урал, который, не моргнув глазом, валил преступников, размахивающих ножом, этот самый Урал — грозная помесь волка и овчарки, — как только его подвели к ревущему ветродую, жалобно заскулил и, поджав хвост, улепетнул подальше. Бедняга милицейский пес разные ужасы видел и слышал на своем собачьем веку, ко многому его приучили в спецшколе угрозыска, но ветродуя там не проходили.

Пробовали вывести в поле вторую служебно-розыскную собаку — и снова тот же бесславный финал: она так же позорно оробела и отказалась работать. Очевидно, все-таки в этих специальных школах уровень воспи-

тательной работы среди собак недостаточно высок, имеется и там слабинка!

К ужасу всей группы, и в особенности ее директора, съемочный день был начисто сорван. А этот день влетает по смете во много сотен рублей. Директор попробовал было намекнуть, что метель вовсе не обязательна, но режиссер посмотрел на него такими мерцающими глазами, какие бывают, говорят, у тигра перед решающим прыжком к горлу своей жертвы.

Драматическое уныние царило в тот вечер в избе, где расположилось руководство съемочной группы. Даже Юрий Владимирович Никулин, один из самых прелестных и неунывающих людей на земле, сколько ни пытался развеселить своих товарищей по несчастью, ничего поделаться не смог. Директор бормотал, что этих сволочных собак он завтра же снимет с питания и будет жаловаться на них министру, а режиссер с хрустом заламывал свои нервные пальцы. И тут кто-то вспомнил, что несколько месяцев назад на киностудию «Мосфильм» пришло письмо, над которым в свое время незлобиво посмеялись студийные редакторы. Письмо пришло из Киева от сантехника Михаила Длигача. Страстный собаковод-любитель, Длигач писал, что у него есть умнейший пес Дейк; Длигач сообщал также, что, прочитав в «Новом мире» повесть «Мухтар», он сочинил по этой повести киносценарий и предлагает студии себя как автора и дрессировщика, а своего Дейка — как исполнителя главной роли. К письму была приложена фотография красавца пса, увешанного наградными медалями. Сценарий Длигача оказался неумелым, на письмо ему никто не ответил.

Нынче же, очутившись в бедственном положении, режиссер решил воспользоваться подвернувшимся последним шансом. На другой же день сантехник Длигач со своим Дейком были доставлены самолетом из Киева в окоченевшее от мороза подмосковное село.

Дейк плевал на ветродуй. Пес и ухом не повел в его ревущую сторону. По-видимому, это объяснялось двумя обстоятельствами: во-первых, он вместе со своим хозяином не раз бывал на аэродромах, пользуясь воздушным транспортом; во-вторых же — и это, пожалуй, главное, — я не встречал пса, у которого было бы так развито чув-

ство собственного достоинства, как у этого Дейка. Даже с Длигачом он держался на равных. Приказания хозяина он выполнял неукоснительно, однако без всякого собачьего холуйства, словно бы отдавая себе отчет, что Длигач в некоторых вопросах старше и опытнее. Никакой излишней торопливости, угодливого заглядывания в глаза хозяина у Дейка не было. Он выслушивал поданную команду и исполнял ее точно и разумно, ибо эта команда усваивалась Дейком как нечто совершенно необходимое им обоим в данное мгновение, и никакие объективные причины и посторонние обстоятельства не могли помешать псу исполнить его служебный долг. (Кстати, если подобное отношение к своей работе и своему долгу можно выработать в себе только с помощью условных рефлексов, то я лично очень сожалею, что мои условные рефлексy худо развились именно в этом направлении.)

Из четырех собак, снимавшихся в роли Мухтара, самым талантливым артистом оказался Дейк. Он даже любил самый процесс съемок; стоило режиссеру крикнуть в микрофон: «Внимание. Мотор. Начали!» — как Дейк кидался к съемочной площадке, стараясь попасть в ближнюю точку перед кинокамерой. Его совершенно очевидно не удовлетворяли массовки и мелкие эпизоды, он ощущал себя центральным героем фильма и обожал крупные планы.

При всем том, была одна главная трудность, преодолеть которую приходилось все девять съемочных месяцев.

Четыре собаки, включая и одареннейшего Дейка, совершенно ни во что не ставили режиссера, оператора и артистов, не говоря уж о директоре группы, должность которого абсолютно не фиксировалась собачьим разумением.

Псы признавали только своего хозяина. Они готовы были — правда, с некоторым усилием над собой — терпеть артистов рядом, если те не слишком нарушали привычные для псов нормы поведения. На любое проявление амикошонства, актерской развязности, на желание болтливо сблизиться псы отвечали угрожающим рычанием. А уж какое бы то ни было приказание, отданное артистом, пес встречал таким ледяным презрением, что артист неловко смешивался и старался превратить все это в шутку.

Но ведь на экране Мухтар принадлежит Глазычеву, беззаветно любит его, слушается малейшего его слова. А Глазычева играет Юрий Никулин. А Дейку, Уралу и двум другим собакам Никулин напрочь безразличен. Безразличен — в лучшем случае, а то и попросту враждебен, поскольку он для них «чужой».

Еще в самом начале работы, когда Дейк был только-только утвержден в роли Мухтара, Длигач тотчас же обратился к Никулину с просьбой:

— Юрий Владимирович, разрешите мне называть вас Юрой.

Никулин удивленно посмотрел на него.

— Видите ли, — пояснил Длигач, — мой Дейк любит короткие имена: Юрий Владимирович — это для него слишком длинно. Я буду подавать ему команду: «Иди к Юре!» или «Иди с Юрой!». А каждый раз говорить ему: «Иди к Юрию Владимировичу» или «Иди с Юрием Владимировичем» — это было бы для него слишком официально и утомительно.

Вот почему, если бы зрители фильма слышали черновую фонограмму съемок, то они несказанно поразились бы количеству «лишних» реплик, лишних потому, что реплики эти подавались не героями фильма, а Длигачом и проводником милицейских собак. Псы ведь исполняли лишь то, что им велели их хозяева.

Были на съемках случаи крайне рискованные. Я говорю о тех эпизодах, где по ходу сюжета следовало натравливать злобного пса на артистов. По грозной команде: «Фасс, Дейк!» или «Фасс, Урал!» — собака спускается хозяином с поводка и в ярости мчится на заклятого врага. Как бы ни был умен пес, невозможно, подав эту страшную команду, тут же шепнуть ему, расшвирипевшему, на ухо: «Пожалуйста, делай все по-нарочному!..» То есть шепнуть-то, конечно, можно, однако пес в это мгновение знает и чувствует лишь одно: ему надо оградить своего любимого хозяина от смертельной опасности, оградить даже ценой собственной жизни! И всю свою мощь, отвагу и злобу пес вкладывает в этот рывок по команде «фасс!».

И вот представьте себе. На заслуженную артистку Аллу Дмитриевну Ларионову надо натравить Дейка. Этого требует сюжет эпизода. Мало того. При съемках лю-

бого фильма оператор непременно делает несколько дублей — один и тот же эпизод снимается не единожды, а три-четыре раза, порой и гораздо больше. Значит, разъяренный Дейк по команде «фас!» кинется на Ларионову, рыча повалит ее, станет рвать, и это надо повторять и повторять, покуда режиссер и оператор не сочтут, что дубль получился достаточно реалистично.

Сперва решили, что в этом эпизоде будет сниматься не Алла Дмитриевна, а ее дублерша. Строжайшие меры предосторожности были приняты: тело артистки под шубой обмотали пластами плотного войлока — прокусить этот защитный слой пес не смог бы. Длигач, стоявший поблизости, напряженно следил за каждым движением своего Дейка, готовый в любую долю секунды броситься в кадр и мгновенно оторвать пса от артистки. И все-таки, и все-таки... страшновато! Я вполне понимал и искренне жалел дублершу, когда увидел после съемок ее бледное, осунувшееся и все еще испуганное лицо.

Однако на другой день, когда мы просматривали отснятый и отпечатанный материал, Алла Дмитриевна Ларионова сказала режиссеру:

— Мне не нравятся эти кадры с моей дублершей. Я очень прошу вас переснять их с моим участием: пусть Длигач спускает Дейка по команде «фас!» на меня — я не боюсь.

Долго упрашивать режиссера не пришлось: наличие дублеров в фильме всегда несколько противояснственно, в особенности если эпизоды с их участием должны выглядеть хоть сколько-нибудь психологически значительными.

И вот все пошло сызнова. Однако теперь Длигач нервничал еще более — он уже устал от напряжения. Вся группа снова взволнованно следила за происходящим на съемочной площадке. А происходило вот что. Как только Дейк, по велению хозяина, огромными скачками кидался навстречу Ларионовой и, с разбегу опрокидывая ее на снег, впивался своими литыми клыками в ее шубу, нервы Длигача окончательно сдавали — он бросался в кадр, хватал пса за ошейник, тащил на себя, вопя истерическим голосом:

— Фу, Дейк!.. Фу!..

И тут уже начинал не на шутку раздражаться режиссер: дубль шел за дублем, а Длигач так поспешно

врывался в кадр, что должного количества метров полезной пленки никак не получалось.

Тогда режиссер объявил десятиминутный перерыв и, пошептавшись о чем-то с рабочими, обслуживающими съемочную площадку, снова крикнул в микрофон:

— Внимание. Мотор. Начали! . .

Все шло своим чередом. В пятый раз кинулся Дейк на Ларионову, и в пятый же раз Длигач рванулся было к своему псу, но теперь крепкие руки рабочих обхватили его сзади, с боков и не выпускали до тех пор, покуда режиссер с оператором не сочли, что реализм этого эпизода достиг апогея.

Именно этот дубль и вошел в фильм. Мужество Ларионовой было вознаграждено восхищением группы; к счастью, артистка несколько не пострадала — Дейк сжимал свои мощные челюсти именно там, где был наслан под шубой войлок.

Все те ответственные места в фильме, в которых пес должен был «играть» как артист, исполнял Дейк. Разумеется, ему помогали настоящие артисты, и в первую очередь Юрий Владимирович Никулин. Драма пса Мухтара, его трагическая старость никого бы из зрителей не тронула, если бы рядом с ним и даже вместо него душевно не переживал бы, не страдал бы его проводник Глазачев — Никулин.

Так или иначе, однако к концу фильма Дейк должен был выглядеть на экране особенно несчастным и больным — этого требовала судьба его героя Мухтара. А как прикажете сделать здорового, крепкого пса несчастным и одряхлевшим после тяжелого ранения? . .

Прежде всего было решено, что Дейку надлежит прихрамывать. Для этого к его задней лапе подвязывали резинкой кусочек твердой проволоки — она легонько покалывала ногу при ходьбе, это было не больно, но достаточно неудобно, как выражаются врачи — дискомфортно. Затем морду пса обмотали бинтами — Мухтар ведь был ранен в голову. Следовало еще как-то одряхлить и всю наружность собаки, сделать ее старчески неряшливой. Полили Дейка водой из Дона — съемки летней природы происходили под Ростовом, — шерсть пса слиплась, но

жара в те июльские дни стояла неистовая, Дейк мгновенно обсыхал и молодец — неряшливость не получалась.

Как всегда, ранее других нашелся Юрий Никулин. — Братцы! — радостно вскрикнул он. — Давайте обмажем Дейка вишневым сиропом!..

Пса полили сиропом, шерсть его неаккуратно свалилась, накрепко слиплась, и теперь уже Дейк выглядел совершенно обездоленным: забинтованная в эту адовую жару голова, покалывание проволокой при каждом шаге и омерзительное для опрятной собаки нерящество — все это делало его искренне несчастным.

В одном же смысле, чрезвычайно для фильма важном, нам просто повезло.

Не думая о том, насколько сложно будет изобразить это на экране, я сочинил в сценарии эпизод, где, покалеченный пулей, инвалид Мухтар с трудом, повизгивая от собственного бессилия, сползает с лестницы. Сочинить-то я это сочинил, а вот как убедить собаку сыграть подобную штуковину?!

И тут нам повезло. Оказалось, что Дейк в щенячьем возрасте упал как-то с высокого подоконника и изрядно расшибся при этом. К счастью для нас, у него и сохранилась с тех давних времен боязнь высоты. Воспользоваться этим было уже просто. Очутившись на узкой площадке круто и высоко поднятой лестницы — туда его для съемок внесли, — Дейк оробело поглядывал вниз, как самоубийца в пропасть. Внизу же стоял его хозяин и жестко требовал:

— Ко мне, Дейк! Ко мне!..

Жалобно поскуливая и припадая брюхом к ступеням, пес медленно и неуверенно переставлял лапы, сползая по лестнице к ногам... Никулина. А хозяин стоял сбоку, вне кадра.

Месяца за два до окончания работы над фильмом, когда группа уже вернулась из длительной ростовской экспедиции в Москву — предстояли лишь павильонные съемки на киностудии, — Никулин предложил Длигачу:

— Переезжай, Миша, вместе с Дейком ко мне домой. Зачем тебе мыкаться по гостиницам, да и с псом я подружусь еще больше...

Работая рядом с Дейком, изображая его любимого проводника, Никулин, естественно, привязывался к

собаке все искреннее, искренне же полагая, что и собака становится его верным душевным другом.

Наконец-то съемки фильма закончились. Настал грустный день разлуки. Длигач с Дейком уже давно жили в квартире Юрия Владимировича. Он поехал провожать их на Киевский вокзал.

Прохаживаясь по перрону вдоль поезда, Никулин без гордости сказал:

— А все-таки, Миша, Дейк полюбил меня больше, чем тебя!

— Почему ты так думаешь? — спросил Длигач.

— Да потому что каждое утро, в восемь часов, Дейк подходил к моей кровати, тыкался в меня носом и просил, чтобы я вышел с ним погулять. Меня просил, а не тебя!

— Видишь ли, — сказал Длигач, — каждое утро, без пяти восемь, он пробовал будить меня, но я говорил ему: «Иди к Юре!», после этого он и шел к тебе. . .

Автор сценария не принимает близкого участия в съемках своего фильма. Я ездил с группой в экспедицию под Ростов, бывал десятки раз в павильонах «Мосфильма», всегда ощущая себя некоторой обузой для группы. Однако меня неизменно влекло к двум артистам: к Юрию Владимировичу Никулину, которого я глубоко и нежно полюбил, и к Дейку, для которого я так и остался чужим и ненужным.

ВЫСТРЕЛ



В ту ночь дежурил по райотделу капитан Крупилин. Он заступил на дежурство с утра, и к тому времени, когда я заглянул в райотдел, его мясистое лицо уже оплывало от сонливости. Впрочем, со сном у Крупилина был какой-то непорядок: он придремывал внезапно, по многу раз в сутки, при самых неподходящих обстоятельствах. Еще до знакомства с ним мне рассказывали, был случай — Крупилин заснул, допрашивая преступника в следственной камере; заметив, что капитан прикрыл глаза и ровно, покойно дышит, преступник вытащил из папки протоколы допросов, сжевал их и съел.

Возможно, сонливость Крупилина объяснялась какой-нибудь болезнью, хотя — не думаю. По-моему, он просто был фантастически ленив и изрядно ограничен, несмотря на свои четыре курса заочного юридического факультета. Бесчисленно в году его отпускали из нашего поселкового райотдела в город на консультации, на зачетные сессии, однако мало что изменилось в нем за пять лет, кроме того, что в его матрикule появились подписи профессоров, доцентов и ассистентов. Постепенно он становился тем полуобразованным человеком, которые имеются в различных областях жизни. Именно о них кто-то верно заметил, что у них есть высшее образование, но нет среднего. . .

А зашел я в тот вечер в дежурку райотдела без всякой цели. Прогуливаясь перед сном, я частенько заглядывал сюда — тут порой фокусировалась невидимая жизнь

поселка; она была здесь густой, неразбавленной и зачастую горькой. Иногда мне даже казалось, что в дежурной комнате милиции я вижу людей как бы в микроскоп. При этом, естественно, терялась панорамность наблюдения, однако приближались к моим глазам отдельные подробности людских характеров и страстей, словно бы размазанные на предметном стекле и ярко окрашенные для лучшей видимости.

— Добрый вечер, товарищ капитан, — сказал я.

— Привет, — ответил Крупилин.

Он писал что-то, сидя за столом, и, здороваясь, приподнял лишь до половины свои пухлые веки Вия. Лицо его обычно ничего не выражало, кроме скучной служебной озабоченности, но сегодня я отметил, что движения его были не столь уж замедленными.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

Кивнув мне, он снял телефонную трубку и набрал номер.

— Больница? Крупилин. Вторично беспокою вас, Вера Ивановна. Как там пострадавший? Ясно. Думаете, выживет? Мне бы к утру иметь возможность допросить его... Я понимаю, Вера Ивановна. А дробь крупная? Сколько штук? Случайно не знаете, какой номер?..

Покуда капитан разговаривал с главврачом поселковой больницы, старшина Буданов успел рассказать мне, что час назад выстрелом из охотничьего ружья ранен в живот каменщик Зябликовского совхоза, расположенного в пяти километрах от нашего поселка. Личность стрелявшего установлена — совхозный плотник Дунаев. Еще не задержан. На место происшествия выехал лейтенант Головко.

Старшина сообщил мне все это кратко и степенно; пожилой, мешковатый, он был больше похож на деревенского мужика, нежели на милиционера. Однако отсутствие выправки восполнялось у Буданова крестьянской рассудительностью и нелегким жизненным опытом.

Крупилин положил трубку, пописал что-то в тетрадке, затем стронул со стула свое плотное тело и сказал старшине:

— Пропал куда-то Головко, будь он неладен... Давай, Буданов, выводим машину, поедим в Зябликово.

Я попросился с ними.

В милицейском газике Крупилин сел в кабину рядом со старшиной, а я полез в зарешеченный кузов. От них меня отделяла металлическая сетка. Пол в кузове был выстлан железным листом.

Мне уже не однажды приходилось ездить в подобных милицейских машинах, и всегда меня одолевало при этом двойственное чувство: острая жалость к людям, попадающим сюда бесповоротно, и трусливое счастье оттого, что лично я могу в любую секунду выйти отсюда.

Сквозь маленькое зарешеченное оконце в боковой стенке кузова я видел осколок луны — она шла на убыль, — решетка дробила ее на еще более мелкие кусочки. Мир сузился вокруг меня до таких ничтожных размеров, что сам я казался себе в эти краткие минуты пути бесполезно огромным.

По зловонию, проникшему в машину, я понял, что мы приближаемся к месту назначения — Зябликовский совхоз был звероводческим, здесь разводили норок, черно-бурых лисиц и песцов, зверей смрадных до невозможности. Нынче же была у них особо пахучая пора весеннего гона, самцов подсаживали в клетки к нервным от желания самкам, и женщины-звероводы, волнуясь, ожидали, «схватится ли ко́итус», — от этого зависела их сдельная зарплата.

Машина резко затормозила. На дороге, в свете фар, возник с поднятой рукой лейтенант Головко. Доложив что-то высунувшемуся в окошко Крупилину, он полез в кузов. Мы проехали еще с минуту, затем втроем — Буданов остался в машине за рулем — сошли на дорогу.

Головко повел нас в сторону от дороги, к длинному одноэтажному барaku, темневшему на пригорке.

Я старался делать то, что делали мои спутники: они шагали осторожно, без лишнего шума, и переговаривались короткими тихими словами. Из этих слов я понял, что в бараке на пригорке живет плотник Дунаев. Сюда он и прибежал час назад, после того как выстрелил в каменщика. Лейтенант Головко следил все это время за дверью — потому и не мог позвонить в райотдел, — Дунаев из барака не выходил.

— С ружьем прибежал? — шепотом спросил Крупилин.

— С ружьем, — ответил Головко.

До барака оставалось шагов тридцать. Мы поравнялись с кучей строительного хлама. Крупилин наклонился, подобрал длинный, метра с два, обрезок доски и тихо скомандовал нам:

— Запаситесь и вы: вскинет ружье — выйдем из рук.

Я нащупал круглый тяжелый дрын, вероятно прожину для забора. Волоча ее по земле, я шел позади Головки, а возглавлял нашу группу Крупилин. Ломоть луны висел над самым бараком, скудно освещая входную дверь, она была чуть приоткрыта внутрь. Мы ступали все тише и осторожней. Когда до двери оставалось шагов пять, из барака раздался грохот. Головка уронил обрезок доски и испуганно метнулся назад, я рванулся за ним, почему-то не выпуская свой дрын из рук. Крупилин же в два прыжка оказался у двери, шибанул ее ногой и вломился во мглу барака.

Мы с Головкой замерли, смущенно поглядывая друг на друга и пытаясь определить, очевиден ли был наш испуг. Все это продолжалось мгновение. Уже в следующую секунду мы тоже были в бараке. Первое, что я увидел, — ружье, прислоненное у самых дверей к изножию нар, и рассыпанные по полу патроны. Сюда еще достигал рахитичный свет луны. Дальше, в полумраке, я различил лежащего на полу человека, над ним наклонился Крупилин, стараясь приподнять его с пола. Человек этот был пьян, он добродушно бормотал:

— Да брось... Чего там... Спать охота...

С нар свешивалась голова мальчишки лет семи. Он быстро, тихо молил:

— Папка! Ну, папка же... Тебе говорят — папка!

Я засветил карманный фонарик и мазнул лучом по стенам. Барак, вероятно, был временным жилищем строителей, его поделили дощатыми перегородками на комнаты для семейных, — в такую вот комнату плотника Дунаева мы и ворвались сейчас. Пьяный, упав во сне с нар, Дунаев зацепил ногой ведро, кастрюлю, все загрохотало, и грохот этот почудился нам давеча выстрелом.

Сейчас Дунаев лежал на полу, как жук, перевернутый на спину, и, дурашливо барахтаясь, не давался в руки Крупилину. Пыхтя над ним, Крупилин обернулся к Головке:

— Этот стрелял?

— Этот, — сказал Головки, пытаясь ухватить мотающиеся руки плотника.

— Встать, Дунаев! — закричал Крупинин. — Ты арестован, мы — из милиции!

Только теперь, видимо, до плотника дошел смысл происходящего. Добродушие его мгновенно сменилось бешенством. Он рванул на себя Крупинина и Головки — все трое оказались сплетенными в злобный клубок на полу. Я стоял, загородив спиной ружье и растерянно светя на них фонариком. Мальчишка кинулся с нар поверх дерущихся, завертелся на них выюном, царапаясь, кусаясь и стараясь повиснуть на руках врагов его отца. С трудом оторвав от себя мальчишку, Крупинин толкнул его обратно на нары. Вероятно, мальчик сильно ушибся — он затих.

Плотника все не удавалось скрутить, его ноги, обутые в кирзовые сапоги, действовали особенно ловко, ими он отчаянно отбивался, юля по полу на спине. И тогда я прижал их к полу.

— Врешь! Не возьмешь разведчика! — хрипел Дунаев.

Втроем мы одолели его наконец. Я-то лишь прижимал ноги Дунаева к полу, все время твердя про себя: он убил человека, он убил человека, а ослепленный яростью, полузадохшийся Крупинин вряд ли искал для себя каких-нибудь оправданий — они ему были не нужны сейчас. И хотя мне было неприятно видеть его искаженное злобой, потное лицо, я старался оправдать и его.

На руках Дунаева щелкнули наручники. Крупинин потащил его к дверям, ухватившись за майку плотника, исполосованную в драке и скатанную к шее. На самом капитане одежда тоже была изодрана: шелковая рубашка и пиджак обвисли в клочьях. Головки нес плотника за ноги, выходной костюм лейтенанта был в порядке, он берег его в драке.

Мы шли к машине, я светил, луч дрожал в моей руке. Позади нас бежал мальчик, он не плакал, а только быстро, подряд повторял:

— Дяденьки, отпустите, дяденьки, отпустите, он больше не будет!

Буданов, завидев нас, подал машину задом, двери кузова болтались на ходу настежь, они были загодя распахнуты. Дунаева ввалили на железный пол. Теперь я

понял, почему он молчал и только всхрипывал, покуда его несли из барака к машине: майка, скатанная жгутом, сдавливала его шею.

Он убил человека, снова сказал я себе.

Головка остался в совхозе допросить свидетелей, а мы с Крупилиным забрались в кузов. Буданов повел машину.

Толчки на щебенке привели Дунаева в себя, он заматся по железу, пытаясь подняться на ноги, однако сцепленные наручниками запястья мешали ему. Он грохотал ими по полу, не чувствуя боли, и кричал, что воевал за Родину, что у него награды и что его лично знает маршал Ворошилов. Крупилин встал со скамьи и сел на Дунаева. Распластанный под этим грузом, тот завопил еще яростней, понося Крупилина и стараясь достать до него скованными кулаками.

— Замолчи, гад, — велел Крупилин и, не глядя, наугад, лягнул его ногой.

Под потолком шатающегося на ходу кузова мутно горел грязный тюремный свет, арестованная лампочка маялась за решеткой из прутьев.

По приезде в райотдел Дунаева тотчас увели в камеру. Капитан Крупилин обмыл во дворе над ведром свое разгоряченное лицо, заправил в брюки рваную рубаху — воротник и галстук уцелели, а рукав пиджака болтался в плече на нитках.

Оставив старшину Буданова дежурить, капитан пошел домой переодеться.

— Выясните в больнице состояние раненого, — велел он перед уходом.

Я продолжал сидеть в дежурке. Мне было никак не уйти. Что-то сместилось для меня вокруг — это уже случилось со мной не раз, когда я слишком тесно соприкасался с работой милиции. Я знал, что не засну в эту ночь, и тупо сидел в углу на скамье, словно и меня привели сюда за нарушение правопорядка.

Буданов позвонил в больницу: каменщик Орлов все еще находился в состоянии послеоперационного шока.

— Давайте попьем чайку, — сказал мне Буданов.

Чайник уже давно кипел на электрической плитке. Старшина расстелил подле меня на скамье чистую газетку, принес два граненых стакана, засыпал в них заварку и залил крутым кипятком; дымящиеся стаканы накрыл блюдцем.

— Пусть поднарвет покрепче, — сказал он.

Я спросил у него:

— А у Орлова есть дети?

— Трое. Двое пацанов и дочь. Сегодня отдавал ее за муж, погулял вот на свадьбе. То-то и худо, что дробь угодила на полный желудок. Натощак бы лучше.

— А Дунаева вы знаете? — спросил я.

— Я почти что всех здесь знаю, — сказал Буданов. — С конца войны живу в этих краях. Еще и кладбища тут не было, потому, между прочим, и преступности здесь побольше.

— При чем же тут кладбище? — удивился я.

— А при том, что, пока родных могил нету, пока отца с матерью не захоронил, и земля не родная. Корней в ней нету. И живут тут переселенцы, а им что — они на все облокотились.

— Он что, судимый, этот Дунаев?

— Да нет, не слышно было, чтоб судимый.

Я спросил:

— Выпивал сильно?

— Навряд, — сказал Буданов. — В вытрезвитель его не доставляли. И жена не бегала жаловаться в райотдел. А так-то кто у нас не пьет? Если с головой выпить, то можно. С вами разве не бывает?

— Бывает, — сказал я. — А Дунаев правда воевал разведчиком?

— Разведчиком — не знаю. А так-то все у нас воевали. . .

Я понимал, что в голову мне приходят вопросы один наивнее и глупее другого: мне хотелось выстроить трагическое происшествие в определенном, понятном для меня порядке, а оно не выстраивалось. Оно запутывалось все более, словно понятия добра и зла, которые я пытался, нащупав, отделить друг от друга, тотчас обрывались и перемешивались, как нитки в мотке.

— Но все-таки, Буданов, из-за чего же они поссорились?

— Кто поссорился? — не понял старшина.

— Дунаев с Орловым.

— Да и вовсе они не ссорились. Чего им было делить? Один — в одной бригаде, второй — в другой. Обое — работяги, получали неплохо.

— Но ведь выстрелил же этот Дунаев в Орлова!

— Стрелял. Шагов, говорят, с десяти... Он и не видел, в кого стреляет, — темно уже было на дворе.

— Значит, по ошибке, случайное ранение? — спросил я.

— Зачем случайное, — сказал Буданов. — Он на голос стрелял, да и фигура видна была, вполне можно метиться, только что лица не различишь. Ребенок из ружья попадет, а не то что бывший солдат.

Сообразив по моему виду, что я окончательно запутался, старшина терпеливо пояснил:

— Видите, как у них получилось. Давали сегодня в совхозе аванс. А бригаде Дунаева еще и премия набежала. Ну, решили отметить это дело. Сперва взяли два пол-литра на четверых, потом еще два, да бормотухи прихватили трехлитровую бутылку, чтоб запивать. А закуска была съедена еще в обед — это уже вечером они отмечали, после работы. Вообще-то мужики они крепкие, с бутылки на брата ничего с ними не подеется, другой раз и жена не заметит, что он выпивши пришел. Дунаев из них самый слабый был, у него печенка больная. Ну, посидели, отметили и пошли по домам. А прохаживая мимо клеток с молодыком, Дунаеву вскочило в башку, что кто-то идет с мешком за плечами. Он и сделал вывод — лисят воруют! Закричал — стой! А тот вроде матюгнулся и побежал. Дунаев заскочил к себе в барак, прихватил ружье — и по тропке наперерез. А тропка эта шла на дорожку, аккуратно против того дома, где Орлов играл свадьбу дочери. Тут у них и получилось. Орлов, значит, выходит со свадьбы к кустам помочиться — тоже он крепко хвативши был, — а Дунаев орет ему: стой, стрелять буду! Ну, Орлову, конечно, не понравилось, с чего это ему грозятся в такой день. Он и послал Дунаева куда подальше. А тот совсем озверевши: дважды за десять минут его матерят в одинаковых словах. Ружье у него уже было вскинувши. Он опять закричал: стой, буду стрелять! А Орлов идет. Ну, Дунаев и дал по нему...

Буданов убрал стаканы, пополоскал их за дверью из чайника и поставил в шкафчик.

Я спросил:

— Но все-таки он выстрелил, думая, что это вор?

— А кто ж его теперь знает, чего он тогда думал, — сказал Буданов. — Адвокат ему подскажет, чего он должен был думать.

— Странно, — сказал я. — Выстрелить в упор в человека, а потом пойти домой и лечь спать. Как можно заснуть после этого?

— Если сильно психанешь, — сказал Буданов, — то, бывает, еще и крепче спишь. Зависит от нервов, какая у кого натура...

Вернувшись поздней ночью домой, я наглотался снотворных, и под утро меня тяжело, намертво сморило. Разбудил меня гром, происхождение которого я не сразу понял: кто-то колотился в мою дверь, вероятно, уже давно.

На пороге стоял Буданов.

— Извините, — сказал старшина. — Прокурор просит вас срочно зайти в райотдел.

Очумевший от невыспанного снотворного, я пошел в милицию.

Прокурора я знал. Он ждал меня в пустом кабинете следователя.

— Прошу извинить за беспокойство, — быстро и небрежно сказал он. — От арестованного Дунаева поступила жалоба. Вы принимали участие в его задержании?

Я кивнул.

— Дунаев утверждает, что в процессе задержания и затем в пути следования в машине он был избит. Медицинское освидетельствование установило легкие телесные повреждения. Я вызвал вас в качестве свидетеля.

Он надавил кнопку на столе. В дверь тотчас заглянул Буданов.

— Приведите Дунаева, — велел прокурор. — И вызовите капитана Крупиллина.

Я спросил:

— Орлов жив?

— Пока жив, — сказал прокурор. — Похоже, что выживет... На Вуоксе давно были?

— Третьего дня, — сказал я.

— Много поймали?

— Килограммов пять.

— Все лещи?

— Лещи.

— А у меня вчера вот такущий язь сошел с крючка. Вы на какой номер ловите?

— На седьмой.

— Жилка небось французская, ноль четыре?

— Ноль три, — сказал я.

— Уделили бы мне метра два на поводки, — сказал прокурор. — А я вам рачницу дам. Сам плел из капроновой нитки.

Сперва вошел Крупилин; тотчас же вслед за ним старшина впустил в комнату Дунаева. Крупилин отодвинулся в сторону, к окну, загородив спиной свет. Неподалеку от порога остановился Дунаев. Его распухшее правое ухо было рассечено, скула и правый глаз заплыли. Вероятно, ему успели с утра передать из дому свежую одежду, ночного рванья на нем уже не было. Он стоял чистый и аккуратный, вот только ухо, скула и глаз — на них трудно было смотреть. И дышал он громче, чем мы. Когда затихала в соседнем кабинете пишущая машинка, было слышно, как он дышит.

— Я прочитал вашу жалобу, Дунаев, — сказал прокурор. — В ней не указаны конкретные фамилии лиц, которых вы обвиняете в вашем избиении.

Ближе всех стоял к Дунаеву я. Он посмотрел на меня одним здоровым глазом и хрипло произнес:

— Вот этот меня не трогал. . .

Потом он вынул из кармана скомканный, грязный носовой платок, приложил его к распухшему уху и, не глядя на Крупилина, а лишь качнув в его сторону головой, сказал:

— А вот этот — бил.

Прокурор обернулся ко мне. Я сказал Дунаеву:

— Вы сопротивлялись, когда мы пришли за вами.

— Он на мне порвал новый костюм, — сказал Крупилин от окна. — И шелковую рубаху. Пришлось применить наручники, товарищ прокурор.

— Дунаев, — сказал прокурор, — вы подтверждаете факт оказания сопротивления работникам органов милиции при вашем задержании?

— Он меня в машине бил. Ногами, — сказал Дунаев. — Сел на меня своей жирной задницей и лягался.

— Врешь, — сказал Крупилин. — Ты в машине буянил и разбил себе лицо об железный пол.

— Капитан Крупилин, — сказал прокурор, — к арестованному следует обращаться на «вы».

— Извините, Борис Васильевич, с такими типами нервы не выдерживают.

А Дунаев повторил:

— Он лягался ногами... Пускай вот гражданин подтвердит, гражданин видел.

Я молчал. И ждал, что Дунаев все-таки спросит про Орлова, — ведь стрелял же он в Орлова.

Прокурор обратился ко мне:

— Этот факт в машине имел место?

— Машина была очень плохо освещена, — сказал я. — В лампочке там не более пятнадцати свечей. И вообще, все это было для меня очень непривычно...

Замолчав, я стал чиркать зажигалкой — на мое счастье, бензин иссяк, чиркать можно было долго, а погасшая, размокшая сигарета во рту мешала мне продолжать. Дунаев шагнул и протянул мне спички.

— Понимаете, Дунаев, я знал, что вы стреляли в человека, что вы, может быть, убили человека...

— За это мне будет суд, — сказал Дунаев.

— Но ведь помимо суда, — начал я, — вам должно быть...

— Попрошу вас не отвлекаться и придерживаться фактов, изложенных в жалобе, — нетерпеливо напомнил прокурор.

— Хорошо, — сказал я. — Дунаев вел себя в машине беспокойно. И капитан действительно сел на него, чтобы не дать ему возможности метаться в кузове. Однако, повторяю, в машине был полумрак и дальнейших действий Кружилина я не видел.

— Ясно, — сказал прокурор. — Вам ясно, Дунаев?

— Мне все ясно, — сказал Дунаев.

И Буданов увел его.

А я ушел домой, презирая себя за лжесвидетельство, и вот уже сколько лет так и не могу разобраться в его мотивах.

По-всякому пытался я судить себя, и обвиняя и оправдывая. За время, прошедшее с этой длинной, страшной ночи, выжил и встал на ноги каменщик Орлов, воротился из колонии Дунаев — оба они работают в том же зверосовхозе; ушел на пенсию прокурор, отчислили из милиции капитана Кружилина. А я понял, пожалуй, лишь одно: всему виной были тогда пол-литра водки и два стакана бормотухи, которые выпил на голодный желудок плотник Дунаев.

ГОЛОЛЕД



линный институтский коридор. Летнее солнце бьет в окна.

Сквозь внезапно распахнутые двери аудиторий вываливаются толпы студентов. Торопливо, опережая друг друга и горлая, они лавиной спускаются по широкой лестнице.

Устало, с трепаным портфелем в руках, идет по коридору Виктор Петрович Сизов. Его пиджак испачкан мелом, — это случается с ним всегда после лекций. На ходу Сизов смахивает мел с пиджака.

Он вошел в дирекцию. Лицо у него хмурое.

— Присядьте, пожалуйста, — говорит ему секретарша. — Сергей Илларионович сейчас освободится.

Сизов опускается на диван. Церемонно поставил портфель на колени. Глаза полуприкрыты, солнце беспокоит его.

Хлопоча за своим столом и, вероятно, только для того, чтобы развлечь Сизова, секретарша спрашивает:

— Ну, рады, что получили путевку на юг?

Он отвечает сухо:

— Не вижу оснований для радости.

Ей не слишком важно, что именно ответил Сизов. Возможно, она бы и продлила разговор с этим малоинтересным собеседником, но дверь кабинета директора открылась, оттуда вышли люди, и секретарша тотчас кивнула Сизову.

Кабинет директора института.

Плотный, надежно сколоченный, но уже рыхловатый Сергей Илларионович подымается из-за стола.

В повадках директора, в его голосе есть нечто военное, генеральское. Пожалуй, ему самому даже нравится его грубоватость и прямота. Он принадлежит к той породе директоров, которые легко переходят с собеседником на «ты», но это дружеское обращение непрочное — оно зависит от того, в чем смысл разговора.

Поднявшись из-за стола, он выходит навстречу Сизову.

— Привет, Виктор Петрович! Рад видеть вас в добром здравии.

Усадив Сизова в кресле перед столом, он и сам расположился во втором кресле напротив. Однако расстояние между креслами показалось ему слишком большим — он грузно придвинулся.

— Учебный год мы закончили с вами неплохо, — говорит директор, доверительно положив руку на колено Сизова. — Сегодня записал вам благодарность в приказе. . . Когда летите?

— Я — поездом.

— Охота была маяться по жарё! И кишки все растрясете. . . С билетом — в порядке? А то могу подсказать экспедитору.

— Благодарю вас, Сергей Илларионович. Билет я уже купил.

— Место — нижнее?

— Не интересовался. Мне безразлично.

Откинувшись в кресле, директор смотрит на Сизова, добродушно улыбаясь. Внезапно подмигнул.

— Ох, Виктор Петрович, гляди, как бы тебя в санатории не оженили! Мужик ты справный, оклад подходящий, жилплощадью обеспечен. . . — Он заразительно смеется. — Характерец, правда, не мед. . . Ну-ну, пошутил, не сердись.

Поднявшись, он размял свое большое, затекшее тело и, проходя к письменному столу, обнял по дороге Сизова за плечи.

— Завидую вам, дорогой товарищ Сизов. Отвоевал я три войны, дослужился до генеральских погонов, а наукой вот занялся только в последние годы. . . Ну, ладно, — вздохнул директор. — Езжай с богом. Отдыхай.

Сизов спускается по институтской лестнице.

Внизу, в вестибюле, его внимание привлечено громким смехом, доносящимся из столпившейся группы студентов.

В центре этой группы стоит молодой человек с сумрачным лицом. Он несколько сгорбился, в руках у него трепанный портфель. Очевидно, подражая кому-то, молодой человек скрипучим голосом обращается к парню, стоящему перед ним:

— Вы учитесь на одном из интереснейших факультетов. Ваше обучение стоит государству больших денег. Вы — комсомолец. Если вы не чувствуете влечения к профилирующему предмету — физике, то занимать место в нашем институте по меньшей мере легкомысленно. Переводитесь в стоматологический.

Студенты смеются.

За их спинами раздается кашель. Это задержался на минуту проходивший мимо Сизов. Он покашлял, чтобы его заметили.

Студенты оборачиваются и расступаются.

Испуганно смотрит на Сизова молодой человек в центре группы.

— Это вы изображали меня? — серьезно, без улыбки, спрашивает у него Сизов. — Похоже. Я бы еще добавил, что зубные техники недурно зарабатывают. Гораздо больше, нежели инженеры-связисты, выпускаемые нашим институтом.

Он произнес это своим несколько скрипучим голосом, вежливо поклонился и ушел.

Прачечная. Пункт выдачи белья.

В очереди не много людей, и среди них — единственный мужчина Сизов. Он стоит первым у окошка. Ему уже выдали белье, но, прежде чем уложить пакет в авоську, вынутую из портфеля, Виктор Петрович до тошно осматривает свои глаженные рубахи, сверяя их по квитанции.

— Почему у вас всегда ломают пуговицы? — строго спрашивает он укладчицу в окошке.

Позади Сизова стоит молодая разбитная бабенка в форме трамвайного кондуктора.

— Ну, ладно, жена пришьет, не барыня! — весело говорит она, тесня Сизова в сторону. — Давайте, папаша, я на маршрут опаздываю.

Он неторопливо и аккуратно укладывает пакет.

Жалостливо на него глядя, старушка из очереди проносит:

— Бывают же такие зятья: все сам, все сам... А моя-то дурища, боже ж ты мой! Идолу своему и тарелку подаст, и чаю нальет...

Выйдя из прачечной, Виктор Петрович шагает по людной улице. Он не смотрит по сторонам, лицо его сосредоточенно. У него странная манера: когда задумчивость его и озабоченность достигают предела, то с губ произвольно срываются тихие, отрывочные слова. Возможно, эта манера характерна для пожилых одиноких людей.

— Кефир, — шепчет он. — Мыло... Зубная паста...

Действия его методичны. Покупая с лотка на улице бутылку кефира, он осведомился у продавщицы:

— Сегодняшний?

И тут же проверил день выпуска по надписи на горлышке.

В аптечном киоске он долго выбирает два куса туалетного мыла, нюхает их; в двух тюбиках зубной пасты проверил, легко ли отворачиваются головки.

— Значит, так, — шепчут его губы. — В принципе все...

Усталый и озабоченный Сизов движется в толпе людей. Он не видит их даже тогда, когда его толкают.

С авоськой и портфелем он входит в свою комнату — обиталище старого холостяка. Здесь царит неуютный порядок. Постель застлана, но одеяло покрывает подушку. На стуле у постели — раскрытая книга и чашка с недопитым чаем; рядом рассыпаны таблетки снотворного. На подоконнике выстроены пустые, мытые бутылки из-под кефира. Письменный и обеденный столы завалены книгами.

Открыв дверь комнаты, Виктор Петрович говорит:

— Здравствуй, Левка.

На книгах спит кот. Самый обыкновенный дворовый кот. Он проснулся, прыгнул на пол.

Не разгружаясь, Сизов открыл портфель, вынул оттуда сверток, развернул и положил на тарелку у дверей котлеты.

— Извини, Левка, — говорит он, — фарша я сегодня не достал.

Кот с деликатной брезгливостью ест готовые, магазинные котлеты.

Уже стемнело, вечер. Город еще не остыл от дневной жары, большое окно в комнате Сизова распахнуто на реку. Он сидит за своим письменным столом в трусах и в майке. Перед ним лист бумаги с пронумерованными записями. Лист озаглавлен:

МОИ ДЕЛА ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Виктор Петрович вымарывает то, что уже успел сделать за день. Перечеркнуты строчки:

попрощаться с аспирантами

сдать книги в библиотеку

зайти к директору

получить белье

купить в дорогу мыло и пасту

Задумавшись, он смотрит на две еще незачеркнутые строчки:

уложить чемодан

оставить Левку соседям

Он поднялся из-за стола и подошел к окну.

По реке плывет лодка. Она хорошо видна в огне береговых фонарей, да и ночь лунная. Лодка плывет по течению, весла лежат по борту. На корме сидят в обнимку парень и девушка. Они целуются.

У распахнутого окна стоит пожилой, несуразный в своих широких трусах и майке Сизов. Он смотрит на эту лодку с некоторым недоумением.

— Странно. . . — произносит Сизов.

И затем, слегка нахмурившись, добавляет:

— На чем же мы остановились, Виктор Петрович? . .

В ночной тьме мчится поезд. Далеко на горизонте полыханье большого города.

В пустом коридоре купейного вагона — все пассажиры спят — проводница вытирает пыль, подметает пол.

Раздвигается дверь одного из купе. В коридор вышел Сизов, он в плаще и шляпе, в руках чемодан и портфель. Приблизившись к проводнице, сказал:

— Попрошу вас, пожалуйста, мой билет.

Она удивленно смотрит на него.

— С какого места?

— С шестнадцатого.

— Так вам же до Симферополя?

— Тем не менее я намерен выйти на этой станции.

— С вечера надо предупредить, — ворчит проводница, отдавая билет.

— Вечером я не предполагал, что выйду на этой станции, — как всегда обстоятельно, отвечает Сизов.

Поезд замедляет ход. В тамбуре у открытых дверей проводница вытирает тряпкой поручни. За ее спиной Сизов приготовился к выходу.

Вагон уже плетется вдоль ночного перрона.

Показалось здание вокзала.

— Вокзал был другой, — говорит проводнице Сизов.

— За чай уплатили? — спрашивает она.

Он роется в кармане и, отдавая мелочь, бормочет:

— Забавно... Оказывается, я способен совершать алогичные поступки.

Поезд остановился. Сизов вышел на перрон.

Зевая, проводница ворчит вслед:

— Прошлый рейс полотенца недосчиталась. Наволочку прожгли куревом. У каждого переживанья, а я — плати из своего кармана...

На ночной привокзальной площади стоит Сизов. У его ног чемодан. Сняв шляпу и обмахиваясь ею, Виктор Петрович осматривается. Он чуть-чуть взволнован и даже растерян. Он оглядывается, ища чего-то глазами, словно ждал, что его встретят знакомые, близкие ему люди, а вокруг — все чужое.

Новые, безликие дома окружают его.

Медленно обойдя пустынную площадь, он остановился на углу широкой и тоже пустынной улицы. Прочитал название на табличке: «улица Первомайская».

И зашагал по Первомайской.

Вестибюль гостиницы.

У окошка администратора — Сизов.

Девушка, очевидно только что поднявшаяся с двух составленных кресел, где она сладко дремала, укрывшись одеялом, берет у Сизова паспорт.

— Я могу предложить вам только «люкс».

— Это, вероятно, дорого? — спрашивает Виктор Петрович.

— Семь рублей. И попрошу командировочное удостоверение.

— Видите ли, — с внезапной общительностью наклоняется к ней Сизов: он рад, что у него появилась возможность поговорить, — я родился в этом городе...

— Все где-нибудь родились, — прерывает его девушка. — Без командировок мы гостей не оформляем.

— Наступает такая пора жизни, — волнуясь, говорит Сизов, — когда человека невольно начинает тянуть в родные места. Я окончил здесь школу, учился в университете, женился здесь...

Любопытство затлевает в глазах девушки.

— И развелись? — спрашивает она.

— В общем, да... Это все как-то странно получилось.

Он берется за чемодан и протягивает руку за своим паспортом, полагая, что с гостиницей ничего не выходит и, следовательно, надо уходить. Эта неудача, по-видимому, даже не очень обескураживает его: он в том приподнятом состоянии, когда мелкие неприятности слабо фиксируются сознанием.

Однако девушка не отдает ему паспорт. Она протянула ему гостиничную анкетку.

— Заполните.

Не отходя от окошка, он тут же быстро заполняет листок. Покуда Сизов пишет, девушка спрашивает:

— А дети у вас были?

— Нет.

Он отдал ей анкету.

— Скажите, пожалуйста, Первомайская улица — это бывшая имени Розы Люксембург?

Девушка уверенно отвечает:

— Она всегда была Первомайская.

Он грустно покачал головой.

— Боже мой, как долго я живу! И сколько лишнего, девушка, я уже знаю...

Гостиничный номер «люкс».

Рассвело. Особенно звонко прошел первый трамвай.

Сизов открыл окна, выглянул наружу: внизу выгружают из фургона хлеб в булочную, и даже это развлекает сейчас Сизова.

Он с удовольствием прошелся по просторному номеру, открыл пустой шкаф, сосчитал для чего-то деревянные плечики, висящие на палке, выдвинул пустые ящики письменного стола. Прочитал под стеклом на столе гостиничные правила внутреннего распорядка, обнаружил в них орфографическую ошибку и, приподняв стекло, исправил ее своей авторучкой.

Затем отвернул одеяло на застеленной постели, пощупал свежие простыни.

Вошел в ванную комнату, открыл оба крана, потрогал рукой воду и вытер руку о свежее полотенце.

Он ведет себя так, словно видит мир впервые.

Зазвонил телефон.

Удивленный и, может быть, даже обрадованный, Сизов бросился к аппарату и снял трубку.

— Да.

Видимо издалека и не очень разборчиво донесся голос:

— Мне Аркадия Викентьевича.

— Простите, здесь нет такого, — вежливо отвечает Сизов.

Голос в трубке становится настойчивым и возмущенным:

— То есть как это нет? Я же только вчера ночью с ним беседовал... Куда же он подевался?

— К сожалению, не могу вам сказать. Я занял этот номер полчаса назад.

В трубке буркнуло:

— Вот стервец!

И щелкнул сигнал разъединения. Сизов положил трубку.

Большой двор старого дома.

Дом четырехэтажный, из тех, что когда-то назывались «доходными». В центре двора — палисадник: несколько многолетних тополей, скамьи, площадка для ребят.

На скамьях сидят две-три няньки с детьми в колясках, вяжет кофту старуха. Дворник ворочает контейнеры с мусором. Дети постарше возятся на площадке: прыгают «в классы», играют в жмурки.

Во двор вошел Сизов. Вид у него усталый, он давно бродит по городу.

Остановившись в подворотне, Сизов смотрит перечень фамилий жильцов — длинный указатель квартир висит на стене.

— Ищете кого? — спрашивает дворник.

— Да нет, просто так. . .

Он вошел в глубь двора. Обходит его по кругу, задирая голову к облупленным балконам и замедляя шаг у подъездов.

В палисаднике ребята завязывают глаза носовым платком мальчишке лет пяти. Вертят его на месте и, отпустив, разбегаются в разные стороны. Прячутся поблизости кто куда.

Мальчишка с завязанными глазами, ощупью, вытянув вперед руки, осторожно ходит по палисаднику. Притаившиеся ребята подают голоса и тотчас перебегают с места на место. Мальчишка бросился на голос и уткнулся с разбега в Сизова.

Схватив его за ногу, радостно вопит:

— Борька!

— Нет, я Витя, — серьезно отвечает Виктор Петрович.

Он отошел к скамье и сел. Зажмурившись от солнца, откинул голову на спинку скамьи.

Теперь он ничего не видит, и так ему лучше.

До него доносятся только звуки.

Сперва это звуки реального двора, окружающего его нынче, а затем, внезапно, они сменяются в его сознании другими звуками, всплывающими из бездонных глубин памяти.

И происходит странная вещь: в этом современном дворе появляются:

старый татарин с наголо бритой головой, в теплом, грязном халате; за спиной у него огромный полосатый

мешок, забитый мягким барахлом. Старый татарин негромко выкрикивает:

— Шурум-бурум, шурум-бурум, старые вещи покупаем, новые — продаем!..

черный кудрявый цыган с серьгой в ухе, — рваная цветная рубаша распахнута на его волосатой груди. Он волочит мятый медный самовар и протяжно, зычно вопит:

— Тазы-кастрюли лудить-паять!..

взгромоздив на одно плечо свой точильный станок, ходит по двору веселый старичишка в отрепьях, из его разбитых сапог торчат грязные пальцы.

— Точу ножи-ножницы, бритвы правлю! — выпевает он дискантом.

Никто во дворе не видит и не слышит этих людей — они возникают лишь для Сизова.

И никто во дворе не замечает, как рядом с Сизовым на скамье оказывается девочка лет пятнадцати. Она чистенько, аккуратно, но не по-современному одета, в волосах у нее порхает огромный бант.

Сизов берет ее за руку, хочет что-то сказать — лицо у него влюбленно-виноватое, — но скамью окружают орущие подростки, по своему внешнему виду они тоже возникли из прошлого.

— Жених и невеста

Замесили тесто,

Тесто засохло,

Невеста сдохла!..

Подростки орут это, нелепо пританцовывая и подступая к скамье все ближе и ближе.

А двор живет своей нынешней жизнью. Бегают по двору нынешние ребята.

Сизов сидит один на скамье.

Какая-то женщина выходит на балкон. Она в простеньком платье, с веником и тряпкой в руках.

— Ви-итя! — зовет она. — Ви-итенька!..

Сизов обернулся.

— Я кому сказала? — сердится на балконе женщина. — Паршивый мальчишка, сейчас же иди домой!

В гурьбе ребят, копающихся во дворе, один паренек прячется за спины товарищей.

— Витька, сию секунду домой!

— Иду, мама, — тихо произносит Сизов.

Он встал со скамьи.

Подымается по лестнице, звонит в квартиру.

Женщина в халате, с веником и тряпкой в руке, открывает ему дверь.

— Я понимаю, что это нелепо, — говорит Сизов. — Извините меня. Разрешите войти в вашу квартиру?

Недоуменно отступив, женщина впускает его.

Он, легко ориентируясь в этой, казалось бы, незнакомой квартире, вошел в одну из комнат; женщина — следом за ним.

— Забавно, — улыбнулся Сизов. — Я полагал, что эта комната гораздо больше.

— Здесь двенадцать метров, — говорит женщина. — Я могу показать квитанцию, у меня за июнь уплачено. Вы из домохозяйства?

— Нет, я — от себя. Наступил, видите ли, такой период, когда я — лично от себя. Это бывает только в детстве. . .

Он обводит комнату взглядом. Приблизился к углу у окна, нежно проводит рукой по стене.

— Тут стояла моя кровать. Она была с сеткой, чтобы я во сне не свалился на пол. Я помню, что эта сетка постепенно начала раздражать меня, я хотел свободы передвижения. . . И кровать становилась все меньше, мама подставляла табурет мне в ноги — они вылезали сквозь прутья. . . А из этого окна я пускал сквозь соломинку мыльные пузыри. Они были необыкновенного цвета. Сейчас почему-то никто не пускает мыльные пузыри, а ведь под них в детстве так хорошо мечтается. . . И потом еще — солнечные зайцы. Берется осколок зеркала, и луч направляется в противоположное окно. . .

Двор.

Сияющая лужица солнечного света сперва быстро бежит по земле, затем, помедлив, вскарабкивается по противоположной стене дома; заглянув в одно окно, в другое, в третье, луч добрался наконец до цели — он твердо уперся в стекло и пронзил комнату насквозь. В углу комнаты спит на кровати Галя. Луч, как бы на ощупь,

прошелся по одеялу, нашел Галино лицо и замер, озяв его.

Она проснулась навстречу ему. Села на постели, потрогала луч рукой.

Квартира женщины в халате.

Стоя у окна, Сизов продолжает говорить:

— В моей лаборатории в Ленинграде есть лазерная установка. Лучом лазера я легко пробиваю свинцовую пластинку. Но это ничто, поверьте мне, по сравнению с тем солнечным зайцем, который я направлял в окна Гали Сорокиной!..

Женщина в халате сперва слушала Сизова с напряженным удивлением, однако его вид — вполне добропорядочный — и волнение, которого она хотя и не понимает, но не может не заметить, что оно искреннее, — все это успокаивает ее.

— А я вот уборкой занялась, — говорит она. — У меня отгул за ночную смену. Чаю, хотите, сделаю?

— Благодарю вас, — откланивается Сизов. — Покорнейше прошу извинить за беспокойство.

Он идет по улице.

Его легко различить в толпе пешеходов — Сизов движется бесцельно. Порой он замедляет шаг подле какого-нибудь уцелевшего старого здания, зажатого среди новых домов.

Память Сизова силится восстановить нечто важное и значительное из того, что было пережито им в этом городе, но взамен всплывают на поверхность мелочи, пустяки.

По мере того как Сизов идет по этой заново отстроенной улице, проступают на ней местами, словно переводные картинки, старые вывески, бывшие названия, бывшие витрины.

В окнах современной аптеки возникают вдруг для него огромные стеклянные шары, заполненные цветной жидкостью. Когда-то он думал, что это — лекарства.

Под карнизом углового дома сплетаются внезапно на

фронтоне две гипсовые русалки, и между их чешуйчатыми хвостами проступают лепные буквы: «Кинематограф «Модерн».

И стены этого огромного современного дома оказываются оклеенными с тротуара до крыши афишами древних фильмов. Мелькают на афишах лица и имена давно позабытых актеров кино — Мозжухин, Лысенко, Пикфорд, Фербенкс, герои старомодных, истлевших боевиков.

Широкая длинная улица сегодняшнего города простирается перед Сизовым. Упитанные троллейбусы проплывают мимо. Бегут автомашины.

И навстречу этому потоку, чудом не задевая его, с гиканьем и свистом, во всю ширину улицы скачут всадники. Чубы и папахи со шлыками на их головах...

Всего на сотую долю мгновенья мелькнуло это в сознании Сизова.

Он идет по улице.

Здание средней школы. Это старое кирпичное здание.

Он вошел в вестибюль. Сейчас здесь тихо и пустынно, очевидно идут занятия.

Он подымается по лестнице, ступени ее выщерблены, вытоптаны десятилетиями.

Сизов вошел в узкую, как пенал, комнату: здесь сидит секретарь директора школы. Это худая пожилая женщина в очках. Она подымает усталую голову.

— Вы по поводу разбитого стекла?

— Нет. Я хотел бы видеть директора.

Она строго и недоверчиво посмотрела на него.

— Имеется распоряжение — рогатки следует сдавать мне. И делать это должны не родители, а сами дети, после чего они будут вызваны для беседы к Федору Константиновичу.

— Я по личному делу, — говорит Сизов.

Но секретарша непреклонна.

— Сейчас к Федору Константиновичу вызваны только те, кто по поводу разбитого стекла.

Она снова принялась за свою работу.

Потоптавшись, Сизов решительно открывает дверь в кабинет директора.

Директор разговаривает по телефону, не замечая вошедшего. Сизова. Положив трубку, он увидел посетителя.

— Слушаю вас.

Небольшого роста, лысый, с седым венчиком вокруг черепа, директор нетерпеливо взглянул на Сизова.

Смущенно улыбаясь, Сизов приблизился к столу.

— Здравствуй, Федя, — неуверенно протягивает он руку. — Не узнаешь? Я Сизов, Виктор... Витя я...

— Припоминаю, — говорит директор, однако по его лицу видно, что он еще ничего не припомнил. Мельком взглянув на часы, просит: — Садитесь, пожалуйста.

— Ты извини меня, что я без предупреждения. Я ведь нашел тебя случайно, по телефонной книге, позвонил домой, а мне сообщили, что ты тут. Ну, как живешь-то?

— Спасибо, ничего... А вы?

Сизов грустно махнул рукой.

— Старею... Остался в душе только какой-то гул промелькнувшего детства, беспорядочные обрывки глупых воспоминаний.

Директор силится быть внимательным. Ему невозможно настроиться на эту волну, да и незачем.

— Да-да, — говорит он. — Это верно... Столько времени прошло. И текучка заедает каждый день.

— Ты давно директорствуешь?

— Десятый год.

— И все в этой школе?

— Да.

— Это должно быть приятно — попасть через много лет в ту же школу, где когда-то учился. Не порывается связь времен... Кого-нибудь из нашего класса встречал?

— Лет пять назад заходил как-то Петя Жевержеев...

— Погоди. Жевержеев, Жевержеев... Высокий, черный парень, отлично читал стихи Есенина...

— Стихи Есенина читал Юра Линеви́ч. А Петя Жевержеев на пари спрыгнул с крыши сарая. И футболистом был, центр-форвард. Он еще собачонке нашего директора консервную банку привязал к хвосту.

— Ах ты господи, — сокрушается Сизов. — Значит, я спутал. Где же сейчас этот Петя? Я хотел бы его повидать.

— Умер от инфаркта.

— А Юрка Линеви́ч?

— Убит под Калининградом.

— Погоди, помнишь, был еще Толя Грунин, здорово диспуты устраивал, суды всякие: над Анной Карениной, над Евгением Онегиным. Он был...

— Он был, а потом его не было.

— Но кто-нибудь из нашего класса остался? — восклицает Сизов.

— Конечно. Вот мы с тобой остались. И еще человека три — их разыскивали наши ребята из восьмого «А». А разве тебе они не писали?.. Прости ради бога — как, ты говоришь, твоя фамилия?

— Сизов Виктор. — Он смутился: — В прошлом году я, правда, получил какое-то письмо, но оно показалось мне формальным: просили прислать мою фотографию для какой-то доски, автобиографию... В общем, я замотался и не ответил.

— Зря. Это обижает ребят.

Наступила неловкая тишина.

— Федя, а ведь, по правде говоря, ты меня так и не вспомнил? — спрашивает Сизов. — Я сидел на третьей парте справа, у окна. Пух от нашего тополя падал на мои тетради...

— Его спилили в войну на дрова...

В дверь кабинета заглядывает секретарша.

— Федор Константинович, пришли родители по поводу разбитого стекла.

— Да, да, пусть минутку подождут...

Сизов поднялся.

— Извини, я тебя задержал.

— Ты заходи, — пожимает ему руку директор. — У меня, понимаешь, сегодня крайне суматошный день... Где работаешь? — спрашивает он, провожая Сизова до дверей.

— В Ленинграде. В институте. Читаю физику.

— Кандидат или доктор уже?

— Кандидат. И вряд ли буду доктором. Ни к чему.

— Ну и хорошо, очень хорошо, — рассеянно похлопывает его по спине директор. — Непременно надо поболтать. Звони и заходи...

Дверь за Сизовым закрылась. Директор провел рукой по своему лицу и прошептал:

— Убей, не помню!.. Витька Сизов? Не было такого...

Идет Сизов по улице. Приблизился к киоску справочного бюро.

Наклонившись к окошку, обращается к женщине, увлеченно читающей журнал.

— Я хотел бы навести справку о месте жительства определенного лица, сведения о котором у меня крайне скудны, — как всегда подробно и закругленно спрашивает Сизов.

Не глядя па него, она протягивает ему листок бумаги.

Он пишет: «Сизова Елена Михайловна. Год рождения — 1910».

Отдавая киоскерше листок, говорит:

— С вашего разрешения, я подожду.

Прислонившись к киоску, ждет, оглядывая соседние дома. Над одним из них висят городские часы. Большое окно подвального этажа под часами. Вывеска у подъезда: «Библиотечный коллектор».

Автомашина стоит подле этого подъезда, грузчик носит пакеты с книгами.

Пристально смотрит Сизов и на подъезд и на окно. Все это выглядит для него сейчас иначе; во всю величину оконного стекла проступает внезапно затейливый рисунок:

...цветные лошади мчатся по кругу, они нарисованы буйно, рукой неумелого художника-маляра. Эти лошади опоясаны надписью по стеклу, буквы тоже цветные, валящиеся набок: «Механические бега и скачки».

Полутемная лестница, ведущая в подвал.

На последнем повороте лестницы стоит огромный вздыбленный медведь. В его передних лапах — большой бронзовый поднос, заваленный папиросными окурками.

По лестнице робкими, неуверенными шагами спускается юноша лет восемнадцати.

И за ним спешит нынешний Сизов. Догнав юношу и положив руку на его плечо, Сизов возмущенно говорит:

— Остановись! Зачем ты сюда идешь? Я же знаю, чем это кончится, — твоим позором!..

Не замечая Сизова, юноша продолжает идти..

— Заклинаю тебя, уходи отсюда!.. Мне же будет стыдно потом всю жизнь, — уговаривает его Сизов. — То, что ты собираешься сделать, — непорядочно, мерзко!

Юноша не слышит его.

Пугливо озираясь, он вошел в подвальный зал, сырой, с низким сводчатым потолком. Окно с нарисованными конями пропускает мало света, оно пыльное и грязное. В центре зала горит яркая электрическая лампа на шну-ре без абажура.

Под лампой сгрудились люди. И оттуда, из середины толпы, доносится громкий, бесцветный голос:

— Можно ставить, есть прием!

И немного погодя:

— Ставок больше нет.

В полной, тревожной тишине слышно глухое жужжа-ние.

Юноша протискивается сквозь толпу и оказывается вдруг перед длинным столом.

Во главе стола сидит человек с большим, словно рас-пухшим лицом и гладко расчесанными на прямой пробор волосами. В руках человека мелькает длинная лопатка, похожая на игрушечную: с необыкновенной ловкостью он шныряет ею по всему столу, достигая самых отдаленных частей его.

— Можно ставить, есть прием! — произносит крупье равнодушным голосом, и десятки рук кладут на стол бумажные деньги — разглаженные, лихорадочно ском-канные, грязные, влажные от взмокших, потных ладо-ней.

— Ставок больше нет!

По столу, по нарисованному в центре кругу, бегут кро-хотные разноцветные лошадки; их штук десять, и на каж-дой написан номер.

Жужжа, они бегут недолго.

Крупье протянул свою игрушечную лопатку и сгреб к себе все деньги, лежавшие на столе, затем ловко, через весь стол швырнул лопаткой несколько купюр кому-то, кого мы не видим, но на кого устремлены завистливые взгляды толпы.

Юноша, как околдованный, медленно протягивает руку к столу и кладет свои жалкие деньги на ближайший номер — в клеточке стоит цифра семь.

В следующее мгновение лошади понеслись по кругу.

Юноша смотрит на них, они вырастают на его глазах, они уже кажутся ему огромными, они угрожающе ржут.

Бег их становится все медленнее и наконец замирает.

Они уже снова крохотные, и крохотный оранжевый конь, вскинув передние копыта, остановился на цифре три.

Поднявшись по лестнице мимо вздыбленного, пропахшего никотином медведя с бронзовым подносом, юноша выходит на божий свет. Здесь, под городскими часами, стоит девушка. Она нетерпеливо поглядывает вдоль улицы.

Из-за ее спины приближается юноша. У него смущенное, растерянное лицо.

— Лена, — говорит он, — я проигрался в пух и прах. . .

— Глупый ты, Витенька, — улыбается девушка, беря его под руку.

— Но ведь я же точно высчитал: этот дурацкий оранжевый конь должен был прийти на семерку!

Девушка смеется.

— Надеюсь, ты производил расчет с логарифмической линейкой?

— погоди, ты не поняла. Я проиграл чужие деньги. Она остановилась и выпустила его руку.

— Как, чужие?

— Ну, казенные. . . Профсоюзные взносы ребят.

— Что же нам теперь делать? — растерянно спрашивает она.

— Не знаю.

Он совершенно подкошен тем, что натворил.

— Может, сказать в профкоме, что у меня их украли? — Сизов поднял на нее робкие глаза.

Лена решительно тянет его за руку.

— Пошли! Я придумала.

Они растворяются в толпе пешеходов.

Сквер у базара.

В дальнем конце сквера сидит на скамье Витя Сизов. Он ждет, не понимая, зачем Лена привела его сюда. Озирается по сторонам, нервно встает, вглядываясь в предбазарную толчею, снова усаживается.

Противоположный конец сквера впадает в базар. Здесь уже не протиснуться: по обеим сторонам широкой, пыльной улицы расположились прямо на земле продав-

цы самого разнообразного домашнего скарба. Старье, хлам лежит здесь вперемешку с хорошими вещами. Пожилые дамы, пронырливые, испытые перекупщики, лабазные старички торгуют чем попало: тут можно приобрести все — от ржавого гвоздя до хрустальной музейной люстры.

Между этими рядами торговцев, впритык друг к другу, толкуются люди: бродят покупатели, снуют зеваки, торгуют с рук.

В этой толпе, несомая ею, медленно передвигается Лена. В руках у нее женские туфли, она неумело держит их перед собой.

Со скамьи в сквере быстро поднялся Витя Сизов. Он увидел наконец радостно бегущую к нему Лену. Она победно размахивает какими-то бумажками в высоко поднятой руке.

— Ура, Витька! — кричит она.

Задыхаясь от счастья и от бега, она обнимает его и сует ему в карман деньги.

— Тут еще останется нам на ириски, — говорит Лена.

Сделав несколько шагов рядом с ней, повеселевший Виктор случайно опускает глаза вниз — он видит босые ноги Лены.

Резко остановился, спрашивает:

— Ты с ума сошла! Что ты наделала?..

— Ничего особенного, — смеется Лена, целуя его в щеку. — Они мне ужасно натирали ноги, я их терпеть не могла... Знаешь, как приятно ходить босиком!.. Прелесть!..

Сизов стоит у справочного киоска, склонившись к окошку.

Киоскерша протягивает ему адресный листок: «Елена Михайловна Сизова. Садовая улица, 5, кв. 3».

— А вы убеждены, что ее фамилия по-прежнему — Сизова? — спрашивает Виктор Петрович.

— Позвольте, — возмущается киоскерша, — ведь вы же у меня именно эту фамилию и спрашивали!

— Да-да, простите! — говорит Сизов.

Улица, расположенная на крутой горе. Очевидно, это одна из окраинных улиц. Здесь много старых одноэтажных и двухэтажных домов, хотя и кирпичных, но по-купечески приземистых, вросших в землю.

Раскидистые, тенистые акации стоят под окнами домов. Их ветви усеяны «пищиками» — коротенькими стручками, похожими на маленькие изогнутые сабли.

Девчонка старательно разгибает стручок по шву, выбрасывает из него зерна и, приложив его к губам, пронзительно пищит.

— А я тоже умею так, — говорит Сизов, проходя мимо нее.

Он приблизился к одному из домов, проверил по адресному листку номер. Сошлось верно. Взошел на крыльцо, поправил шляпу. Очки чуть-чуть съехали на нос — виски стали влажными от волнения. Сизов вытер их носовым платком.

— Ну, это уже совсем глупо, — тихо произносит Виктор Петрович.

Он позвонил.

Дверь открылась, на пороге возник мальчик.

— Елена Михайловна Сизова живет в этой квартире?

— В этой.

— Я могу пройти к ней?

— Мамы нет дома. Она в институте.

— Сколько тебе лет? — помедлив, спрашивает Сизов.

— Девять.

Мальчик взялся за ручку двери, пытаясь захлопнуть ее, но Сизов, не двигаясь, стоит так, что дверь не прикрывается.

— Нет дома, — повторяет Сизов. — Понятно.

Он подвигал челюстями, как бы разжевывая то, что узнал сейчас, и вдруг, побледнев, спросил:

— А папа дома?

— Отпустите, пожалуйста, дверь, — дергает за ручку мальчик.

Сизов шагнул в сторону, дверь тотчас захлопнулась.

— Так. Значит, таким образом, — тихо произносит Виктор Петрович.

Он спускается вниз по крутой улице.

Только что эта улица была заполнена летним солнцем, шумели по ее обочинам густые акации, трава пробивалась сквозь булыжник, — и внезапно повалил снег —

чистый, легкий и частый. Снег валит, как в детстве, как в сказке, как может он валить только в воспоминаниях старика.

Спускается вниз по заснеженной улице нынешний Сизов. Он в шляпе, в костюме, без пальто — он тот же, что и сегодня. Снег не падает на него, не покрывает его голову и плечи.

А мимо него, справа и слева, проносятся на салазках дети. Это не современные салазки, купленные в магазине. Самодельные санки, смастеренные из чего попало, и самодельные деревянные коньки — вот на чем мчат ребята мимо Сизова. Обувь и одежда на них не по росту — отцовская, материнская, братнина. Кое-кто в развевающихся остроконечных буденовках.

Идет Сизов. Губы его шепчут:

— А я на бок — хлоп, вот качусь я в санках под гору в сугроб. . .

Когда он спустился вниз с горы к узкой речонке, к горбатуому мосту, перекинутому через нее, вокруг уже снова лето.

— Значит, так, — тихо произносит Сизов. — Таким образом. На чем же мы остановились?

Он сделал еще несколько шагов и церемонно приподнял шляпу, словно раскланиваясь с кем-то и представляясь ему:

— Здравствуйте, моя фамилия Сизов, Виктор Петрович. Может быть, ваша супруга Елена Михайловна изволила рассказывать вам обо мне? . . Не правда ли, это забавно, что она оставила мою фамилию? . .

Он взошел на горбатый мост. Отсюда ему видно, что ниже по течению землечерпалка расширяет русло реки и люди вдоль берега укладывают бетонные плиты.

Задержавшись на мосту, Сизов замечает: у самых его ног, на краю мостового быка, сидит, неудобно скорчившись, парнишка с удочкой.

— Ну как? — спрашивает Сизов. — Много поймал?

Парнишка посмотрел на него; очевидно, ему не понравилось насмешливое выражение лица Сизова, и поэтому он отвернулся, ничего не ответив.

— Я тебя спрашиваю: много наловил?

— Все мои, — мрачно отвечает рыбак.

— Да тут и рыбы-то нет. И не было никогда. И речка называется Нётечь — она никуда не течет.

— А вы почему знаете?

— Я родился в этом городе.

— Ну и что ж, что родились. Вы старый, а рыба молодая.

— Ты невежливо отвечаешь мне, — сердито говорит Сизов.

— А вы нашу речку заругали. Вы первый. По ней с будущего лета пароходы «ракета» станут ходить...

— Значит, по-твоему, я старый? — спрашивает Сизов.

Но мальчишка уже не слушает его — поплавок заплесал на воде.

Деканат института.

Отдуваясь от жары и невероятно потев, декан торопливо задвигает ящики своего письменного стола и запирает их на ключ. У его ног две переполненные авоськи с продуктами: торчат горлышки боржомных бутылок, куриные ноги, тресковые хвосты, свертки.

Стрекочет в углу машинистка.

Декан спрашивает:

— Ольга Петровна, друг мой, до которого часа открыт базар?

— Кажется, до пяти.

— Не проинструктируете ли вы меня, голубчик, как отличить сухие белые грибы от сухих черных? Они дьявольски одинаковые!.. И затем, я хотел бы уточнить, каким путем распознается в сыром виде рассыпчатая картошка? Мне велено приобрести именно рассыпчатую. И еще, Ольга Петровна, я хотел бы проконсультироваться по вопросу репчатого лука...

Декан поднял голову от стола и увидел вошедшего Сизова.

— Прошу прощения, — сказал декан. — К величайшему огорчению, со вчерашнего дня я в отпуске.

Он встал, опираясь на палку: вместо одной ноги у него протез.

Сизов собрался было уйти, но декан окликнул его:

— Минутку. У вас ко мне что-нибудь срочное?

— Да нет, — мнется Сизов. — В общем-то, пустяки. Совершенно личные пустяки, не стоящие вашего внимания...

— Послушайте, товарищ, — всполошился декан, — вы не представляете себе степень моего любопытства! Если вы не откроете мне цель вашего визита, то мой отпуск будет абсолютно отравлен... Хотите, я сам угадаю?

Сизов улыбнулся.

— Попробуйте.

— У вашего сына... — начал декан.

— У меня нет сына, — прервал его Сизов.

— У вашей дочери, замечательной и очень способной девушки, остался хвост по математике, что безусловно является следствием несправедливо завышенной требовательности преподавателей нашего факультета... Не так ли?

— Нет, не так, — говорит Сизов. — Все гораздо проще. Я окончил этот институт в одна тысяча девятьсот двадцать девятом году и, будучи нынче проездом на своей родине, хотел бы...

— Господи! — восклицает декан. — Боже мой... Альма матер! Гаудеамус!.. Решительно все понятно. Надо быть кретином, чтобы не сообразить... Сейчас мы это мигом организуем.

Быстро прохромав к дверям, декан исчезает в коридоре и тотчас же появляется, ведя за руку румяного молодого человека, несколько смущенного этой поспешностью.

— Вот, — говорит декан, — Рекомендую. Один из наших перспективных аспирантов, Петя Ткаченко.

Взял аспиранта за локоть.

— Петя, дружок, не откажите в любезности показать приезжему товарищу...

Идут по институтскому коридору Петя Ткаченко и Сизов.

Заходя вперед, молоденький аспирант распахивает перед Сизовым дверь огромной пустой аудитории, она выстроена, очевидно, недавно. И Пете очень хотелось бы, чтобы ленинградский доцент оценил ее по достоинству.

Щелкая выключателями и рубильниками, Петя зажиг скрытый за потолочным карнизом свет, включил плафон над гигантской доской у кафедры. Затем, сбегав вниз — аудитория расположена амфитеатром, — аспирант всходит на кафедру и щелкает пальцем по микрофону.

— Раз... Два... Три... — громким, торжественным голосом демонстрирует он звук и, опершись двумя руками о трибуну, словно бы изготавливается начать лекцию.

Широким, гостеприимным жестом аспирант приглашает Сизова вниз, к кафедре.

Однако Виктор Петрович так и остается у входа в аудиторию, рассеянно обводя ее невнимательным взглядом.

Они снова идут по коридору, и опять аспирант старается блеснуть перед своим вялым, апатичным спутником всеми новейшими достижениями только что отстроенного учебного корпуса.

Сизов роняет изредка на ходу:

— Отлично... Прекрасно... Достойно внимания...

И это начинает раздражать молодого аспиранта. Он постепенно увядает, уже молча сопровождая скучного гостя.

— Насколько я помню, — говорит Сизов, — красный уголок института помещался...

— У нас теперь клуб, — сообщает аспирант. — Пятьсот посадочных мест, сцена, лекционный зал, комнаты для кружковой работы... Хотите, пройдем?

— Пожалуй, не стоит. Покажите мне лабораторию физики.

— Она еще, к сожалению, в старом здании.

— Вот и прекрасно, — обрадовался Сизов.

Они стоят в лаборатории физики.

Тут много новейшего оборудования, но вряд ли Сизова можно удивить этим. Утратив надежду на это, аспирант остановился вполоборота к гостю и возится с какой-то установкой, собранной на отдельном столе. Ему хотелось бы привлечь внимание Сизова к этой установке, однако Виктор Петрович вертит в руках старенький, чепуховый вольтметр, попавшийся ему на глаза.

— А ты все такой же облезлый, — нежно шепчет Сизов.

Аспирант решительно откашлялся.

— Простите, товарищ доцент, вы интересовались когда-нибудь проблемой обледенения проводов?

Обернувшись, Сизов вежливо ответил:

— Нет, не доводилось.

— Я так и полагал, — с оттенком гордости, торопливо, боясь, что его могут не дослушать, говорит аспирант. — В этом вопросе мы первые.

И проверив еще раз, не отвлекся ли Сизов какой-нибудь ерундой, Петя, постепенно разгораясь, продолжает:

— Понимаете, какая штука, — это обледенение очень часто нарушает связь, а также прерывает подачу электроэнергии: провода рвутся от тяжести нависшего на них льда. И даже если провод выдерживает тяжесть льда, то все равно сопротивление в цепи возрастает, и связь значительно ухудшается. И вот я решил, посоветовавшись с нашим доцентом Еленой Михайловной Сизовой. . .

Виктор Петрович шагнул к аспиранту.

— С кем?

— С Сизовой. Она ведет курс общей физики, а у нас, у аспирантов, читает теорию поля.

Виктор Петрович уже стоит рядом.

— Хорошо читает?

— Отлично. Она пожилой научный работник, опытный, знающий. Вам надо непременно познакомиться с ней, она может быть вам очень полезна. . .

— А ее муж, кажется, тоже работает в вашем институте? — осторожно спрашивает Сизов, отвернувшись в сторону и закуривая.

— Муж? По-моему, она не замужем. . . Девчонки, правда, болтали, что был у нее какой-то неудачный супруг в молодости. . .

Сизов нахмурился:

— В каком смысле неудачный?

— Не знаю, я к сплетням не прислушиваюсь. . . Ну вот. Елена Михайловна тоже интересуется гололедом. Хотя эта проблема и не строго физическая, но мы полагаем, что в наше время и не должно быть «чисто научных» проблем: каждый вопрос следует увязывать с нуждами народного хозяйства.

Сизов поморщился:

— Ну, каждый вопрос, — довольно сложно. Это уж, знаете ли, грубейшая вульгаризация, от которой наша наука немало пострадала.

Аспирант обрадовался: приезжего доцента наконец-то удалось расшевелить, и сейчас затеется, разгорится науч-

ный спор, в котором Петя покажет доценту, насколько крепко поставлена теоретическая подготовка у них в аспирантуре. По правде говоря, Петя понимал, что он уже немножко загнул в своей категоричности, но отступать было поздно.

— К сожалению, — взвился он, — боязнью вульгаризации многие ученые умышленно отгораживаются от решения практических вопросов.

— «Вот такой у нас мог быть сын», — подумал Сизов, не вслушиваясь в то, что говорил Петя.

— Сколько вам лет? — спросил Виктор Петрович.

— Двадцать четыре. Это не имеет значения, — быстро и сердито добавил аспирант.

Сизов улыбнулся:

— Конечно. Эйнштейну было двадцать пять, когда он создал свою теорию относительности. А Галау погиб в двадцать три. Так что вы даже немножко запоздали. . . Ну-ка, покажите, что вы тут сочинили?

Он наклонился над установкой.

Несколько метров провода, натянутого между роликами, тяжело обвисли под тяжестью ледяных сосулек. Все это покрыто стеклянным колпаком в холодильной камере.

Аспирант врубает ток высокого напряжения, и Сизов, еще ниже склонившись к камере, с интересом наблюдает за тем, как под влиянием повышенной температуры мгновенно подтаивают и сваливаются с проводов сосульки.

— Занятно, — говорит Сизов. — По-видимому, это ваша будущая диссертация?

— Да. Я хотел бы за полгода закончить ее. Мы потому и задержались с Еленой Михайловной в городе. Вы, между прочим, читали ее последнюю статью в нашем институтском сборнике?

— Нет.

— Напрасно, — строго сказал аспирант. — Очень дельная статья. Мы лично следим за текущей литературой.

— Да-да, я отстаю, — сокрушенно произносит Сизов, и непонятно, шутит ли он или говорит всерьез.

Покуда они разговаривают, влага снова осела на проводах и превратилась в изморозь.

Аспирант, взглянув на камеру, предлагает Сизову:

— Теперь можете попробовать сами. Только не сожгите систему. . . Вы, вероятно, умеете пользоваться аппаратурой?

Не отвечая, Виктор Петрович быстро и ловко, пожалуй даже умелее аспиранта, проделывает все, что положено опытом.

Изморозь растаяла.

— Занятно, — еще раз повторяет Сизов. — В пределах лабораторного опыта — недурно.

Теперь он смотрит на Петю, как привык смотреть на своих учеников. И Петя, почувствовав это, подтянулся под его испытующим, требовательным взглядом.

— Игрушка, конечно, забавная, — говорит Сизов.

Он подумал секунду.

— Ну, а если предположить, что мы имеем дело с проводами для высокочастотной связи? Ведь в подобном случае вы не сможете пропустить по ним ток высокого напряжения.

Восхищенный сообразительностью Сизова, аспирант одобрительно кивает головой.

— Конечно. Я хочу найти такое покрытие для телефонных проводов, которое исключало бы возможность обледенения.

Виктор Петрович задает ему еще несколько вопросов, Петя бойко отвечает на них, думая при этом:

«Дельный мужик! Вечно я горячусь и делаю поспешные умозаключения о людях. Сколько раз мне об этом говорили. . .»

Они стоят у ворот института.

Уже попрощавшись, Сизов медлит уходить.

— Душно у вас в городе. . . Вряд ли Елене Михайловне так уж приятно жить летом дома. У нее, ведь, кажется, сынишка лет девяти? И мать-старуха, если она еще жива. . . Мне декан рассказывал, — поспешно добавляет Сизов.

— Федька живет в лагере, — отвечает аспирант. — Великолепный пацан. Это племянник, она его усыновила. А мать очень крепкая старуха. . .

Он еще раз сильно пожал руку гостя и по-мальчишески спросил:

— Значит, вам правда понравилась моя установка?
Сизов улыбнулся..

— Отличная штука! Через полгода будете кандидатом. Я приеду на банкет. Только не женитесь рано...

— Почему?

— Слишком рано — это всегда начерно.

— Ну вот еще! — засмеялся аспирант.

Вечер. Гористая Садовая улица.

Сейчас эта улица живет своей особой провинциальной южной жизнью.

Окна невысоких домов открыты настежь.

Лежит на подоконнике, положив под живот большую пуховую подушку, рыхлая немолодая женщина в накрученных на голове бигуди. Она лениво беседует с худенькой соседкой, лежащей в такой же позе в соседнем окне.

— Вы, душенька, какой номер колготок носите?

— Двадцать пятый.

— Ну а я — двадцать седьмой. С утра они мне как раз впору, а после обеда немножко жмут в талии. Между прочим, надо брать венгерские: в них нитка крученая...

На улице появляется прохожий. Рыхлая женщина близоруко щурится и справляется у соседки:

— Это кто пошел?

— Колесов, с десятого номера.

Рыхлая женщина кричит через всю улицу:

— Колесов, паразит, ты когда мне туалет починишь, три дня назад сдала заявку, течет без перерыва...

Из другого раскрытого окна рвутся звуки патефона, заглушающие то, что отвечает Колесов.

Еще в одном окне показался голый по пояс молодой мужчина, крепко, со вкусом растирающий мокрый торс полотенцем. К нему подошла женщина и, нежно обняв его за шею, сказала:

— Ну, Вася, ты совсем сошел с ума!..

На скамейке у ворот дома сидят две девушки, едят арбуз, и одна из них быстро-быстро рассказывает:

— Потолки — два восемьдесят, с балконом, теплоцентральный, ну просто прелесть квартирка, половину пая его папа внес, а половину я накопила...

Она доела арбуз, собирает корки в газету.

На тротуаре показался Сизов. Он приближается.

Рыхлая женщина щурится, подавшись из окна, спрашивает соседку:

— Это кто пошел?

— Не с нашей улицы, — всмотревшись в Сизова, отвечает соседка.

Девушка, евшая арбуз, поясняет:

— Старикан какой-то, он, Ольга Иванна, уже второй раз приходит, ломился к нашей Елене Михайловне, да Федька его не пустил в квартиру. . .

Под празддно-любопытствующими взглядами соседей Сизов неуверенно взошел на крыльцо и позвонил.

Щелкнул замок, дверь отворилась, и Сизов вошел в пустую прихожую, из которой наверх, в квартиру, вела деревянная лестница; дверь, очевидно, открыли, не спускаясь вниз, а дергая проволочкой за ручку замка.

На верхней площадке стоит старушка. Сизов тотчас узнал ее. И она тотчас сказала:

— Здравствуйте, Витя.

Сказала так просто, словно он только что выбегал на угол и сейчас воротился.

Из комнаты раздался женский голос:

— Мама, попроси пожалуйста, Николая Михайловича подождать меня минутку в столовой.

— Леночка, это не Николай Михайлович. Это Витя. Садитесь, Витя. Ничего, что я вас так называю?

Они уже вошли в столовую, и старушка на ходу включила электрический чайник и поставила на стол еще одну чашку.

Из соседней комнаты быстро вышла Елена Михайловна. Она остановилась на пороге, держа в руках большой гребень.

— Лена, это я, — сказал Сизов. — Я тут в городе по делам. Решил зайти навестить.

Быть может, только на мгновенье Елена Михайловна растерялась. Уже в следующую секунду она приветливо улыбнулась:

— Я очень рада, что ты догадался прийти. . . Витя, ты в очках? А я еще пытаюсь держаться. . .

— Какая-то чепуха с глазами. Вообще-то, я их ношу только для чтения. — Он снял очки и торопливо спрятал

их в карман. — Ты никуда не торопишься? Я тебе не помешал?

— Нисколько.

— Это точно?

— Совершенно точно. Где ты остановился?

— В гостинице.

Елена Михайловна всплеснула вдруг руками и рас-
смеялась.

— Ох, как мы с тобой давно не виделись! Сто лет. Даже не знаешь, с чего начать. . .

Старушка на цыпочках вышла в другую комнату. Елена Михайловна проводила ее ласковым взглядом.

— Мама очень постарела, да?.. Погоди минутку, я сейчас причешусь, все-таки ты гость.

Причесаться ей действительно следовало, но, вероятно, она оставила его одного еще и для того, чтобы дать ему немного осмотреться, освоиться.

Сизов оглядел комнату. Здесь почти ничего не осталось от их прошлой жизни. Сделав шага два, Виктор Петрович зачем-то провел пальцем по книжной полке и осмотрел палец, нет ли на нем пыли.

Он взял с полки над диваном деревянного пса с отломанным ухом.

— Узнаёшь? — раздался голос за его спиной.

— Погоди, как же он у нас назывался? — обернулся Сизов.

— Назывался он очень просто — собакон.

Она кивнула на стенку над диваном.

— Тут у мамы еще висела твоя фотография, я только после ремонта сняла ее.

— А давно был ремонт?

— Лет пять назад. Я тебя часто вспоминала, Витя.

— Но не такого, как сейчас, — против воли жалко улыбнувшись, сказал Сизов. — Ведь ты бы не узнала меня на улице?

— Не узнала б.

— Я здорово облысел.

Он провел рукой по своей голове, заново ощутив, что она лысовата.

— Знаешь что? — засмеялась Елена Михайловна. — Лучше не будем подробно останавливаться на том, как ты изменился. Это бестактно по отношению ко мне.

Они сидят за чайным столом.

Елена Михайловна видит, что Сизов чувствует себя неловко, хочет облегчить его состояние, и поэтому, как только наступает пауза, Елена Михайловна тотчас произносит что-нибудь, даже иногда не очень задумываясь над тем, что сию минуту произнесет.

— Какой ты стал солидный, Витя!.. И галстук какой красивый. Это у вас в Ленинграде продают такие галстуки?.. Ну, рассказывай. И ешь, пожалуйста, ты совершенно ничего не ешь... .

— Я хожу по городу как пьяный. Ты знаешь, Леночка, а я ведь так и не женился... Видишь, как я нелепо рассказываю: то с начала, то с конца.

— Это естественно.

Сизов посмотрел на нее, увидел внимательные и даже участливые глаза и ощутил непреодолимое желание поделиться с ней сейчас, сию же секунду всем, что затопило его за этот день.

— Я был сегодня во дворе своего детства. Странная штука: в памяти пожилого человека есть какая-то мистика — мне не кажется, что мое детство прошло навсегда, оно было, и должно вернуться еще раз. Я покупаю книги, которыми захлебывался в те далекие годы — Майн-Рида, Фенимора Купера, Луи Жаколио, — и вопреки логике убежден, что они еще пригодятся мне. Мне хочется, понимаешь, Леночка, чтобы мое будущее детство не достигло меня врасплох. Все должно быть у меня под рукой — увлекательные книги, футбольный мяч, велосипед. Все, чего я был лишен в прошлом детстве... .

Близорукими, беспокойными глазами он всматривается в лицо своей бывшей жены.

— Зачем, собственно, я все это говорю тебе?

— Вероятно, потому, что тебе хочется с кем-нибудь поделиться. Ты не умел делать это в молодости.

— Разве? — искренне удивился Сизов.

— У тебя было такое словечко — «буза». Все, что не имело отношения к занятиям в институте, ты небрежно называл бузой.

— Это тебя обижало?

— Немножко.

— Вот болван! — воскликнул Сизов. — Ладно. Запомним... Я хочу закончить свою мысль. Но если оно действительно придет, мое будущее детство, смогу ли я вести

себя так, словно не знаю, чем все кончится? На меня опрокинется мой нынешний опыт, я буду стоять по горло в нем.

И внезапно, вне всякой связи с тем, о чем он сейчас так судорожно говорил, Сизов спрашивает:

— Ты все эти годы жила одна?

— Одна.

Он залпом выпил остывший чай.

— Как глупо все устроено: когда человек способен по-настоящему чувствовать, он непомерно расточителен. А когда он начинает ценить человеческие отношения, то уже староват для чувства.

Она улыбнулась:

— Ты не извиняйся. Я ведь на тебя не сержусь.

— Лена, тебя любят твои студенты?

Она пожала плечами.

— По-моему, они ко мне прилично относятся...

— А ко мне, кажется, не очень... Они считают, что я сухарь. Ведь ты не думаешь, что я сухарь?

— Я очень мало знаю тебя.

— Но позволь!.. — возмутился было Сизов, желая, очевидно, напомнить, что она была все-таки его женой. — Хотя, пожалуй, ты права... Если бы я встретил нынче того Витю Сизова, которого ты знала, у нас возникли бы с ним серьезные разногласия. Терпеть не могу самонадеянных, глупых молодых людей!

— Нет, — сказала Елена Михайловна. — Ты несправедлив к нему. Он был неплохим юношей. Если, конечно, ничего худого в нем не проросло.

Сизов обиженно спросил:

— Что ж, по-твоему, в нем должно было прорасти?

— Я тебя мало знаю. Я говорю теоретически... Не обижайся, Витя. Сейчас мне кажется, что самое чистое время — молодость: она еще не замутнена жизненным опытом. А потом...

— Что «потом»? — спросил Сизов.

— Ты сам знаешь, что потом... Разве нам удалось остаться такими, какими мы были? Это только легко, по привычке говорится — «друзья детства», «друзья юности». Для нашего поколения это не так уж определено. Друзья юности порой оказывались совсем не лучшими друзьями.

Сизов поднялся из-за стола.

— Пожалуй, мне пора.

И помолчав, добавил:

— Лена, у меня к тебе большая просьба. Ты бы не могла выйти со мной из дому?

— Зачем?

— Ну, пройтись немного по улицам. Все-таки мы с тобой столько не виделись. . .

Они идут по вечернему городу.

Путь их лежит по тем же самым улицам, по которым они гуляли когда-то в юности. И это уже не Виктор Петрович идет с Еленой Михайловной. Это — Витя и Лена.

Они идут, держась за руки.

Лена говорит:

— Через сколько, по-твоему, лет исчезнет на земле всякая мерзость? Лет через сорок?

— Ну да, хватила! Это же громадный срок — сорок лет, целая жизнь! Представляешь себе: сегодня кто-то родился в нашем городе, откуда же у него через сорок лет возьмутся серьезные пороки? А все остальное — буза, Ленка! . .

И снова — Виктор Петрович рядом с Еленой Михайловной. На улице он чувствует себя свободнее, он не скован, как был только что в комнате.

С обочины тротуара подбегает к ним девчонка-цыганка. Она сует в руки Елены Михайловны цветы. Та отмахивается от девчонки. Сизов вынимает из корзины маленькой цыганки все букеты, платит ей, не глядя, и передает ворох своей спутнице.

Он так давно не покупал никому цветов, что ему кажется сейчас, что он совершил какой-то значительный поступок, круто изменяющий взаимоотношения. И ему приятно, что рядом идет женщина с огромным букетом в руках.

Сизов даже поправил на голове шляпу и незаметно потрогал узел своего галстука.

Они проходят мимо городского сада.

Сизов говорит:

— Если мне не изменяет память, в этом саду, в овраге, мы целовались.

Елена Михайловна отвечает:

— Тебе не изменяет память.

Пройдя несколько шагов, она добавляет:

— А оленей вовсе не доят.

— Каких оленей? — рассеянно спрашивает Сизов.

— Господи, какая чепуха иногда запоминается!..

В зоологическом саду, когда я восхитилась красотой оленей, ты равнодушно сказал, что их доят и даже есть план по молоку... И я ужасно обиделась за оленей. И почему-то за себя. А ты даже не заметил этого.

Они идут молча.

— Лена, — говорит Сизов, — я ведь приехал сюда без всякого дела. Просто так. Вышел из поезда — и все... Это оказалось сильнее меня. Понимаешь?

Она отрицательно качает головой.

— Ну, захотелось освежить в памяти, — виновато говорит Сизов. — Можно, я тебе завтра позвоню?

— Позвони.

Номер Сизова в гостинице. Ночь.

На тумбочке у постели горит неяркая лампочка под абажуром. Рассыпаны на тумбочке таблетки снотворного. Стоит стакан с водой.

Лицо Виктора Петровича на подушке, в тени. Он протянул руку, взял таблетку, запил водой.

Сизов лежит неподвижно. Возможно, он спит.

На постели, в ногах у него, возникает юноша — это Витя Сизов.

— Давай поговорим, — произносит Виктор Петрович. — Ты меня не узнаешь?

— Вы на кого-то похожи. Голос мне кажется знакомым. Где-то я уже слышал его.

— А лицо?

Юноша небрежно всматривается.

— Ладно. Черт с тобой, — нетерпеливо говорит Сизов. — Поговори со мной. Мне нужно понять, кто ты такой.

— А чего тут понимать, — снисходительно улыбнулся юноша. — Все очень просто. Я такой же, как и все.

— Так не бывает, — подавляя раздражение, говорит Сизов. — Пойми, ведь я же могу быть полезен тебе.

— Если вы имеете в виду советы, то мне их и так хватает.

— Но я же знаю, чем все кончится!

— В каком смысле? — лениво потягиваясь, спрашивает юноша.

— Я знаю, через что тебе придется пройти.

Юноша засмеялся.

— Все старики почему-то любят пугать молодых людей. Еще скажите, что я пришел на готовенькое и что в ваше время было иначе и лучше.

— Мое время — это твое время! — отчаянным голосом говорит Сизов. — Поверь, пожалуйста, в чудо: я — это ты. И ты — это я.

Впервые юноша всмотрелся в него внимательно, он даже наклонился над Сизовым.

— Сколько вам стукнуло?

— Шестьдесят.

— Неплохо. Значит, впереди у меня целых сорок лет.

— Дурак! — вскрикнул Сизов. — Ты не успеешь оглянуться, как они пролетят.

— Вот это уже пошлость, — наставительно говорит юноша. — И я бы не хотел даже в шестьдесят лет производить подобные штучки.

— Ты прав... Извини меня... Это ужасно, что мы не можем с тобой договориться... Неужели тебя не волнует твое будущее?

— Лично мое? Не очень. Как у всех, так и у меня.

— Боже, как ты глуп! — с тоской произносит Сизов. — Вряд ли из тебя что-нибудь получится...

Юноша язвительно улыбнулся.

— Между прочим, если верить вашим словам, то йз меня получились вы.

Он поднялся.

— Да-да, — виновато кивает Сизов. — Погоди. Не уходи. Спроси меня хоть о чем-нибудь. Ведь нас разделяют четыре десятилетия!

Юноше скучно. Он задает вопрос из чистой вежливости:

— Мы полетим на Луну?

— Полетим... Но до этого будет война...

— И мы ее выиграем! — радостно кричит юноша.

Сизов сел на постели.

— Пошел вон, болван! — шепчет он.

Взяв с тумбочки две таблетки, он глотает их, запивает водой и ложится, закрыв лицо подушкой.

Гостиничный номер Сизова. Утро.

Виктор Петрович в пижаме отдает горничной свой костюм.

— Прошу вас погладить срочно.

Горничная ушла.

Сизов рассказывает по своему номеру. Он в некотором возбуждении. Быть может, сказывается привычка к каждодневной работе, а здесь, в этом городе, он лишен привычных занятий.

На письменном столе лежит листок бумаги, на котором, как всегда, составлен список предстоящих дел. Сизов подошел к столу и вымарал в списке «погладить костюм».

Следующим пунктом в листке записано: «9 часов вечера, под часами».

Зазвонил телефон.

Сизов взял трубку.

— Да.

Издалека доносится голос:

— Мне Аркадия Викентьевича.

— Я же вам объяснял уже, — терпеливо говорит Сизов, — здесь, к сожалению, нет никакого Аркадия Викентьевича. Он, вероятно, выехал из гостиницы еще до моего приезда. . .

Голос в трубке сокрушается:

— Ах ты господи!.. Понимаете, какое дело, товарищ: я из района звоню. А у нас с вами связь только в восемь утра и ночью — никак не позвонить в служебное время. . . Как ваша фамилия, товарищ?

— Сизов.

Голос в трубке становится вдохновенным:

— Товарищ Сизов, у меня через сутки горячее кончается, тракторы заправлять нечем, хоть на соплях езд. . . Будьте ласковы, товарищ Сизов, зайдите, пожалуйста, в сельхозуправление к Нестеренке, скажите: звонили из Карасевской РТС — он, шельма, знает. . . Какого черта они горячее не отгружают, я на десять целковых

телеграмм им отправил!.. Ты только с ним не мидальничай, товарищ Сизов, он, зараза, вежливого разговора не понимает. А насчет Аркадия Викентьевича не беспокойся: пусть он только заявится, я ему такого хвоста наверчу!.. Все! Привет.

Это было пробарабанено в таком бешеном темпе, что Сизов не успел вставить ни одного слова. Отодвинув слегка телефонную трубку от своего уха и морщась, он только слушал. Положив трубку на место, механически записал на листке: «Сельхозуправление. Нестеренко. Карасевская РТС».

Прошелся по номеру, сказал свое привычное:

— Значит, так... Забавно. На чем же мы остановились, Виктор Петрович?..

Учреждение. Конец рабочего дня.

В хорошо отглаженном костюме, со шляпой в руке стоит Сизов перед столом Нестеренко — человека с одутловато-туповатым лицом.

Строго спрашивает:

— Значит, вы утверждаете, что горячее отгружено сегодня утром? Это точно?

Робея, Нестеренко протягивает ему накладную.

Внимательно просмотрев, Сизов возвращает накладную.

— Надлежало сделать это вовремя.

Он надел шляпу, и только тогда Нестеренко частично опомнился.

— Вы из главка? — спрашивает он. — Документик, пожалуйста.

Объясняться с этим типом Сизову лень, да и было бы это долго. Он протягивает свое институтское удостоверение.

— Я доцент Сизов.

— Понятно, — кивает Нестеренко. — Значит, по линии связи науки с производством?..

Улица. Вечер. Это та самая улица и то самое место, где в подвале были когда-то «Механические бега и скачки», а нынче — «Библиотечный коллектор».

Под городскими часами прохаживается Сизов, ожидая Елену Михайловну. Бессознательно он репетирует первые слова, которые скажет ей, когда она подойдет.

Он шепнет:

— Если мне не изменяет память, под этими часами мы когда-то встречались с тобой. . .

Эта фраза не нравится ему — окончание ее похоже на романс. Поморщившись, он начинает снова:

— Если мне не изменяет память. . .

Из-за его спины раздается голос Елены Михайловны, она приблизилась незаметно:

— Вот и наши знаменитые часы, Витя.

Он берет ее под руку церемонно и торжественно.

Ресторан. Гремит оркестр.

Сизов с Еленой Михайловной только что прошли к свободному столику. Виктор Петрович придвинул ей стул. Все, что он делает сейчас для нее, доставляет ему удовольствие. Они сели.

Заказывая официантке ужин, Виктор Петрович обернулся к Елене Михайловне:

— Можно нам выпить вина?

— Конечно! Раз уж мы пришли с тобой в ресторан, давай кутить. . . Имей в виду, у меня есть с собой деньги.

— Лена! — укоризненно говорит Сизов.

Столика через два от них сидит какая-то сильно подгулявшая компания мужчин. Один из них все время порывается встать и запеть «Стеньку Разина». Он уже несколько раз раскрывал свою пасть и неожиданно для его грузной фигуры тонким голосом начинал:

— Из-за о-о-о. . .

Друзья осаживали его на место, а сидя он петь не умел. Вся задача его собутыльников заключалась, очевидно, в том, чтобы не дать ему подняться со стула.

С живым любопытством Елена Михайловна посматривает на загулявшую компанию, и Сизов, чувствуя себя ответственным за это соседство, пытается оправдаться:

— Вероятно, у них какая-нибудь радость на службе. Может быть, кто-нибудь из них получил премию. . .

Пришла официантка, принесла вино, еду.

Сизов уже выпил два бокала вина, да и Елена Михайловна пьет и ест с удовольствием.

Гремит оркестр.

— А я был вчера в твоей институтской лаборатории, — перекрывая шум, кричит Сизов.

— Так это, значит, ты?! — воскликнула Елена Михайловна. — А мой аспирант так описал тебя...

Она смеется. Чуть обидевшись, Виктор Петрович спрашивает:

— Интересно, что же он все-таки сказал?

— Не сердись, Витя. Ты стал очень обидчивый. — Она положила руку на его локоть и тотчас убрала ее. — Тебе понравилась работа моего аспиранта?

— Проблема занятная, — говорит Сизов, — но пока еще наивно решаемая. Мне кажется, вас обоих чрезмерно покоряет остроумие самого лабораторного эксперимента... Ой, Лена, — простодушно улыбнувшись, спохватился Сизов, — ну что мы будем рассуждать об этом под музыку? Выпьем!

Они выпили.

Вероятно, вино непривычно раскрепостило Сизова, жесты его стали шире и свободнее.

— Я перебираю свою жизнь, как перебирают крупу, держа ее на ладони и выскивая сорные семена, — говорит он, наклонившись к Елене Михайловне. — В стародавние времена у пожилых людей было одно преимущество перед молодыми: старикам казалось, что они чище и точнее прожили свою жизнь. Это преимущество утрачено мной, Лена. Да-да, я знаю: я выучил физику тысячи студентов, но ведь физика — всего-навсего наука. Она существует вне нравственных категорий и идеалов.

Оркестр загрохотал особенно сильно, Сизов раздраженно оглянулся, резко поднялся и пошел к музыкантам.

Дойдя до ниши, в которой расположился квартет, Виктор Петрович дождался конца мелодии и поманил к себе первую скрипку.

Музыкант перегнулся с помоста к Сизову.

— У меня к вам покорнейшая просьба, — сказал Сизов, доставая из кармана деньги и протягивая их музы-

канту. — Вот вам десять рублей, и, пожалуйста, не играйте полчаса. Совсем не играйте, понятно?

Равнодушно кивнув и взяв кредитку, музыкант вернулся на свое место. Пианист спросил:

— Что заказал этот чувак?

— Заказал тишину, — отвечает первая скрипка и прячет свой инструмент в футляр.

За ресторанным столом по-прежнему сидят Сизов и Елена Михайловна. Очевидно, прошли уже полчаса, ибо музыка снова набирает силу. Однако сейчас это не трогает Виктора Петровича.

— Ох, как вкусно ужинать вдвоем! Лена, тебе никогда не бывает тоскливо?

— Бывает, — подумав, отвечает она. — Еще как бывает!

— Какой же я был дурак, — смотрит на нее Виктор Петрович. — Леночка, я был ужасным глупцом, и ты должна была меня остановить! Ты должна была треснуть меня по затылку, чтобы я опомнился. . .

Она молчит, медленно отпивая вино.

— Я с тобой плохо обращался?

— По-моему, нет.

— Нет, ты, пожалуйста, вспомни точнее. Ты ведь сказала, что я тебя ужасно обижал.

— Я так не говорила. Я говорила, что ужасно обижалась, но это не значит, что ты меня обижал. — Она пьет вино. — Есть такая пошлая фраза: не сошлись характерами. Мы не сошлись характерами, Витя.

— Но в чем, ради бога, — в чем?

— Мне было плохо рядом с тобой. Мне было никак. Ты жил холодной логикой. Я никогда не видела тебя взволнованным, ты был как машина, образцовый студент, запоминающее устройство. . . Может, хватит, Виктор?

Он вытер платком лоб.

— За последние годы я возвращался к этому сотни раз. . .

— Не преувеличивай, Витя.

— Знаешь, как странно, — настойчиво продолжает Сизов, — первое время я не жалел о разлуке с тобой. Это пришло позднее. . .

— А у меня наоборот. Я очень страдала первые годы, а потом успокоилась.

— Но ведь ты так и не вышла замуж? — Он смотрит на нее неотрывно. — Значит, ты все-таки любила меня? — Я тебя любила.

— Если бы кто-нибудь мог нам тогда объяснить... Если б кто-нибудь рассказал нам, что самый трудный год брака — это первый год... Сейчас я все понял: у нас не было серьезных оснований для разлуки. Я не могу вспомнить ни одного серьезного повода. Все какие-то пустяки. Гололед. Налипало, нависало, и порвалось...

— Гололед, — улыбнувшись, повторяет она. — А с ним можно бороться только двумя способами: ток высокого напряжения или гидрофобное покрытие проводов... Не было у нас, Витя, ни того, ни другого...

Комната Вити Сизова и Лены. Ночь.

Слышно спокойное тихое похрапывание. Рядом со спящим Виктором лежит в постели Лена. Она не спит.

Похрапывание внезапно прекращается.

— Что с тобой? Почему ты плачешь? — спрашивает Виктор.

Она молчит.

Он переворачивает свою подушку холодной стороной вверх и говорит, сдерживая раздражение:

— Но это же глупо, Лена, пойми... Нам же обоим на работу. Спи, пожалуйста.

Лена вскакивает с постели, накидывает халат и уходит на узкий, короткий диван.

Виктор закурил.

— Я не понимаю твоих претензий. Чего ты хочешь? Все так живут, как мы. Решительно все.

— Я не хочу, как все. Я хочу, как мы.

Глядя на вспыхивающий и гаснущий огонек папиросы, Лена чуть слышно шепчет:

— Ну, подойди ко мне... Неужели ты не понимаешь, что сейчас надо непременно ко мне подойти... Я считаю до трех, если ты не придешь до трех — значит, все, значит, ты меня действительно не любишь...

Папироса гаснет.

Слышно похрапывание.

Столик в ресторане.

Вокруг Сизова и Елены Михайловны, сидящих за этим столиком, плотная толпа танцующих пар.

Однако Сизов не замечает суеты, не слышит и гула. Его словно прорвало.

— Я хочу знать, Лена, я хочу понять, как я прожил свою жизнь. — Он даже пристукнул кулаком по столу. — Глупо считать, что все было закономерно. Нельзя жить каждый раз с нового отсчета: по нулю, и пошел дальше. Мне кажется, я жил не так, и ночью я произношу речи, вымарывая свои ошибки. Сколько их, этих ночных речей, я произнес под грохот своего сердцебиения! Двери высочайших приемных распахивались передо мной настежь. Трибуны ораторов освобождались для меня тотчас. Я ничего не просил для себя. Простота моей ночной логики сводилась к тому, что порядочному человеку должно быть хорошо, а негодяю — плохо. Я отдавал под суд клеветников, я снимал с пайка бездарных лицемеров и циников. . .

У него пересохло горло, он жадно допил вино.

Елена Михайловна тихо сказала:

— Лучшие свои поступки, Витя, мы часто совершаем под утро, лежа в глухой тьме в постели, с открытыми от бессонницы глазами. . .

— Леночка, но ведь и наяву мы же хотели и хотим, как лучше, — жалобно сказал Сизов.

Проталкиваясь сквозь толпу танцующих, к столику Сизова движется молоденький аспирант. Он тянет за собой за руку девушку. Она неохотно топчется позади него. Они то пропадают в колышущейся толпе, то снова выныривают.

— Здравствуйте, Елена Михайловна, добрый вечер!

Аспирант возник наконец рядом со столиком.

— Тоня, это Елена Михайловна, ты ее знаешь, познакомься, пожалуйста, — велит он девушке.

Аспирант узнал Сизова, поклонился ему, но, находясь в обалдело-восторженном состоянии, даже не успел подивиться тому, что Елена Михайловна оказалась почему-то в ресторане с приезжим доцентом.

— Я вас тоже знаю, — приветливо сказала девушке Елена Михайловна. — Вы учитесь на четвертом курсе медицинского, и ваш любимый предмет — хирургия.

— Уже разболтал! — шепнула девушка, толкнув аспиранта локтем.

— Товарищи, она вчера сделала такой отличный доклад! — воскликнул аспирант. — С ума сойти!

— Коля, перестань! — покраснев, она дернула его за рукав. — Никому это не интересно. . . Ты ведешь себя неприлично!

— Да почему? — искренне удивился Коля. — Раз ты сделала отличный доклад, все должны знать, и всем это очень интересно. Тоня давала мне читать, я, конечно, не специалист, но мне жутко понравилось! . .

— Коля, я тебе в последний раз говорю — сейчас же прекрати!

— Вы его не останавливайте, — говорит Елена Михайловна. — Пусть он подольше восхищается тем, что вы делаете.

— С ним совершенно невозможно разговаривать, — пожаловалась Тоня. — Мы шли сейчас по набережной, и я сдуру сказала, что мне не нравится его шляпа, которую он сегодня купил. Он взял эту шляпу и бросил в реку. А потом милиция будет думать, что кто-нибудь утонул. . .

Несмотря на ее искренне возмущенный тон, видно, что ей приятно, как он обошелся со своей плохой шляпой.

— Может, вы сядете с нами? — предлагает молодым людям Сизов; он уже давно стоит, держась за спинку своего стула.

— Нет, нет, — торопится Тоня. — Спасибо большое. Коля, нам надо идти.

— Сейчас, Тонечка. Я только скажу два слова Елене Михайловне. Простите, пожалуйста, — он на секунду обернулся к Сизову, а затем наклонился к Елене Михайловне и тихо сказал: — Я без вашего разрешения подробно не разговаривал с этим доцентом. Вообще-то он производит хорошее впечатление. Я прочитал две его толковые статьи в «Успехах физических наук». Может, стоит уговорить его, чтобы он сделал у нас на кафедре сообщение?

— Подумаем, — кивает Елена Михайловна.

Прощавшись, молодые люди уходят.

Они снова пробираются сквозь буйную толпу танцующих. Аспирант обнял Тоню, он оправдывается:

— Да мы же не помешали им, они же по делу пришли. Я тебя уверяю — по делу...

— Ну, ты только, пожалуйста, мне не рассказывай. С такими глазами не сидят по делу. Я видела, как он на нее смотрел. Ты так никогда не умеешь...

За столиком Сизов спрашивает:

— Они женаты?

— Жених и невеста, — отвечает Елена Михайловна. — Он очень способный юноша. Дай бог им счастья.

— Давай выпьем за их здоровье.

Они чокнулись и выпили.

— Как бы это сделать так, — говорит Сизов, мучительно растирая лоб, — чтобы научить людей... Чтобы научить людей ценить все это, бережно относиться друг к другу... Неужели надо стать калекой, чтобы понять это? Лена, выходи за меня замуж, — быстро проговорил он.

— Ты серьезно?

Она изо всех сил старается не улыбнуться, чтобы не обидеть его.

— Я знаю, что это звучит сейчас глупо. Но я совершенно серьезно разговариваю с тобой. Может, тебе трудно ответить немедленно, — поспешно добавляет Сизов. — Ты подумай... Я столько ждал, что могу подождать и еще. Я буду писать тебе... Писать и ждать.

— Ох, Виктор, — сказала Елена Михайловна.

— В каком смысле «ох»?

— Я представила себе выражение твоего лица, если б я сейчас сказала: ладно, я согласна. Ты, пожалуйста, не обижайся, что я смеюсь...

— Это действительно странно. Мы с тобой не дсти.

— Витя, милый, — она положила руку на его локоть и долго не убирала ее. — Это ведь ты не мне делаешь предложение. Ты приехал в город своей юности, тебя умиляет здесь каждый пустяк, и тебе кажется, что все вернулось наново. Вернее, тебе хотелось бы вернуть все наново, и теперь уже начисто...

— Хорошо, — упрямо говорит Сизов. — Я подожду. Ты права, что не веришь мне. А я прав, что верю себе...

И вот они стоят в вестибюле ресторана у гардероба.

Сизов уже в плаще. Он поджидает Елену Михайловну, одевающуюся подле зеркала.

Тут же неподалеку шумит та самая загулявшая компания, что сидела через два столика от них. Человек, страстно желавший спеть «Стеньку Разина», стоит в кожаном пальто. Он молчит сейчас и, пожалуй, ничем не напоминал бы пьяного, если бы не одна мелочь: он стоит, совершенно не пошатываясь, но под таким углом к полу, что ни одному человеку в трезвом виде не устоять бы в подобном положении.

До ушей Сизова доносится:

— Пошли, Аркадий Викентьевич! Пошли ко мне, дома доберем!..

Быстро обернувшись, Сизов видит, что обращаются к человеку в кожаном пальто.

Шагнув к нему, Сизов сухо и отрывисто спрашивает:

— Вы работаете в Карасевской РТС?

Услышав название своего места работы, человек частично пришел в себя, поднял на Сизова жалкие глаза и кивнул.

— Какая мерзость! — жестко сказал Сизов. — Вы напились как свинья. Вы не выполнили того, что вам было поручено. Немедленно, сегодня же извольте отправляться к себе в район!

И Сизов отошел к Елене Михайловне, взял ее под руку, они направились к выходу.

Один из собутыльников Аркадия Викентьевича спрашивает его шепотом:

— Это кто такой?

— Ревизор, — трезвым упавшим голосом отвечает Аркадий Викентьевич. — Опять выгонят к чертям собачьим...

Идут по улице Сизов с Еленой Михайловной. В ночной тишине стучат их каблуки. Сейчас видно, что оба они — немолодые люди.

— Помнишь, — говорит Сизов, — как ты продала из-за меня свои туфли?

— Помню.

— Я был тогда ужасной скотиной. Прости меня, пожалуйста, я совершил гадость.

— Неправда, — говорит она. — Кажется, это был твой единственный легкомысленный поступок за всю нашу жизнь.

Они идут.

— Витя, а ты по-прежнему записываешь на листочке все, что тебе надо сделать на следующий день?

— Записываю.

— Я как-то дописала в твоём листочке: «Поцеловать Лену перед сном».

— И я это сделал?

— Нет. Я порвала листок.

Они свернули к мосту. Сизов замедлил шаги у перил, смотрит в темную воду.

Он робко спрашивает:

— А может, все дело в шляпе?

— То есть? — не поняла Елена Михайловна.

— Может, все дело в том, что я никогда, по-твоему, не смог бы выбросить новую шляпу в речку?.. Ну, хочешь, брошу?

Он снял шляпу и неловко замахнулся ею.

Елена Михайловна отобрала ее и надела на его голову.

По гористой Садовой улице они дошли до порога дома, попрощались молча. Хлопнула дверь за Еленой Михайловной.

Медленно и устало идет Сизов. Проходя под акацией с низко нависшими ветвями, он срывает на ходу стручок, останавливается под фонарем и, раскрыв ногтем стручок, очищает его от зерен, как делал это когда-то в детстве. Затем приложил этот «пищик» к губам, дунул, попробовал запищать, но у него ничего не получилось.

СТАЖЕР



Перед небольшим стенным зеркалом в прихожей стоит юноша лет двадцати. Он щупловат, невысокого роста — в зеркале виден не полностью, ему приходится сейчас тянуться, чтобы повязать на свою ломкую шею галстук. От старательности Саша Овчаренко даже приоткрыл рот и высунул на сторону кончик языка. Новая рубашка мешковато топорщится на его груди. С галстуком у него определенно не ладится.

Дверь из прихожей приоткрыта в комнату. Здесь за столом готовит уроки девочка в школьном переднике. Она искоса насмешливо поглядывает на брата.

— Господи, ну кто же так делает?! .

Вскочив, подбежала к нему.

— Стой смирно. Не верти головой! — командует Лида.

Покуда она ловко завязывает ему галстук, он нетерпеливо посматривает на свои часы, поднеся руку к глазам.

Лида окинула его критическим взглядом с ног до головы.

— Почисти туфли.

— Ладно, обойдется.

Он подхватил новенький огромный портфель, заглянул в него — пустовато пока, — застегнул клапаны и исчез.

Вниз по лестнице, с портфелем в руках, мчится Саша Овчаренко, перемахивая через ступеньки. Последний марш съезжает, присев на перила.

Выбежав из подъезда, он торопится по людной дневной улице к приближающемуся троллейбусу. На остановке полно народу, Саша вскочил в дверь последним, она захлопывается за ним, оставив на весу, снаружи, его руку с портфелем.

Проехав несколько метров, троллейбус останавливается, дверь распахивается, и в динамике раздается злой голос водителя:

— Прекрати безобразие, парень! Если сейчас же не выйдешь, сдам милиционеру!..

Вытесненный на улицу, помятый, Саша бежит к следующей остановке.

Против письменного стола сидит в неудобной позе худенький Саша Овчаренко. Волосы его тщательно причесаны, но на макушке торчит встрепанный хохолок, очевидно приобретенный им в троллейбусе. Саша опустил на стул, не угодив от неловкости в середину сиденья, и теперь ему хотелось бы вдвинуться поудобнее, поглубже, однако он стесняется сделать это.

Чей-то негромкий вежливый голос спрашивает его:

— Значит, пятый курс? На практике впервые?

Саша кивает.

— Надо полагать, пошли на юридический по призванию?

— Я еще с восьмого класса надумал... — Он начал было доверчиво улыбаться, но тотчас, очевидно решив, что это как-то несолидно выглядит, сурово сдвинул брови.

— Если не секрет, что именно привлекло вас к данной профессии?

— Привлекла возможность активной борьбы с преступностью.

В тоне молодого практиканта прослушивается студенческая старательность: он убежден, что именно так следует отвечать в подобных обстоятельствах.

— А не кажется ли вам, Александр Семенович, что это слишком общо звучит? И чуточку слишком красиво?

За столом сидит начальник следственного отделения капитан милиции Селезнев. Наружность у него штатская, костюм штатский, он в очках, поджарый, лишен какой бы то ни было молодцеватости и больше смахивает на молодого научного работника, нежели на капитана милиции.

Саша смущенно умолк.

— Расскажите-ка, пожалуйста, немного о себе, — говорит Селезнев.

— Что именно? — спрашивает Саша.

— Да что хотите. Спортом увлекаетесь?

— Играю немножко в волейбол. И в настольный теннис. Так, для себя.

— Живете с родителями?

— С мамой... С матерью, — быстро поправил себя Саша. — И с сестрой...

— А отец?

— Отец ушел от нас, когда мне было десять лет.

— Понятно, — сказал Селезнев. — Если мой вопрос огорчил вас, прошу извинить... Ну, а в какой области нашей следственной работы вы хотели бы проходить практику?

— Мне трудно сказать.

Селезнев улыбнулся.

— Вероятно, мечтаете участвовать в расследовании какого-нибудь сложного уголовного дела: убийство, грабеж, крупное хищение?

— Да нет, мне в общем-то... Я как-то не задумывался...

— Детективной литературой увлекаетесь?

— Особо — не скажу, но попадаются интересные книжонки. Я больше люблю стихи.

— Евтушенко, что ли?

— Лермонтова.

— Ясно, — сказал Селезнев.

Ничего ему еще не было ясно, да он и не ожидал особой ясности от этого первого прикидочного разговора с зеленым практикантом. Столько их прошло перед Селезневым за годы его службы, и так по-разному выстраивались затем их характеры и судьбы, что он приучил себя не слишком доверять своему первому впечатлению. Вопросы, которые он задавал этим молодым людям, сложились у него давно — он мало разнообразил их, отлично

понимая, что, какой бы вопрос ни был им задан, взволнованный юнец сочтет его сугубо индивидуальным, придуманным исключительно для него.

Самым же важным в этой первой беседе Селезнев полагал, пожалуй, то напутствие, которое он произносил обычно в заключение. Оно тоже сложилось не сейчас, а давно, в результате служебного опыта, но в это напутствие Селезнев уже всякий раз вносил коррективы, соображаясь все-таки со своими впечатлениями от первого знакомства.

И сейчас, глядя на этого раздумывавшегося и встрепанного юношу — с ним, надо полагать, достанется немало возни, — Селезнев суховато начал:

— Вот о чем я хотел бы предупредить вас, Саша. В нашей работе поэзия начисто отсутствует. И заниматься вам придется грубейшей прозой жизни. «По небу полуночи ангел летел» — это Лермонтов не про нас сочинил. День у вас будет ненормированный. И в том смысле ненормированный, что даже в свободное от работы время вы все равно никуда от нее не денетесь — она будет снижаться вам. Это — первое. Второе: в ваших руках сосредоточится немалая власть. А это — штука чрезвычайно острая и опасная. От нее порой мутится в башке, простите за грубость. И третье: главным в вашей работе будет то, чему вас не учили в институте, — умение общаться с самыми разноликими людьми. Умение понимать, чем они живут. Ясно?

— Ясно, — кивает Саша.

Селезнев поморщился.

— Откровенно говоря, не думаю, что вы так уж ясно представляете себе, какая тяжелая и ответственная работа вам предстоит.

Он посмотрел на Сашу.

— Напугал?

— Нет, — отвечает Саша.

— Жаль. Уж лучше бы вы испугались вначале, а потом это постепенно бы ушло.

Он взял со стола папку, очевидно загодя приготовленную, и протянул ее практиканту.

— Разберитесь, пожалуйста, с этим. Тут два свежих материала, поступивших в наш райотдел только на днях.

Саша открыл тоненькую папку — в ней совсем немно-

го бумаг, — он быстро проглядел их и, подымаясь, бойко спросил;

— По ним надо возбуждать уголовные дела?

Селезнев развел руками.

— Свою точку зрения, товарищ практикант Овчаренко Александр Семенович, надлежит вырабатывать самостоятельно. И, выработав, отстаивать.

— А если я ошибусь? — спросил Саша.

— В нашем деле ошибаться не положено. — Селезнев поднялся, чуть-чуть улыбнувшись.

И Саша пошел к дверям уверенным, как ему казалось, и деловитым шагом, держа в одной руке большой пустой портфель, в другой — папку.

Селезнев снял телефонную трубку, набрал короткий номер.

— Кирилл Иванович, зайди на минутку ко мне.

Перед столом Селезнева стоит Кирилл Иванович Гордеев — старший следователь райотдела внутренних дел. Это хмуроватый немолодой человек, лет на десять постарше Селезнева, однако они в равных званиях.

— Как у тебя с овощами? — спрашивает Селезнев.

— Потихоньку двигаюсь. Пока три эпизода, но там должно быть больше. На завмага я уже вышел.

Селезнев полистал календарь на столе.

— Знаешь, какое сегодня число?

— С утра было двадцатое.

— Конец месяца, скоро бабки подбивать. Истечет санкция прокуратуры, сам пойдешь к ним вымаливать продление. . . Теперь вот что, Кирилл Ивапыч. Я к тебе в кабинет посажу одного парнишку. . .

— Новенький?

— Ага. Ты уж присмотри за парнем, Кирилл. Я тут побеседовал с ним, по-моему, он еще совсем сырой.

— А что ты ему дал для начала?

— Один мелкий грабеж и одно бытовое.

— С улицы Разина, дом пятнадцать?

— Именно.

— Хитер, — хмуро улыбнулся Гордеев.

Кабинет следователей.

Два стола в разных концах комнаты. За одним из них — Саша Овчаренко. В пишущую машинку, стоящую перед ним, вправлен лист протокола допроса.

По другую сторону стола, устало откинувшись на спинку прямого стула и безвольно вытянув руки на коленях, сидит худенькая женщина лет сорока; по ее лицу текут привычные слезы, она не вытирает их, да, вероятно, и не чувствует их.

Она продолжает говорить монотонно, как человек, которому часто приходится повторять обстоятельства своего горя:

— Тверезый, он пальцем никого не тронет, а как нахлещется вина, мы с дочкой — не родная она ему — целную ночь по улице ходим. . .

— Когда это произошло у вас в последний раз? — спрашивает Саша.

— Третьего дня произошло. Явился домой в десятом часу вечера, дочку я только спать уложила, вижу, он сильно хвативши, говорю ему сперва по-хорошему: Костя, пожалел бы ты хоть ребенка, я тебе постелю сейчас постель, ляжешь, проспишься. . . А он — поверите, милый, — подхватил со стола тарелку с борщом — я же для него и приготовила — и об пол! Что же, говорю, ты, паразит, делаешь? Где же, говорю, я на тебя посуды напасусь, последняя была глубокая тарелка, все перекуделил! Ну, тут у нас и пошло! Схватил он со стола нож и стал гоняться за мной по комнате. . .

Все то время, что несчастная женщина, всхлипывая, рассказывает, мы видим за вторым письменным столом склонившегося над бумагами человека — он пишет, не подымая лица. Сейчас он выпрямился — это Гордеев, — снял с аппарата телефонную трубку, набрал номер.

— Отдел кадров? Старший следователь Гордеев. Я вас, товарищ, кажется, еще на прошлой неделе просил прислать мне характеристики на двух работников овощного магазина вашего пищеотдела. То есть как это недостаточно знаете их? Тогда извольте написать официальную справку, что вы отказываетесь. . .

Покуда Гордеев разговаривает по телефону, Саша Овчаренко стучит на машинке, записывая рассказ плачущей женщины. Мы видим в листе протокола «Допрос

потерпевшей» последнюю фразу: «...схватил со стола нож и стал гояться за мной по комнате».

— Какой нож? — спрашивает Саша.

— Которым хлеб режут.

— Длинный, с острым концом?

— Кончик у нас обломившись: Вася открывал им консервы-бычки и обломил.

Саша стучит на машинке: «Нож был кухонный, с обломанным концом».

— Рассказывайте дальше, — говорит он.

— А чего дальше? Сил моих больше нету... Не знаю, милый, как и жить-то: кругом люди как люди, праздники справляют, ходят в кино, телевизор берут в рассрочку, а он, зверь, снял покрывало с кровати, снес в буфет-забегаловку, налили ему там литр бормотухи — разве ж это возможно?..

Гордеев вышел из кабинета, идет по коридору райотдела. Здесь на скамьях и на стульях сидят люди, вызванные в милицию, и те, кто пришли сами. Для Гордеева это обычная картина, он не задерживает своего внимания на посетителях.

Открыв ключом одну из соседних комнат, Гордеев быстро вошел, снял телефонную трубку внутреннего аппарата, набрал короткий номер.

В кабинете Саши Овчаренко зазвонил телефон. Саша взял трубку.

— Следователь Овчаренко! — рапортует он: ему уже не раз доводилось слышать, что именно так откликаются по телефону опытные работники.

В соседней комнате Гордеев говорит в трубку:

— Это все распрекрасно, что ты себя следователем именуешь. Но только я хотел посоветовать тебе: не порть ты с этой бабой бланк протокола допроса... Как там у тебя слышимость — аппарат не фонит, она ничего не слышит?.. Ты лучше спроси у нее, в который раз она

приходит к нам в райотдел? И намерена ли нынче подтвердить на суде свои показания? А также вводи ее в берега, а то проканителишься с ней, она тебе полную комнату наговорит...

Быстро взглянув на женщину и увидев, что она поглощена своим горем, Саша тихо произносит в трубку: — Кирилл Иванович, в тактике допроса есть понятие «свободного рассказа»...

— То в тактике, а я тебе говорю — в практике! — слышится досадливый голос Гордеева.

Саша Овчаренко положил в своем кабинете трубку.

Женщина продолжает рассказывать:

— Покрывало пропил, плащ мой болонью тоже пропил, два полотенца махровые, и еще обзывается — я, говорит, не обязан твою паразитку кормить...

Саша спрашивает:

— Скажите, Марья Александровна, а вы раньше приходили с жалобами на своего мужа в наш райотдел?

— Ой, милый, и куда я только не ходила! Ведь мы прежде хорошо с ним жили, пока он не принялся вино пить. У него руки золотые — пятого разряда маляр, и на работе его все уважали... А как стал закладывать, уже десятое место сменил...

— Погодите, Марья Александровна, давайте по порядку. Значит, он взял со стола нож с обломанным концом и бросился на вас?

— Бросился, — кивает женщина.

— Дальше.

— Дочка моя проснулась, заплакала, кинулась ему под ноги, кричит: дядя Васенька, не надо! А он отшвырнул ее — это шестилетнего-то ребенка...

— Ударил ее? — спрашивает Саша, печатая.

— Нет, не ударил, только отшвырнул в сторону. Кабы ударил, я б его убила, чем ни попадя убила б...

Она плачет горько и безысходно.

Саша протягивает ей стакан воды.

— Так все-таки давайте закончим эпизод с ножом.

— Простите меня, — отпив воды и расплескав ее себе на плащ, говорит женщина. — Мне ведь и погорбиться-то

некому, одна я на всем белом свете, ради ребенка только и живу. . .

— Но ведь вы сами говорите, что приходили в милицию с жалобами на мужа. Неоднократно приходили?

Она кивает.

— А разве милиция не принимала никаких мер?

— Принимала. Десять суток давали. Пятнадцать суток — тоже. . . Вернется — сперва вроде потишее, а потом еще того хуже: ты, говорит, меня легавым продаешь, я, говорит, для тебя — никто. . . Видите, какое дело — он ревнует меня, что ребенок не от него.

Саша спрашивает:

— Ну а почему вы продолжаете жить с ним, если он с вами так обращается?

— Жалею его, — отвечает женщина. — Жалею ирода. . .

Помолчав мгновение, Саша спрашивает:

— А ножом-то он все-таки ударил вас или не ударил?

— Нагнал он меня, когда я вокруг стола бегала, ухватил за волосы, хотел бросить на пол, но только мы вместе упали, я, конечно, кричу, дочка уже в коридоре плачет, прибежали соседи. . . Сраму-то, господи!

— Разве они впервые слышали скандал в вашей комнате?

— Какое — впервые! Так ведь все равно совестно от людей. У нас хорошие в квартире соседи. Отняли они у него нож, а он скрипит зубами: зарезу тебя не сегодня-завтра. . .

Саша стучит на машинке.

— Все, что вы мне рассказали, вам надо будет потом подтвердить на суде. Это, очевидно, вам известно?

Он вынул лист из машинки, протянул его женщине.

— Прочитайте, Марья Александровна, и вот здесь внизу напишите: «Мои показания мною прочитаны, записаны они верно, в чем и расписываюсь». А если вы с чем-нибудь несогласны, скажите, я исправлю.

Женщина читает. Подняла голову.

— А когда суд-то будет?

— Точно сказать не могу, но, вероятно, скоро. Я опрошу свидетелей — ваших соседей по квартире, возьму характеристики по месту работы и месту жительства вашего мужа — это займет не много времени.

— И сколько же Васе дадут?

— Срок определит суд. А статьи, по которым ему будет предъявлено обвинение, две: двести шестая, часть вторая — хулиганство с особой дерзостью, и двести седьмая — неоднократные угрозы убийством...

Проходная следственного изолятора. Солдат конвойных войск сидит в небольшой застекленной комнате-дежурке, оконца которой выходят на две стороны — к дверям с улицы и к проходу в тюрьму. Перед солдатом — пульт со множеством тумблеров.

Солдат смотрит последнюю страницу «Огонька», решая кроссворд.

Хлопнула входная дверь с улицы, вошли Гордеев и Саша Овчаренко.

— Давай твои «корочки», — говорит Гордеев.

Он протягивает в оконце два удостоверения. Солдат нажал тумблер на пульте — над дверью, ведущей внутрь тюремного прохода, зажглась электрическая надпись: «Прошу пройти».

Щелкнул автоматически отпертый замок.

Войдя в эту дверь и пройдя по коротенькому коридору, Гордеев с Сашей оказались в небольшом дворе. Тяжелое кирпичное здание тюрьмы старинной кладки, с улицы не видное, а здесь возникшее перед Сашиными глазами, словно бы придавило его.

Они пересекли этот узкий, пустой, заасфальтированный намертво дворик — ни деревца здесь, ни кустика — и вошли в подъезд.

Снова и снова предъявляются на конвойных постах «корочки»-удостоверения. Длинные, до лоска чистые коридоры с бесконечными поворотами, каменные лестницы с вытоптанymi ногами арестантов ступенями — этой тюрьме добрых, вернее недобрых, двести лет — уводят все дальше и глубже в самое нутро изолятора.

— Страшновато здесь, — говорит Саша.

Гордеев мельком, на ходу, взглянул на него.

— Это тебе по первому разу. А вообще-то, честному гражданину не должно быть страшно. Что же касаясь всякого жулья, то для того и тюрьма, чтобы он ее боялся.

Они прошли еще немного, коридор внезапно расши-

рился, превратившись в нечто вроде огромного зала, куда выходят десятки дверей следственных кабинетов.

— Между прочим, — говорит на ходу Гордеев, — к твоему сведению, в камерах имеются шахматы, шашки, радио. А также библиотекарь снабжает заключенных книгами и газетами. Иной гад того дома не имеет, чего ему дают здесь. Харчи, конечно, пожиже — так ты не воруй, не грабь, не занимайся хищением. Верно я рассуждаю, товарищ практикант? — улыбнулся Гордеев и дружелюбно положил руку на Сашино плечо.

— Верно, — тихо отвечает Саша.

Подле открытой двери пустой следственной камеры они остановились.

— Вот на сегодня твой кабинет. Располагайся. Сейчас приведут сюда твоего заключенного. — Гордеев внимательно взглянул на Сашу. — Ты не робей, друг. Дело у тебя простое: мелкий грабеж, фабула несложная, один эпизод. Вот с той гражданочкой, по бытовому с улицы Разина, ты еще намаешься, а здесь — ерундовина. Главное — наладь психологический контакт с обвиняемым, расположи его к себе. И протокол оформляй как следует, а то Селезнев с тебя шкуру спустит, ты не смотри, что он такой ласковый... В случае, захочешь посоветоваться — я в третьей камере своих торгашей разматываю. Ох, доложу тебе, и жулики — пробы на них негде ставить!.. Богатейшая у нас страна: сколько ни воруют, а все еще остается!..

Саша оказался один в следственной камере. Это обычная комната, ничуть не похожая на тюремную, разве только решетка, расположенная между рамами большого светлого окна, напоминает об отсутствии свободы. Да еще, если присмотреться, можно заметить, что лаконичная обстановка этой комнаты — стол, два стула, табурет — привинчены наглухо к полу.

Саша увидел все это тотчас, покуда раскладывал на столе бумаги, папку и добыл из недр своего большого новенького портфеля портативную машинку с инвентарным номером райотдела. Стоя, он еще успел украдкой заглянуть в книгу «Тактика допроса», заложенную вкладами в нескольких местах. Затем прикрыл ее на столе газетой.

Сев за стол, он вправил в машинку чистый бланк протокола допроса.

В камеру вошел, сопровождаемый сзади женщиной-конвойной, высокий молодой парень, русоволосый, с лицом, не лишенным приятности, пожалуй лишь слишком бледный, как бывают бледны люди, живущие без чистого воздуха.

— Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, — говорит Саша, указав на табурет перед столом.

Пареньсел. Конвойная вышла из камеры.

— Давайте знакомиться: следователь Овчаренко, — представился Саша. — Попрошу вас сообщить анкетные данные о себе. Фамилия, имя, отчество?

— Игнатъев, Федор Ильич.

— Год рождения?

— С пятьдесят четвертого года.

Быстро печатая ответы парня, Саша задает ему еще два-три анкетных вопроса, вслушиваясь не столько в содержание ответа, сколько в тон парня.

— Образование?

— Девять классов.

— Комсомолец?

— Платил членские взносы.

— Место работы, должность?

— В таксопарке, автослесарь.

Заполняя первую страницу протокола допроса всеми этими установочными данными, которые были уже известны Саше загодя из материалов дела, он украдкой поглядывает на Игнатъева. В память Саши крепко врубилась цитата из «Тактики допроса»: «Во время записи анкетных сведений следователь производит как бы разведку психологии допрашиваемого: выясняет, какой тип этого человека — открытый, скрытый, мрачный, оптимистичный...»

Взглянув еще раз на парня, Саша закончил печатание.

Он кашлянул для солидности, закурил и начал:

— Расскажите, Игнатъев, что произошло с вами в субботу, восемнадцатого мая, около десяти вечера, возле магазина «Гастроном» на улице Куйбышева?

— С какого места начинать?

— Вы пришли к этому магазину один?

— Двое мы пришли.

— Кто был кроме вас?

— Коромыслов Петр.

— А куда же девался Иван? — спрашивает Саша.

— Какой Иван?

— Томилин. Тот, с которым вы вместе, втроем, распивали в этот вечер спиртные напитки в подъезде дома на углу улицы Печатников и Мухинского переулка.

Игнатьев молчит.

— Сколько вы выпили тогда?

— Я лично? Красного полкило. Ну, бутылку, значит.

— И больше не добавляли?

— Грамм по двести «Старки» добавили.

— И что было дальше? Рассказывайте все по порядку, как было дело. Ставлю вас в известность — чистосердечное признание облегчит вашу участь.

— Так чего рассказывать, вы и так все знаете... Ну, выпили мы, пошли гулять. Гуляли нормально, никого не трогали. А около «Гастронома» стоит гражданин, курит. Я подошел к нему с Петькой Коромысловым, попросили мы прикурить. Он чиркнул зажигалкой, Петька стал прикуривать, а я снял с гражданина меховую шапку и побежал. Петька — за мной...

— Минутку, — перебил его Саша. — А гражданин не погнался за вами?

— Не погнался.

— Почему?

— Он с палочкой был. Хромой. Бежать он за нами не побежал, а только закричал вслед, чтоб задержали.

Саша спросил:

— Что именно он крикнул?

— Крикнул: держите эту сволочь! А Иван стоял в подворотне напротив, он и бросился за нами следом...

— Это вы, значит, заранее договорились, чтобы ограбленный гражданин подумал, будто Томилин Иван хочет задержать вас?

— Да нет, ничего мы не договаривались: увидели ребята, что я бегу, ну и они все побежали.

— А Коромыслов, который прикуривал, знал, что вы сейчас сорвете шапку?

— Не знал.

— Значит, по-вашему, получается, что из всех троих только вы один и сообразили ограбить человека?

— Я один... — Игнатъев широко улыбнулся. — Да и какой это грабеж, товарищ следователь? Так, озорство, по пьянке... Молодежь же мы... Может, я б ему и вернул потом шапку, кабы он меня сволочью не обругал. Шапка, между прочим, была хреновая, старая...

— А скажите, Игнатъев, когда вы ее срывали, зачем ударили человека кулаком в лицо?

— Не бил я его. Брехня это.

— А почему у него лицо оказалось в крови?

— Ну, может, случайно и задел локтем, когда брал шапку.

Невольно сорвавшись, Саша произносит чуть повышенным голосом:

— Брал шапку! В магазине ты, что ли, ее брал?.. Ладно, продолжим. Что было дальше?

— Зашли мы в «Дунай», сели за столик. Тоська подала нам портвейну, салат принесла, котлеты.

Саша спрашивает:

— Кто платил?

— Я платил. Получка у нас в парке была, при деньгах я был.

Игнатъев поднял глаза на Сашу, сообразил, очевидно, что врать в этом пункте бессмысленно, и сказал:

— Шапку я дал Тоське. Она мне за нее тридцатку принесла.

— Принесла она вам тридцать пять рублей. Может, хотите прочитать показания официантки Антонины Гуляевой?

— На кой они мне, — мотнул головой Игнатъев.

— Значит, за старую, как вы утверждаете, хреновую шапку вами было получено тридцать пять рублей. Дорого в «Дунае» расцениваются головные уборы!

— Поди достань ее, меховую, — из ондатры она была.

— Значит, и не такая уж старая?

Игнатъев молчит.

— Потерпевший купил ее за два дня до того, как вы его ограбили. Врал бы уж половчее... Официантку Антонину Гуляеву давно знаешь?

— Не подсчитывал.

— А сколько раз приносил ей со своими друзьями награбленное — подсчитывал?

— Вы на меня голоса не повышайте. Я прокурору пожалуюсь. Не на маленького нарвались. У меня пять

благодарностей в парке, я прошлый год на доске почёта висел...

Что-то окончательно сорвалось в душе практиканта Саши Овчаренко — остановиться ему уже трудно. Он резко вынул из своей папки чистый лист бумаги, протянул его рывком Игнатьеву:

— На, пиши жалобу! Пиши, что я согласен с тем, как тебя обозвал потерпевший, когда ты его — старого, хромого, больного! — бил и грабил. Да еще напали вдвоем на одного!..

Квартира Овчаренко. Вечер.

Зинаида Петровна проверяет за столом ученические тетради — большая их стопка лежит рядом. Хлопнула входная дверь, вошел Саша, усталый, с тяжелым портфелем в руках.

— Почему так поздно? — не оборачиваясь, спрашивает Зинаида Петровна.

— Ты меня каждый вечер спрашиваешь об этом.

Мать удивленно обернулась на его досадливый тон и спокойно сказала:

— Поешь. Обед на кухне.

Он прошел в кухню, открыл одну кастрюлю, другую, вынул из духовки латку. Не присаживаясь, тут же у плиты ест.

Из комнаты раздается голос матери:

— Неужели так трудно разогреть еду и поесть сидя?

Он зажег горелки, погрел немного обед и сел в кухне за стол.

Появилась Зинаида Петровна.

— Что с тобой происходит, Саша?

— Ничего особенного. Все в порядке, мама.

Она моет посуду и тихо произносит:

— Растишь детей, а они уходят от тебя все дальше и дальше. Даже Лида в свои пятнадцать лет уже считает, что я не могу ее понять.

— Дуреха она. Кстати, почему ее нет дома?

— Она во Дворце пионеров.

— А ты знаешь, с кем она там водится?

— Что значит «водится»?

— Ну, встречается.

— С ребятами из своего класса.

— В классе сорок человек. Не можешь же ты знать буквально каждого. Да и вообще, у учителей далеко не всегда точное представление о своих учениках.

Она села, сложив руки с кухонным полотенцем на коленях. Грустно посмотрела на Сашу.

— Этому тебя уже научили в милиции?

Через стол он погладил мать по руке.

— Прости меня, мама. Со мной делается какая-то чепуха. Можно, я задам тебе один вопрос, который никогда в жизни еще не задавал?

— Конечно, Саша.

— Почему отец ушел от нас?

— Вероятно, потому, что разлюбил меня.

— Мне было десять лет. Я хорошо помню, что вы никогда не ссорились.

— Мы старались, чтобы ты этого не слышал.

— Значит, все-таки это у вас было — он обижал тебя, вы ругались?

— Это все не те понятия, Саша: ссорились, ругались... Было горе, ужасное горе, мне казалось, что жизнь кончилась. А потом прошло время, и теперь мне даже трудно представить себе, что я тогда так мучилась. Головой я это понимаю, а сердцем — нет.

— Но ведь тебе было трудно с двумя детьми?

— Трудно.

— А почему ты не брала с отца деньги?

— Из гордости. — Она улыбнулась. — И еще — из мести: я хотела, чтобы у него были угрызения совести.

— И ты считаешь, что они у него были?

— Вероятно. Не надо думать о нем плохо, Саша. Я тебя никогда этому не учила.

— А я вообще никогда о нем не думаю. Его нет для меня, понимаешь — нет!

— А между тем ты на него очень похож, Сашенька. По вспыльчивости, по тому, что ты тоже любишь холодные макароны...

— Значит, по-твоему, я тоже мог бы бросить жену с двумя детьми? — вскипел Саша.

— Этого я не знаю, — спокойно отвечает Зинаида Петровна. — Я только знаю, что в жизни не бывает двух совершенно схожих случаев. И что не всякий человек,

разлюбивший жену, — негодяй... Может, довольно, Саша?

Он встал, обнял ее, поцеловал и внезапно по-мальчишески просторно улыбнулся:

— Знаешь, мать, как принято называть в милиции такую семью, как наша?.. Неблагополучной.

Зинаида Петровна посмотрела на него удивленно.

— Как же, — говорит он и даже загибает пальцы, перечисляя: — Отца не было, денег не хватало, я пять лет воспитывался у бабки в деревне, ты корячилась здесь, подымая на ноги Лидку... По всем параметрам из меня мог получиться ворюга.

— Господи, что ты только болтаешь, Саша! И потом, я прошу тебя не употреблять при мне этих отвратительных слов — корячилась, ворюга...

Они вышли из кухни в комнату.

— Тебя не беспокоит, что Лиды до сих пор нет? — спрашивает Саша.

Мать посмотрела на часы.

— Задержалась, очевидно, на тренировке.

— Ладно, все равно башка трещит, пойду на-встречу...

По лестнице быстро спускается Саша. Последний марш он съезжает по перилам и тотчас сталкивается внизу, в подъезде, с сестрой. Она стоит здесь с мальчиком лет шестнадцати. Нисколько не смутившись, Лида говорит мальчику:

— Знакомься, Миша. Это мой брат Саша. Ты куда, Сашка?

— Между прочим, старших принято рекомендовать по имени-отчеству. Меня зовут Александр Семенович. — Он протянул мальчику руку.

— С ума сойти! — говорит Лида. — Ты забыл еще сказать, что служишь в милиции.

— Тебе известно, который теперь час?

— Известно.

Саша обернулся к несколько растерянному Мише.

— От лица нашей семьи и от своего лично приношу вам глубочайшую благодарность за то, что вы проводили

мою сестру. А также полагаю, что ваши родители озабочены вашим долгим отсутствием.

— Прекрати сию минуту! — вспылила Лида. — Мишка, не обращай на него внимания — это у него такие глупые шутки.

— Пожалуй, я действительно пойду, — говорит Миша. — До свидания.

Смущенно кивнув, он ушел.

По лестнице поднимаются брат с сестрой.

— Ну ладно, — говорит она. — Ты у меня еще это попомнишь, Сашка!

— А что я такого особенного сделал? — миролюбиво отвечает Саша. — Он сам испугался и удрал. Я бы, например, на его месте ни за что не ушел.

— Ах, так? — Лида даже захлебнулась от возмущения и ярости; она остановилась, готовая бежать вниз.

— Стой, дуреха, — взял ее за руку брат. — Не волнуй мать: она себя неважно чувствует. Сейчас ты войдешь и скажешь: извини, мамочка, я немного задержалась...

Они остановились подле двери в квартиру. Саша возится с ключами.

— Кстати, ты мне не сказала, кто этот парнишка? Где ты его откопала? По-моему, он старше тебя.

— Шпион милицкий! — шепотом огрызнулась Лида.

Они вошли в квартиру. В прихожей появилась Зинаида Петровна.

— Мамочка, извини, пожалуйста, нас сегодня задержали с тренировкой на полчаса. — Она целует мать.

...И вот уже ночь в квартире Овчаренко. Не спит лишь Саша. Он сидит за столом, лампа прикрыта газетой, чтобы свет не мешал сну сестры. Перед ним лежит все та же раскрытая книга — «Тактика допроса». Он записывает в толстой своей тетради:

«При изучении личности допрашиваемого надлежит выяснить:

1. Психические свойства допрашиваемого;

2. Его общественно-политическую характеристику;
3. Производственную деятельность;
4. Образ жизни и моральные качества;
5. Взаимоотношения с другими лицами, фигурирующими в деле...»

По улице, вглядываясь в номера домов, идет практикант Саша Овчаренко. Он входит во двор, нашел нужный подъезд, позвонил в квартиру первого этажа.

Дверь открывает грузная пожилая женщина. Она дышит шумно, натужно.

— Простите, — говорит Саша, — вы, вероятно, Анна Николаевна Клебанова?

— Я.

— Мне необходимо поговорить с вами, это недолго. Моя фамилия Овчаренко. Я знаю, что вы нездоровы, поэтому пришел к вам домой. Я следователь...

Они входят в комнату Клебановой. Здесь уютно, чисто, старомодная мебель выросла в пол.

— Вы, наверное, по поводу Маши Труниной? — спрашивает Клебанова. — Мне соседи рассказывали, что их уже вызывали в милицию. Садитесь, пожалуйста. Не хотите ли чайку или кофе?

Анна Николаевна радушна, как многие пенсионеры, осчастливленные приходом редкого гостя. Убедившись, что этот гость искренне отказывается от угощения, она садится в большое мягкое кресло, грузностью и формой напоминающее свою хозяйку, аккуратно разглаживает на коленях складки своего теплого халата и начинает с середины, словно беседа возникла давно, а Саша Овчаренко — давний, добрый приятель дома.

— Бронхи меня совершенно замучили, голубчик!.. Но, как ни странно, даже в этом состоянии хочется жить подольше. Ну, вот. Теперь относительно Маши Труниной. Вы знаете, это совершенно замечательный человек! Добрый, отзывчивый, редкой души человек. И сердце буквально обливается слезами, глядя на то, как она живет с этим пьяницей Василием. Ведь это же уму непостижимо! — Она понижает голос до устрашающего шепота, глаза ее округляются от ужаса. — Голубчик! Вась-

ка же избивает ее!.. В последний раз он гонялся за ней с кухонным ножом!

— Вот по этому поводу я как раз к вам и пришел, — удалось наконец вступить в разговор Саше. Он вынул из портфеля лист протокола и приготовился писать.

— Мне бы не хотелось, чтобы вы записывали, — просит Анна Николаевна. — Вы знаете, я прожила свою долгую жизнь чисто, не опорочив ни одного человека, голубчик.

— Но ведь это и не называется порочить. Вы были свидетельницей дерзкого хулиганства, вы живете в одной квартире с Марией Александровной!..

— Да, да, это все верно, голубчик. Но когда я думаю, что из-за моих свидетельских показаний на суде кого-то могут посадить в тюрьму, то мне делается буквально худо!

— Хорошо, я сделаю так, чтобы в суд вас не вызывали.

— Голубчик, а нельзя ли запретить продажу водки? Ведь если бы Василий не пил, то не возникло бы все это кошмарное происшествие!.. Я утверждаю, как старый человек и как бывший библиотекарь, что люди — это вы можете записать, я даже прошу вас записать это! — люди в своей основе прекрасны! Их губят обстоятельства. И в первую голову — водка! Я понимаю, вы можете возразить мне!..

Очевидно, после длительной беседы Анна Николаевна провожает Сашу по коридору к дверям на лестницу.

— Я рада, что мы с вами так душевно поговорили. Надеюсь, вы зафиксировали мою мысль относительно продажи спиртных напитков? И еще я хотела бы посоветовать: людей данного типа надо лечить. Принудительно лечить!

— Это и делается, Анна Николаевна. Однако существует очередь в учреждения подобного характера.

— Очередь?! — всплескивает руками Анна Николаевна. — Ну, я еще понимаю очередь за свежей рыбой, за парным мясом, но очередь алкоголиков!.. Заходите, голубчик Александр Семенович, я всегда буду рада вам!..

Обширный двор таксомоторного парка.

Выезжают и выезжают из ворот машины. Вытянулась змеевидная очередь такси к моечной. Шумные, тугие струи воды бьют по кузовам, смывая уличную грязь.

Выныривая и снова пропадая среди автомобилей, идет Саша Овчаренко со своим неизменным тяжелым портфелем.

В просторных боксах слесари возятся вокруг машин: заполняют смазкой маслянки, крепят гайки, поддувают пневматикой баллоны колес.

В яме под одной из машин рослый пожилой механик работает с парнишкой слесарем. Парнишка, в испарине от усилий, вымазанный с головы до ног автолом, тавотом, ржавчиной, старается вовсю. Силенок и сноровки у него, вероятно, еще недостает: рослый механик проверяет после него крепеж, подтягивая ключами вслед за учеником каждую деталь еще на один-два полных оборота.

— И чем только тебя мамка кормит? — говорит механик. — Кашу надо кушать, «геркулес».

Парнишка сверкнул на него белками глаз.

— Я колбасу люблю, дядя Леня. С пивом.

Легонько мазнув его тяжелой рукой по затылку, механик ругнулся:

— Огарок ты!.. Куда вправо вертишь — здесь же обратная резьба!..

Над ямой склонилась чья-то голова:

— Дядя Леня, вас требуют в Красный уголок!

— Кто? — ворчит механик.

— Какой-то хрен из милиции...

В небольшой комнате Красного уголка сидят за столом Саша и дядя Леня. Они сидят рядом. Механик положил свои усталые, большие руки на стол, сцепив пальцы.

Говорит он медленно и огорченно:

— Так чего он натворил-то, Федька Игнатьев?

— Занимался грабежом.

— Ну, а конкретно?

— По вечерам, с группой приятелей, срывал с головы граждан меховые шапки.

— Шапки? — переспрашивает дядя Леня. — А на кой они им?

— Продавая их в ресторане, они распивали спиртные напитки. — Саша посмотрел на механика. — А разве вы никогда не замечали, что от Феди Игнатьева пахнет алкоголем?

— Не замечал. На работу он выпивши не являлся, а так почему я могу знать?... Вот я с вами сейчас беседую, а откуда же мне известно, товарищ следователь, пили вы вчера вино или не пили?

— Но ведь вы, Леонид Сергеевич, руководите всей этой молодежью. И как механик-мастер и как зампредседателя месткома. Игнатьев, например, утверждает, что у него было пять благодарностей...

— Пять-то он, положим, врет, а две — были.

— Значит, все-таки, как же вы его характеризуете?

— Характеризую я его так, — еще медленнее отвечает дядя Леня. — Работал он неплохо, смыслено он работал. Имеются у нас ребята и послабже его.

— Но ведь понятие о человеке, — нетерпеливо произносит Саша, — складывается не только из его работы.

Механик хмуро посмотрел на Сашу.

— Вы бы мне еще пояснили, товарищ следователь, что земля круглая. А то я без вашей помощи не догадаюсь.

Возникла неловкая пауза, неловкая для Саши, которому никак не найти верный тон с этим человеком.

— Теперь давайте разберемся, — продолжает дядя Леня. — По нашей работе в парке как я вынужден судить о человеке? Да и как обо мне самом частенько судят? Справа налево... Справа — процент выработки, а налево — я весь со своими потрохами. План сделал — хорош я. Не сделал — плох. А что там у человека в душе — герань или помой, — это еще поди разберись! Для этого, помимо времени, еще и умншко надо...

И опять Саша произносит не те слова, которые ему хотелось бы сейчас подобрать:

— Значит, вы считаете, что не следует пропагандировать опыт лучших?

От этого вопроса рослый механик дядя Леня как-то скучно погас. Он взглянул на свои часы.

— У вас, товарищ следователь, какие будут ко мне вопросы насчет Федьки Игнатьева?

— Вы бывали у него дома?

— Заходил один раз проведать, — ногу ему зашибло на работе.

— Какое впечатление произвела на вас его семья?

— Нормальное впечатление. Отдельная квартира. Родители — обое работают, телевизор есть, холодильник, кажется...

— Понимаете, Леонид Сергеевич, — искренне говорит Саша, — я хотел бы составить представление, о его моральном облике. Какой он, этот Федька, может, его интересовал только заработок, деньги?..

— Деньги нынче всех интересуют. И коль они честно заработаны, то худого здесь нету... Я, товарищ следователь, скажу вам так: молодых этих парней понять трудно, лично я не берусь. — Посмотрел вдруг впервые Саше прямо в глаза: — Вам-то самому, простите, сколько годов?

— Двадцать два.

— И сам в себе разбираешься?

Саша нахмурился:

— В каком смысле?

— Ну, чего хочешь от жизни, для чего живешь?

— Разбираюсь, конечно.

— Значит, счастливый ты человек. — Механик дядя Леня поднялся. — А насчет характеристики на Игнатьева Федора, то это я от нашего треугольника напишу. Написать нетрудно, не в первый раз.

В яму под автомобилем, где возится парнишка-слесаренок, тяжело спрыгивает дядя Леня. Сперва он осматривает и ощупывает ключом все, что сделано за время его отсутствия. Осмотром он, очевидно, удовлетворен.

— Дядя Леня, а чего вас мильтон вызывал?

— Велел брать на учет всех пацанов, которые любят пиво. Понял?

Растерянно мигая длинными ресницами, парнишка смотрит на механика.

Выйдя из ворот таксомоторного парка, идет по улице Саша Овчаренко. Идет он хмуро сосредоточившись, временами натываясь на встречающих прохожих. В потоке

людей его фигура кажется еще более хрупкой, тоненькой.

Путь Саши лежит мимо большого сквера. Здесь, натянув между деревьев сетку, какие-то ребята играют в волейбол.

Саша замедлил шаги, проходя мимо. И внезапно, перескочив через низкий штакетник сквера, рванулся к ребятам. Положив свой портфель на землю у дерева, он встал на пустующее место в одной из команд. Мяч летит в его сторону, и, опередив игрока, Саша подпрыгивает, лупит по мячу. Мяч стремительно проносится над самой сеткой.

— Ну, ты, брат, и силен! — восторженно говорит один из парней. — Разрядник?

— Да нет, любитель.

— Ври больше...

С улицы в подъезд райисполкома входит капитан милиции Селезнев. По тому, как уверенно он подымается по широкой лестнице, как здоровается, идя уже по коридору, с попадающимися навстречу сотрудниками, видно, что он здесь бывалый человек.

Вошел в дверь с табличкой: «Заместитель председателя райисполкома».

В небольшой приемной сидит у окна секретарша, печатает на машинке. Не подымая головы и продолжая стрекотать клавишами, говорит:

— Добрый день, Анатолий Дмитриевич. Пройдите, пожалуйста, — Роман Карпович ждет вас.

Они сидят друг против друга, немолодой, грузный зампред и суховатый, поджарый Селезнев.

— Вот ведь работники! — восклицает в сердцах Роман Карпович, ткнув пальцем в конверт, лежащий перед ним на столе. — Люди переехали в новый дом, справили новоселье месяц назад, а газовщики до сих пор еще газа не подключили! — Срывает с аппарата телефонную трубку, говорит кипяще-ласковым тоном: — Степан Никанорович? Слушай внимательно, что я тебе сейчас ска-

жу, Степан Никанорович. Если к понедельнику в доме помер семь по улице Щеголева не будет включен газ...

Далее звук уже не слышен, однако лицо зампреда и его шевелящиеся губы достаточно выразительны.

Он положил трубку, сказал Селезневу:

— Извини, Анатолий Дмитрич, еще секундочку. — Снова снял трубку, набрал номер. — Алла Ивановна? Приветствую, Алла Ивановна. Как там у вас со спортплощадкой? Закончили? Ну и хорошо. Ну и отлично. Да не за что. Рад за ваших ребятишек...

Теперь уж Роман Карпович окончательно положил трубку, надавил кнопку звонка на столе и, когда секретарша заглянула в дверь, попросил:

— Минут двадцать не пускайте ко мне никого и не соединяйте по телефону.

Он вышел из-за стола и пересел в кресло напротив Селезнева.

— Догадываешься, почему я попросил тебя зайти?

— Не совсем, — уклонился Селезнев.

— Насчет Коромыслова-сына хотел с тобой побеседовать. Петром его, что ли, зовут?

— Петром, — кивнул Селезнев.

— Родителя его, Коромыслова Филиппа Константиновича, знаешь?

— Слышал.

— Ты — слышал, а я — знаю. Он мне, между прочим, не друг, не брат, не сват, а знаю я его потому, что Филипп Константинович в нашем районе личность уважаемая. И не в том лишь дело, что он директор крупнейшего строительного комбината — директора разные бывают, — а Коромыслов честнейший мужик и замечательный, самозабвенный работник! Случая не было, чтобы он хоть в чем-нибудь подвел наш район. Это я тебе сообщаю вполне ответственно.

Роман Карпович закурил.

— Теперь касательно его щенка сына... У тебя-то у самого, Анатолий Дмитрич, дети есть?

— Нет.

— А у меня, например, двое парней имеются. И куда мы их с супругой моей в люди вывели, забот было предостаточно...

— Однако, — сухо улыбнулся Селезнев, — в групповых грабежах они участия не принимали?

— Еще чего! Я бы им своими руками головы отвинтил.

— Роман Карпович, следствие по делу Петра Коромыслова и его содельников ведется при полном соблюдении соцзаконности.

Зампред поморщился:

— Да не об этом я с тобой веду разговор. Я хочу, чтобы ты горе отцовское понял! Чтобы ты личность Филиппа Константиновича учел...

— Я учитываю: под следствием находится не Филипп Константинович, а сын его — Петр Филиппович.

Зампред раздраженно раздавил недокуренную сигарету в пепельнице.

— Да какой он Петр Филиппович? Петька он, ему семнадцати еще нету. Что ж он, по-твоему, уже готовый грабитель? Крест на нем ставить, да? И между прочим, в райотделе милиции могли бы и получше профилактикой заниматься, чтобы таких мальцов не вовлекали в преступный мир...

— Профилактика, Роман Карпович, — это очень тонкое дело, и оно, к сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам.

— Ах, и у вас не всегда! А уж вы-то в вопросах воспитания должны быть специалистами.

— Не можем мы быть специалистами в вопросах воспитания: и образование у нас иное, не педагогическое, и человек, попадающий в наши руки, как правило, уже изрядно испорчен.

Зампред поднялся.

— Ну вот что, дорогой Анатолий Дмитрич. Для полемики нам с тобой времени сейчас не отпущено. Мой долг повелевал мне попросить тебя за хорошего, авторитетного товарища. Твое дело — не уважить мою просьбу. — Он пожал руку поднявшемуся вслед за ним Селезневу и сделал несколько шагов, провожая капитана до дверей. — А насчет уровня профилактической работы в нашем райотделе и задач воспитания несовершеннолетних, я полагаю, лучше всего поговорить нам на исполкоме. Доложишь — а мы обсудим и вынесем свое мнение... Бывай здоров, капитан!

Из дверей ПТУ шумной гурьбой выходят ребята, они тотчас разбегаются к остановкам трамваев и троллейбусов. Подъезд училища пустеет.

И только тогда показывается в дверях не по возрасту долговязый, неухоженный Ваня Томилин.

Худо нынче на душе у Вани. Очевидно, он из той породы мальчишек, которым порой приходится расплачиваться даже за чужие грехи: что бы ни случилось вокруг на беспокойной улице, первым всегда винят и хватают его. Причиной тому, быть может, его нескладная долговязость либо какая-то запущенность лица — он прыщав, пора бы уж ему бриться, реденькие волосики, длинные, несерьезные, завиваются вразброс, как попало, на его щеках и подбородке. Лет ему всего лишь шестнадцать, однако в глазах его уже гнездятся и подозрительность, и угнетенное самолюбие, и звероватая хитрость, и страх.

— Ваня! — окликает его Саша Овچارенко.

Возникнув сбоку, он пристроился рядом.

— Я к тебе прямо с работы, даже поесть не успел... Мороженого хочешь?

Ваня покосился на него и не ответил.

Саша продолжает, словно разговор их длится давно и вполне дружелюбно:

— Вчера, понимаешь, вышел из райотдела, сел в троллейбус, еду, еду, слышу, кондукторша говорит — конечная остановка, вылезайте. Вылез — кругом поле: сел, понимаешь, не в ту сторону!..

Задержавшись подле тележки с мороженым, спрашивает:

— Тебе сливочного или шоколадного?

Он взял два пакетика, один передал Томилину.

Идут, лижут мороженое.

— Слушай, — решительно вдруг говорит Саша. — Если тебе себя не жалко, то ты бы хоть меня пожалел: ведь это же мое первое дело, понимаешь?.. Если я его завалю... — Саша безнадежно махнул рукой.

— А чего заваливать? — усмехнулся Томилин. — Раз мы виноваты, значит, будем отвечать.

— Кто ж это, по-твоему, «мы»?

— Ну, те двое и я...

— Так ведь ты-то оказался в подворотне случайно?

— Зачем случайно? Меня поставили, я и стоял.

— Но ты ведь не знал, что они собираются грабить? Томилин упрямо молчит.

— Знал или не знал?

— Да я ж уже ж два раза рассказывал вам, вы ж записывали...

— Ничего ты мне толком не рассказывал, дурья голова. Я тебя спрашиваю: знал ты или не знал, что они сорвут шапку?

— Какая разница... Ну, скажу — не знал, вы ж все равно не поверите.

— Почему не поверю?

— А мне никто не верит.

— Может, ты много врал, потому и не верят?

— Да нет... Другие больше врут... Судьба у меня такая — рожден без счастья в жизни.

— Чепуху какую-то порешь, слушать противно, — рассердился Саша. — Придумал себе теорию, чтобы легче жилось.

Томилин остановился, швырнул под ноги остатки пакетика с мороженым и зло сощурился:

— Легче?.. Да?.. Легче?..

— А ты не психуй, — сказал Саша. — Конечно, легче: раз ты рожден без счастья в жизни, значит, можно и не стараться. Любая сволочь станет делать с тобой все, что захочет, и ты покорно стерпишь, да еще будешь сопливо хныкать — бедненький я, несчастненький, судьба у меня такая...

Обидевшись — он вообще очень охотно обижается, — Томилин повернул было в сторону, но Саша ухватил его за локоть.

— погоди, дурья голова... Ну, хочешь, давай условимся: ты мне даешь честное слово, что расскажешь чистую правду, а я дам честное слово, что поверю тебе?

Томилин молчит, вытирая липкие руки о штаны.

— А чего там «честное слово»... Думаете, если дам, так уж и не смогу соврать?

— Не сможешь, — убежденно говорит Саша. — Такие парни, как ты, если серьезно клянутся честным словом, ни за что не солгут.

— Покупаешь меня, да? — В голосе Томилина жалкая подозрительность.

Саша остановился.

— Дело твое, Ваня. Я просто просил тебя помочь мне. Не хочешь — как хочешь...

Он пожал руку Томилину и исчез в толпе.

Приоткрыв рот, Ваня Томилин смотрит ему вслед.

Кабинет следователей в райотделе.

Сидя за столом, Саша печатает на машинке. Рядом стоит Гордеев, дочитывая странички протоколов, взятые с Сашиного стола. Дочитав, кладет их на место и идет к своему столу.

Саша беспокожно оборачивается ему вслед:

— Ну как, Кирилл Иванович?.. Много ошибок?

— Да дело не в ошибках, — досадливо отвечает Гордеев. — Дело в принципе. Ну что ты разводишь антимонии по пустякам? Допросил черт-те сколько свидетелей, исписал пятьдесят страниц, а суть-то копеечная. И на кой, между прочим, леший ты докладываешь Селезневу, что оскорбил обвиняемого Игнатьева?

— Но я его действительно оскорбил.

— Ты оскорбил, а он не оскорбился. Заявления-то он на тебя не написал?

— Я предлагал ему, а он почему-то не захотел.

— Потому и не захотел, что для него это как слоноу дробина. Выкинь из папки докладную. Ни к чему она — холеры из-за нее не оберемся.

Саша вынимает из папки листок.

— И устно, по-вашему, тоже не докладывать?

— Устно — валяй. Дай возможность Селезневу воспитывать тебя: он это дело обожает. А следов оставлять не надо... (Пауза.) И в другой раз держи себя с обвиняемыми в рамочках.

Гордеев углубился было в свои бумаги за столом, но снова поднял голову:

— Хочу предупредить: по делу Игнатьева проходит Коромыслов Петр — ты его еще разок допроси.

— А разве его показания неясны?

— Для кого — ясны, а для кого будут и неясны.

— Кстати, он довольно противный тип — все валит на своего дружка Федьку.

— Вот-вот. Ты с этим Коромысловым поаккуратней.

— В каком смысле, Кирилл Иванович? — спрашивает Саша.

— Во всех смыслах. — Гордеев закурил и буркнул: — Батяка его, между прочим, в нашем районе фигура.

— Ну и что? — запальчиво спрашивает Саша. — Значит, тем более!

Откинувшись на спинку стула и медленно выпуская дым, Гордеев произносит:

— Во всякой работе, друг Саша, есть своя химия. К сожалению, с ней изредка приходится считаться, хоть иной раз и с души воротит. . .

— Но это же несправедливо! Почему я обязан с этим считаться?

— Можешь и не считаться, — спокойно говорит Гордеев. — Покуда не схлопочешь по хребту. . . Хватит у тебя силенок выстоять — буду рад. . .

И Гордеев продолжает разбираться в своих бумагах.

Саша сидит, не печатая, смотрит невидящими глазами в окно.

Взглянув на практиканта и еще раз взглянув, Гордеев спрашивает:

— Ты почему не работаешь?

— Я думаю.

— Думать, брат, дома надо. А на службе положено работать. — Смеется.

— Кирилл Иванович, я хотел спросить вас, только не обижайтесь, пожалуйста. В те годы вам приходилось иногда поступать не по совести?

— А ты как полагаешь: совесть — отдельно, а закон — отдельно?.. Это нынче стала модной такая постановочка. Для меня лично закон и совесть едины. А насчет тех годов врут тоже много. Я, например, за всю жизнь ни одного человека зря не посадил. И пальцем никого не тронул. . . Страха — это верно — у людей больше было. Боялись. И жулик другой был. Если ты ему на допросе говоришь правильно, «в цвет», он и отпираться не станет — видит, что твой верх. . . Адвокатура тогда тоже не так цеплялась к нам. А нынче адвокат готов утопить следователя в ложке дерьма. Думаешь, его волнует судьба преступника? Гонорар его волнует.

Саша робко произносит:

— Но ведь вы, Кирилл Иванович, тоже получаете за свою работу деньги.

— Я получаю зарплату за то, что стараюсь обезопасить наше социалистическое общество от совершаемых преступлений! Покой граждан я защищаю.

Произнося это, Гордеев пристукивает жесткой ладонью по столу.

Он хотел было продолжить, но в дверь заглядывает Мария Александровна Трунина — потерпевшая с улицы Разина.

Она переступила порог, держа на весу исписанный листок бумаги.

Дойдя до Саши, протянула ему листок и сказала:

— Извините, я к вам...

Быстро пробежав глазами написанное, Саша изумился:

— Как же так, Марья Александровна? Вы же трижды подряд говорили мне совершенно другое!..

Она молчит.

— У меня же зафиксированы ваши показания и есть ваше собственноручное заявление, поданное в милицию.

— Помирились мы... — тихо говорит женщина. — Он у меня прощения просил!..

Не подымая головы от работы, Гордеев спрашивает из-за своего стола:

— Товарищ Овчаренко, вы предупреждали потерпевшую об уголовной ответственности за дачу ложных показаний?

— Предупреждал.

Саша перегнулся через стол к женщине:

— Ведь так же нельзя, поймите... Дело не только в уголовной ответственности: ведь муж избивает вас и систематически угрожает вам убийством...

Женщина смотрит в пол. Слезы катятся из ее глаз.

— Это он только пугает, — упрямо говорит она.

— Но он и ребенка вашего ненавидит...

— Вчера принес дочке шоколад «Спорт», за рубль пятьдесят. И слона резинового... Не пьет...

— Послезавтра третий день будет, как не пьет, — говорит из-за своего стола Гордеев. — Вы объясните ей, товарищ следователь, что ее заявление все равно не приостановит судебного разбирательства. Не в цапки мы здесь играем!..

— Это правда, Марья Александровна, — кивает Са-

ша. — Сейчас это уже не дело частного обвинения. Есть показания свидетелей, ваших соседей по квартире...

— У нас квартира дружная, — твердит женщина. — Они против меня не пойдут, они понимают мое горе... Как же мне без Васи? Опять одинокой жить? Сорок лет мне сегодняшний год, кому я нужна с ребенком на руках? За всю свою жизнь, может, месяц и была счастливая, и то вразбивку... Очень я вас прошу, товарищи, взойдите в мое положение, не преступник же Вася, ни для кого он не опасный, а если для меня опасный, так я стерплю...

И она продолжает говорить все тем же ровным голосом, глядя в пол, в той степени горя и отчаяния, когда уже и слез-то нет.

Начальник следственного отделения капитан Селезнев хмуро листает бумаги в папке.

— Начало у тебя пока не блестящее, — говорит он. — Одно дело, видимо, придется прекратить за недоказанность.

— Но ведь он может ее убить! — раздается взволнованный голос Саши.

— Весьма вероятно. И мы будем отвечать за это. — Полистав папку, читает: — «Прошу отметить, что я считаю целесообразным запрещение продажи спиртных напитков».

Селезнев поднял глаза, вопросительно смотрит на Сашу Овчаренко, стоящего перед столом.

Саша поясняет:

— Это я записал со слов свидетельницы Клебановой. Она просила меня отметить.

— А она не просила тебя отметить, что ей хотелось бы слетать на Луну?

Саша молчит.

— Какая у тебя была в институте оценка по криминалистике?

— Четыре.

— Добренькие у вас нынче преподаватели. — Он еще полистал папку. — Бумаги ты извел раз в пять больше, чем следовало. Людей навывывал и времени у них

отнял — тучу. А вот допросить свидетелей и потерпевшую с такой силой убедительности, чтобы им было потом не отказаться от своих показаний, — кишка оказалась тонка! Не сумел наладить психологический контакт... Ты садись, разговор у нас будет долгий.

Саша садится.

— Насчет Игнатьева. Сырое у тебя это дело: доказательства жидковаты. Что шапки срывал и продавал их — ясно; касательно же нанесения телесных повреждений — это еще надо подработать, клинья у тебя здесь не подбиты.

— Но имеются оперативные данные, что он бил потерпевших кулаком в лицо. И содельник его, Петр Коромыслов, подтверждает это.

— Читал я его показания: подтверждает по секрету, а на суде отойдется — боится мести своих дружков... К твоему сведению — и заруби это себе на носу! — следователь готовит дело для суда. Ясно? И если суд не соглашается с твоим обвинительным заключением и заворачивает нам дело обратно, то это мрачайший брак в нашей работе. Понял? Раза два-три завернет — и привет такому следователю: увольняется за несоответствие должности.

Селезнев поднялся, прошелся по кабинету, сделав намеренно длинную паузу, чтобы неопытный практикант мог со всей глубиной осмыслить то, что ему внушается.

— Вот что я тебе порекомендую. По собранным тобой материалам видно, что семья у Игнатьева положительная. Отец — инвалид войны, отставной офицер, ныне хороший токарь-скоростник, не пьет... Поговори с ним. Или с матерью побеседуй...

— Хорошо, Анатолий Дмитриевич, я постараюсь. — Саша сделал было шаг к дверям.

— погоди. Не все. Садись... Какое впечатление производит на тебя Коромыслов?

— Трус он и сволочь, — решительно отвечает Саша. Селезнев укоризненно покачал головой.

— Хороша лексика у юриста!

— А я вам, Анатолий Дмитриевич, сейчас не как юрист отвечал. Это мое частное мнение.

— Чем же он тебе так не пришелся?

— Дружил с Федькой Игнатьевым, бегал в его ко-

решах, водку пил за его счет и на первом же допросе продал его, разболтав мне все подробности...

— А ты обещал ему, что чистосердечное признание облегчит его участь?

— Обещал, конечно.

— Значит, следствие он тебе упростил?

— Упростил.

— Стало быть, сперва ты убедил его, что следовательно надо говорить правду, а затем, когда эту правду от него услышал, презирил его?

— Я считаю, Анатолий Дмитриевич, важно ведь — почему человек говорит правду? А может, ему неохота врать, всего лишь из чувства безнаказанности...

— То есть?

Помолчав мгновение, Саша бухнул:

— Коромыслов уверен, что выйдет из дела чистеньким. Что судить его все равно не будут.

— А ты как считаешь?

— Поскольку он принимал участие в групповых грабежах...

— Участие его, положим, довольно пассивное: просил прикурить у потерпевшего, а затем, когда Игнатьев срывал шапку, бежал вслед за ним.

— В ресторан они бежали, продавать и пропивать награбленное... — Саша шагнул к Селезневу. — Анатолий Дмитриевич, я вас очень прошу, вы мне прямо скажите — будем мы привлекать Коромыслова или не будем?

— Зависит от обстоятельств дела. А ты его еще пока не закончил... Сколько лет этому парню? Семнадцать? Иногда, знаешь, такие щенки опоминаются даже только оттого, что сразу попались. Для них допрос имеет колоссальное воспитательное значение. Ты это учти. Поговори с ним еще... Ясно тебе? Вопросы есть?

— Нет у меня вопросов.

Незаметно, как ему кажется, усмехнувшись, Саша встал. Однако от наблюдательности Селезнева это не укрылось.

— Ты чего так криво улыбаешься?

— Я не улыбаюсь... Просто мне неприятно... Я вас очень уважаю, Анатолий Дмитриевич, и мне досадно, что вы со мной разговариваете как-то не прямо... намеками...

Селезнев нахмурился.

— То есть?

— Сперва Кирилл Иванович предупредил меня, что с этим Коромысловым надо поаккуратней. Теперь — вы...

— Что тебе сказал Гордеев?

— Он сказал, что отец Петьки Коромыслова — фигура в нашем районе. А из ваших слов я тоже понял...

— Из моих слов, — сердито перебил его Селезнев, — тебе следует понимать только то, что в них заключено. И не более того... Можете быть свободны, товарищ практикант. Я вас не задерживаю.

Саша вышел. Селезнев прошелся по комнате, рывком снял телефонную трубку, набрал номер:

— Кирилл Иванович, зайдите ко мне.

И как только Гордеев появляется на пороге, Селезнев в упор спрашивает:

— Зачем тебе понадобилось рассказывать практиканту об отце Коромыслова?

Гордеев. А чего там было рассказывать? Из анкеты ясно — директор строительного комбината.

Селезнев. Ты отлично понимаешь, о чем я говорю.

Гордеев (*резко*). Тебе же и хотел облегчить положение... Начальство небось уже проявляло беспокойство? .

Селезнев. Ладно, это уж не твоя забота, Кирилл. А вот я тебя спрашиваю: зачем тебе понадобилось посвящать начинающего практиканта...

Гордеев. Потому и понадобилось, что он начинающий. Пусть с самого начала и знает. Трезвее будет. Ему не под колпаком ходить — по земле.

Селезнев. Да пойми ты, старый конь, есть законы возраста и жизненного опыта. Парень должен верить в силу права, в справедливость!

Гордеев. А мы с тобой не верим, что ли?

Селезнев. Верим. Только у нас это сложнее.

Гордеев. Ну, знаешь, если у парня от одного копеечного отклонения может обрушиться вера, то грош ему цена! (*Решительно.*) Ты поручил практиканта мне? Я его курирую? Коли тебе не нравится, как я это делаю, — пожалуйста, заberi его от меня. Еще спасибо скажу...

Селезнев. Нравится — не нравится... Это, Кирилл Иванович, дамский разговор. Я тебе приказал — ты испол-

няешь. И если исполняешь не так, как считаю нужным, то я поправляю тебя... Надеюсь, ясно?

Гордеев. Чего уж яснее.

Селезнев. А насчет Коромыслова: закончит Саша, под твоим наблюдением, следствие — я рассмотрю и приму решение.

Гордеев. Темнишь от меня, Анатолий Дмитриевич?

Селезнев. Не темню, а размышляю, товарищ Гордеев.

Проходная следственного изолятора.

С улицы вошел Саша Овчаренко. Он нагружен — в руках у него портфель и чемодан с портативным магнитофоном.

По тому, как Саша привычно, уже чуть небрежным жестом, показал сквозь оконце сержанту конвойных войск «корочки» своего служебного удостоверения, по тому, как уверенно двинулся к двери с зажегшейся надписью: «Прошу пройти!», по всей повадке практиканта видно, что он уже здесь далеко не новичок.

Неся свою тяжелую ношу, Саша решительными шагами пересекает узкий, заасфальтированный намертво двор, и теперь, пожалуй, юношу уже не столь угнетает мрачное кирпичное здание тюрьмы, возникшее перед ним: предстоящее свидание с заключенным захватило его сейчас полностью.

Пройдя по длинному, с поворотами коридору, поднявшись по каменной выщербленной лестнице, он вошел в одну из пустующих следственных камер.

Приготовления, которыми он сейчас здесь занялся, внове ему; Саша явно волнуется — не ладится что-то с принесенным магнитофоном, установленным на столе: вырываются какие-то плохо разбираемые звуки хрипловатого мужского голоса, однако слов еще не различить.

Бессмысленно захлебываясь, перематывается лента туда и обратно.

Но вот наконец, кажется, все в порядке.

Саша надавил кнопку звонка у стола, вытер пот со лба, причесал спутавшиеся за время этой возни с магнитофоном волосы и застыл в ожидании.

Сопровождаемый сзади женщиной-конвойной, вошел в камеру Игнатьев. Он вяло-привычно направился к

своему месту, опустился на табурет, заложил ногу на ногу. Движения его несколько более уверенны и нагловаты, чем это было в первый раз: игра теперь идет в открытую, все, что он считал нужным, следовательно рассказано на предыдущих допросах, кое-чему Федьку Игнатьева уже научили в камере, и с принятой им позиции его не собьешь — законы он знает не хуже этого мальчишки следователя.

— Ставлю вас в известность, Игнатьев, — сухо, так и не присаживаясь, говорит Саша, — что свидание, о котором вы просили и которое я вам обещал, не смогло состояться по уважительной причине...

Игнатьев ухмыльнулся.

— Районный прокурор не разрешил? А я повыше жаловаться буду!

— Санкции прокурора для этого действия мне не требовалось. Я разрешил вам свидание, и этого было достаточно. Однако, повторяю, оно не могло состояться по вполне уважительной причине, от следствия не зависящей.

Вынув из кармана пачку сигарет, Саша закурил, а пачку и спички положил на стол поблизости от Игнатьева.

— Предупреждаю вас, Игнатьев: я включу сейчас магнитофон, для того чтобы вы могли прослушать одну запись, которая, возможно, заинтересует вас. У меня есть дела в изоляторе, я оставляю вас здесь одного. Если вам почему-либо захочется прослушать эту запись еще раз, то можете запустить ее снова — мне известно, что с магнитофоном вы обращаться умеете.

Произнеся это, Саша склонился над магнитофоном, поколдовал над ним и включил.

Из динамика сперва донесся предварительный шорох, что-то неразборчивое, а затем, когда Саша уже вышел из камеры, раздался мужской хриловатый голос, сперва не очень уверенный, прерываемый болезненным кашлем, а затем постепенно крепнущий:

— Здравствуй, Федя. Это я — твой отец, Илья Денисович Игнатьев. Немножко я простыл, вроде гриппа, что ли, не смог прийти к тебе на свидание. А мать твою тоже не пустил: был у нее вчера участковый врач, мерил давление — двести десять на сто двадцать. Ну, куда с таким давлением... Вот и решили мы так с тобой повстречать-

ся: лента крутится, мать рядом лежит на кушетке, а я, значит, говорю в микрофон... Интересно получается, сын: техника кругом новая, а горе у людей старое. Ни в чем я тебя попрекать не стану — и так тебе не сладко в тюрьме, — а только хочу сказать, что, когда я, раненный в живот, лежал ночь в лесу под Тихвином, то я знал, за что раненный. И боль моя, хоть и была сильная, а я ее понимал. И всего-то я на год старше был, чем ты нынче... Ну, да ладно, будет об этом! Приходил к нам третьего дня в гости твой механик дядя Леня. Хороший он мужик, понравился нам с матерью. И тебя хвалил за твою работу в парке, говорил, что руки у тебя умные. Мать показывала ему наш альбом с твоими детскими фотокарточками. А плакать я ей категорически воспретил. Нашкодил в тот вечер наш кот Максим — съел полкило трески на кухне. Хотел я его оттащить, да пожалел... Интересно получается в жизни, Федя. Ведь я, пацаном, сумасшедший охотник был, и ружьишко у меня от отца осталось — «Зауэр», три кольца, цены ему не было. А после войны вышел как-то в лес по чернотропу, заяц на меня выбежал, приложился я в него, и вдруг как ударило мне в башку: а за что, собственно, я собираюсь лишать его жизни? Чем он, беляк, провинился перед людьми? Поверишь, Федя: взял я свое ружьишко — и обсоснул!..

К чему я тебе это рассказываю? Да ни к чему, просто так. Дома-то нам с тобой никак не выходило побеседовать: ты все рукой махал на меня — да брось, батя, да надоело, хватит меня воспитывать! А разве я тебя, Федя, воспитывал? Я тебе, Федор, верил. Поскольку в нашей семье неоткуда было взяться дурному... Не реви, мать, тебе что велено было?.. Ну, ладно, сын, лента, я вижу, кончается. С приветом к тебе, твои родители... Эх, Федя, Федор, сынок ты наш родной!..

И магнитофон умолк. Доносится лишь шорох крутящейся пустой ленты.

При первых звуках отцовского голоса Федя растерянно заозирался: он быстро и как-то испуганно взглянул на дверь камеры, словно желая убедиться, что он один здесь, никто за ним не присматривает; и тотчас лицо его, дотоле вяло-нахальное и равнодушное, преображается — оно становится почти по-детски беспомощным, жалким. Лихорадочно схватив сигарету, он закуривает, обжигая

себе пальцы, но не чувствуя боли. Сигарета гаснет часто, мы видим его руки, по многу раз чиркающие спички. Он уже не сидит заложив ногу за ногу. Привалившись к столу грудью и подперев свою непутевую голову руками, он безотрывно смотрит на динамик, откуда звучит голос отца, все более и более горестный.

И когда аппарат умолк, Федя торопливо, еще раз взглянув на дверь, поднялся и неверными руками попытался снова запустить ленту. Он не смог попасть в начало записи — из динамика выплелась фраза:

— «...Нашкодил в тот вечер наш кот Максим — съел полкило трески. Хотел я его оттащить, да пожалел...»

В следственную камеру вошел Саша Овчаренко. Не глядя в ту сторону, где должен сидеть Игнатъев, Саша укладывает магнитофон в чемоданчик и убирает его со стола. Вынул из кармана пачку сигарет, протянул ее через стол:

— Кури, Федя.

Не подымая лица, Игнатъев берет сигарету и тихо говорит:

— Записывайте... Сейчас все расскажу...

— Значит, благословляешь, Анатолий Дмитрич? — спрашивает Гордеев.

Он идет рядом с Селезневым по коридору райотдела, — они только что вышли из буфета. Дожевывая на ходу бутерброд и вытирая губы носовым платком, Селезнев отвечает:

— Давай, действуй, Кирилл. С твоими овощными торгашами как раз мы и уложимся за этот месяц в сроки. Не ахти какое место у нас по городу, но все-таки...

— А ты грабеж с шапками считал? Там, между прочим, Саша неплохо сработал: мы думали — один эпизод, а Игнатъев на последнем допросе взял на себя три.

— Считал я, все считал.

— Сашу я прихвачу сейчас с собой. Пусть поучится...

Они уже кивнули друг другу на прощанье, но Гордеев вдруг взял Селезнева за локоть.

— Насчет Коромыслова... Можешь, конечно, опять начальственно цыкнуть на меня, но я тебе в последний

раз, по-дружески говорю. Паровозом в этих грабежах был Игнатьев. Роль Коромыслова в этой группе. . .

— Ладно, Кирилл, — перебивает его Селезнев. — Спасибо за совет.

Из ворот районного ОВД выезжает милицейский крытый пикап.

Рядом с шофером в кабине — Гордеев.

В кузове сидят два оперативника и Саша. Крепкого телосложения молодые люди сидят на одной скамье, Саша — на другой.

Оба оперативника — бывалые работники угрозыска. Старшему, Борису, лет тридцать, он недавно бросил курить, мается из-за этого и непрерывно сосет леденцы. Второй дремлет, хотя размокшая сигарета дымится у него в губах.

Пикап мчится по дневному городу.

Гордеев взглянул на часы — половина второго. Посмотрел в окошко.

— Остановишься за квартал, — велит он шоферу. — К самому магазину не подъезжай.

Проехав еще немного, пикап затормозил в тихом переулке, свернув за угол. Шофер остался в машине. Все вышли.

— Пойдешь, Борис, со мной, мы с заднего хода, — задержавшись на мгновение, говорит Гордеев. — Ревизор из торгового уже, вероятно, дожидается нас. А вы, ребята, входите нормально, за десять минут до закрытия. Успеете сделать контрольные закупки. Есть вопросы?

Все четверо пошли по улице врозь.

Магазин.

Здесь сейчас не много покупателей. Магазины этот вроде бы захудалый, торгуют тут овощами, сухофруктами, бакалеей. Две продавщицы работают за прилавками.

В дверь вошел оперативник, вслед за ним — Саша. Они приближаются порознь к прилавкам: Саша — к бакалейному, оперативник — к овощному.

— Вы последние, сейчас закрываем на обед, — говорит им продавщица.

— Пожалуйста, полкило риса и килограмм сухофруктов, — просит Саша.

Продавщица отвешивает ему покупки.

Одновременно оперативник, вынув из кармана нитяную авоську, покупает картошку и помидоры у второго прилавка.

Оглянувшись и увидев, что других покупателей уже нет в магазине, оперативник быстро подходит к дверям на улицу, закрывает их с внутренней стороны на крюк и оборачивает картонку «закрыто на обед» лицевой стороной к тротуару.

Затем так же быстро возвращается к прилавку и показывает продавщицам свое раскрытое удостоверение.

— Из угрозыска, — коротко сообщает он и велит Саше: — Перевесь наши контрольные покупки на тех же весах. Я — к Кириллу Ивановичу. Продавщиц приведешь туда же.

Откинув крыло прилавка, оперативник исчезает в глубине магазина.

Кабинет директора овощного магазина — дощатый закуток рядом с кладовой.

Когда Саша появляется в этом закутке, работа здесь уже идет вовсю. В кладовой лысый сухонький ревизор дотошно взвешивает на больших десятичных весах ящики с компотной смесью и мешки с картофелем. Ему помогают оперативники, он сдерживает их напористую нетерпеливость.

— Спокойненько, спокойненько, молодые люди, — приговаривает он. — Суета порождает беспорядок. А беспорядок — это питательная среда для наличия преступлений.

Сухонький ревизор, очевидно, обожает афоризмы.

Руководит всей операцией Гордеев. Он сидит за столом директора магазина, перед ним ворох накладных, счетов, служебных бланков. Откладывая все это для ревизора, Гордеев и сам ловко щелкает костяшками канцелярских счетов, что-то прикидывая, что-то записывая и не выпуская из поля зрения директора магазина, который выкладывает на стол содержимое несгораемого шкафчика-сейфа.

Опустошив сейф, директор стоит с безучастным видом, словно происходящее сейчас в магазине не имеет к нему, к директору, никакого отношения. Он старательно чистит обкусанной спичкой ногти.

Гордеев взглянул на него.

— Выньте-ка из своих карманов все, что у вас там есть.

Директор роется в своем плаще, пиджаке, брюках — содержимое карманов кладет кучкой на край стола.

Здесь, очевидно, ничего заслуживающего внимания нет. Гордеев проглядел эту кучку никчемного барахла, переложив ее с места на место.

— Саша, посмотри-ка у гражданина Лебедева в заднем брючном кармане, — велит Гордеев. — Случается, запихнешь туда что-нибудь и забудешь. У меня у самого сколько раз так бывало. . .

Не дожидаясь, покуда Саша обыщет его, Лебедев, с глубоко оскорбленным видом, вынимает из заднего кармана маленькую трепаную записную книжечку.

Медленно листая странички, замусоленные и нечистые, Гордеев с интересом впивается в них.

— Ну, вот видите, как симпатично! — весело говорит он. — Здесь у вас и десять тонн картофеля, незаприходованного в накладных. Здесь и точная раскладка сухофруктов. Освежите-ка, пожалуйста, в моей памяти, Лебедев, сколько положено на килограмм компотной смеси процентов кишмиша, урюка, кураги и яблок?

Тем временем в кладовой оперативники продолжают взвешивать и записывать по сортам все эти сухофрукты.

Вернувшись снова в директорский кабинет, мы видим Гордеева, вздевшего на свой нос очки — теперь он похож на заправского бухгалтера, — и придвинувшего к себе счета. Щелкая костяшками, он говорит директору:

— Значит, кишмиша положено сорок пять процентов на кило, а у вас — шестнадцать. Кураги положено пятнадцать процентов, а у вас — четыре. Зато с сушеными яблоками вы здорово размахнулись: положено семь процентов, а вы навалили тридцать пять. Поскольку это самый дешевый фрукт. . . Влажность мы тоже проверим в лаборатории.

Порывшись в накладных, Гордеев спрашивает директора вполне дружелюбным тоном:

— Тут у вас зафиксировано, что помидоры со склада

вы получили нестандартные по цене восемьдесят копеек за килограмм. Правильно я понял?

Директор кивает.

— Миша! — кричит Гордеев одному из оперативников, возящемуся в кладовой. — Ты почему платил за помидоры?

— По рублю двадцать, Кирилл Иванович.

— Ясненько, — говорит Гордеев. — Саша, опроси-ка девушек, сколько они сегодня продали помидоров? И какая на них была этикетка?

Он обернулся к директору и снова взял со стола замусоленную записную книжечку, полистал ее.

— Тут у вас имеется один номерок, записали, наверное, наспех... — Гордеев поднес книжечку поближе к своим глазам и прочитал: — Волга, триста семьдесят шесть... Надо полагать, это номер вашей очереди на автомашину?

— Жена записывалась... Думали, может, по займу выиграем...

— Бывает, бывает, я сколько раз в газетках читал — выигрывают!...

Операция в магазине подошла к концу. Заглянув в кладовую, Гордеев тихо велит оперативнику:

— Лебедева отвезешь в изолятор. Постановление на арест ему уже предъявлено. Сожительницу его, Евдокию Тулину, ребята тоже взяли на овощной базе. А мы поедем сейчас к ним на квартиру...

Вернувшись в директорскую конторку, Гордеев взял с подоконника табличку с надписью «Санитарный день» и подал Саше:

— Приладь к дверям.

На дверях магазина, буквами к улице, висит табличка: «Санитарный день». Мимо этих дверей проезжает милицейский пикап. Рядом с шофером — оперативник Миша. В кузове, в одиночестве, — директор магазина.

По улице, вглядываясь в номера домов, идут Гордеев, Борис и Саша.

— Значит, так, — говорит Гордеев, кладя руку на Сашино плечо. — Ты ушами не хлопай, ты на старуху посматривай. Мы с Борисом будем производить обыск,

а у тебя одно задание — старуха. Она себя непременно окажет. . . — Пройдя еще немного, спрашивает: — В первый раз?

— В первый, — ответил Саша.

— Приучайся. — Гордеев остановился у ворот одного из старых домов и заглянул во двор. — Сейчас запасаемся понятиями. Давай, Борис, дворника.

Борис ушел. Гордеев в ожидании закурил, присев на тумбу у ворот. Настроение у него хорошее, он сейчас словоохотлив.

— По мелочи найдем что-нибудь. Золотишка, конечно, у них нет, деньжата должны быть. Я этих делашей трёс порядочно, крепкие попадаютса орешки.

— А бывало, что ничего не находили? — спросил Саша.

— Если версия отработана правильно, — сказал Гордеев, — то брака не бывает.

Вернулся Борис с молоденькой дворничихой. Вероятно, он уже объяснил ей, в чем состоят ее нынешние обязанности, потому что она молча прислонила свою метлу к стене и пошла впереди Гордеева. По пути прихватили еще соседку — та согласилась охотно, со скуки.

Поднялись по черной лестнице на третий этаж. У самой двери в квартиру Гордеев спросил дворничиху:

— Вас как зовут, товарищ дворник?

— Катя.

— Значит, Катя, сделаем так — если спросят: откуда? — отвечаете: из жилконторы. Ясно? — Он посветил спичкой у звонка и, прочитав на карточке: «Лебедев, Тулина», добавил: — Нажимаем три раза.

Сперва никто не откликнулся, и Гордеев хотел было надавить еще, но потом за дверью раздались быстрые мелкие шаги и чей-то тонкий голос спросил:

— Кто?

— Я, — сказала дворничиха. — Открой, Люба.

Дверь отворилась, и девочка лет десяти, в школьном платье и в белом школьном переднике, отступя немного назад, поздоровалась:

— Здравствуйте, тетя Катя.

— Здравствуй, — ответил Гордеев, проходя вперед дворничихи. — Где тут у вас свет зажигается?

Поднявшись на цыпочки, Люба дотянулась до выключателя и засветила тусклую лампочку под потолком

прихожей. На стене висит велосипед без колес. Перед ним стоит старый сундук. Три вешалки прибиты по углам. Длинный темный коридор уводит из прихожей в глубь квартиры.

Теперь Гордеев снова пропустил впереди себя дворничиху и пошел вслед за ней, позади него Борис с Сашей и Люба. У третьей двери направо Катя остановилась и постучала.

— Чего там, — сказал Гордеев и нажал на ручку.

В комнате на неприбранной железной кровати сидит утлая старуха в стареньком темном платье и в больших, не по ноге, разбитых валенках. Голова ее повязана толстым шерстяным деревенским платком.

— Добрый день, бабушка, — сказал Гордеев.

— И вам также, — ответила старуха беззубым голосом.

— Вот какое дело, — сказал Гордеев, — мы из райотдела милиции. Вы грамотная, бабуся?

Старуха ничего не ответила. Люба подошла к ней и встала рядом.

Наклонившись к дворничихе, Гордеев тихо и чуть досадливо спросил:

— Бабку-то как звать?

— Ксения Макаровна. Она погостить приехала, из деревни.

Гордеев придвинулся к старухе поближе и, слегка согнувшись над ней, громко и раздельно произнес:

— Разъясняю вам, Ксения Макаровна. Сейчас мы зачитаем вам один документ, называется постановление на обыск комнаты вашего сына Лебедева Валерия Никифоровича и его сожительницы Тулиной Евдокии Ивановны. Ясно?

— На работе они, — сказала старуха. — В обед придут.

— Давай, — обернулся Гордеев к Борису.

Борис вынул из портфеля постановление и, не сходя с места, прочитал его вслух.

В комнате пасмурно и неопрятно. На столе, покрытом липкой клеенкой, стоят вразброс тарелки с остатками немудреной еды. Пустая коробка из-под дешевых консервов. Бутылка с недопитым кефиром. На придвинутой к темноватому окну парте — окно выходит в стену соседнего дома — лежат стопкой детские учебники и раскры-

тая тетрадь. Постель с дивана не убрана, а скатана к изголовью.

Покуда Борис читал, дворничиха Катя опустилась на стул у двери.

Гордеев же быстрым приценивающимся взглядом скользит по комнате.

Присев на краешек дивана, Саша следит за старухой. Она сидит все так же неподвижно, редко мигая короткими ресницами. Еще в самом начале, как только они все вошли, она выпростала одно свое ухо из-под толстого платка, чтобы лучше слышать голоса чужих людей, и теперь повернулась к Борису этим большим голым ухом.

Прочитав постановление, Борис показал этот документ старухе, понятой Кате и, сунув его обратно в портфель, тем же плоским голосом, которым читал сейчас, произнес подряд:

— Оружие, яды; золото, драгоценности прошу выложить на стол.

— В обед обязательно придут, — сказала старуха. — Валерик велел картошки начистить, а Дуська обещалась принести котлет.

Девочка потянула старуху за рукав и, придвинув губы к ее уху, горячо зашептала ей что-то.

Тем временем Борис с Сашей убрали уже грязную посуду со стола на подоконник; липкую клеенку сняли и, аккуратно сложив ее, повесили на спинку стула.

— Люди добрые, — сказала старуха. — Как же без хозяев-то?

— Мы, Ксения Макаровна, действуем согласно закону, — пояснил Гордеев. — Постановление вам было предъявлено, понятые тоже с ним ознакомлены.

Он подошел к платяному шкафу, стоящему у самой двери, и подергал запертую дверцу.

Борис начал обыск комнаты слева направо, Гордеев — справа налево. У окна они должны были встретиться.

Борису было проще: на его пути попадались незамысловатые вещи — телевизор, тумбочка, этажерка. У телевизора он отвинтил заднюю стенку, чтоб видны были внутренности, повернул ящик к свету, пошарил рукой в пыли. Ни о чем постороннем он сейчас не думал. Его вело чутье, как ведет оно собаку, взявшую след. Отли-

чало же его сейчас от собаки, идущей по следу, отсутствие злобности. Тихонечко и даже благодушно насвистывая, он искал, вкладывая в это дело только свой опыт и логику, а эмоции его сейчас в деле были ни к чему. Под руками все у него спорилось: здесь надо отвинтить, эту крышечку приподнять, а эту штуковину поставить на попа и постучать по ней, нет ли там двойного дна. Беспокоила его, пожалуй, только старуха — ее кровать стояла с его левой стороны, и он изредка озирался, суетно поглядывая на нее и, видимо, соображая загодя, как с ней придется поступить.

У Гордеева же не задалось с самого начала. Начал он с платяного шкафа, а дверцы его были заперты на ключ. Нижние ящики тоже не поддавались усилиям следователя.

— Ключ у кого, девочка? — спросил он Любу.

Она ничего не ответила, ожесточенно заплетая и расплетая свои косички.

— Я вас, Ксения Макаровна, по-хорошему прошу, — сказал Гордеев. — Конечно, это для вас неприятное переживание, но постановление вам было зачитано в присутствии понятых, социалистической законности мы не нарушаем, а ключи вы должны мне вручить.

— Люди добрые, — сказала старуха, подняв на Гордеева размытые годами глаза. — Дождитесь вы, за ради Христа, Валерика. И ключи при нем, и сам разъяснит... Можете вы это понять — не хозяйка я здесь...

Люба потрясла ее за колено и громко сказала:

— Перестань, бабушка. Не проси их.

— А ты, девочка, села бы за уроки, — посоветовал ей Гордеев, продолжая подергивать ящики шкафа. — Вон у тебя и книжки разложены. А то схватишь завтра в школе двойку — разве это хорошо?..

Люба окинула его гордым и презрительным взглядом, подняла с пола мяч и принялась кидать его об стену, ловя в руки.

Гордеев нашарил в своем кармане связку ключей от служебного письменного стола; всовывая их поочередно в замочные скважины, он подобрал наконец подходящий и отпер шкаф.

Обыскивать шкаф Гордеев начал планомерно. Сперва он открыл широкую правую створку. На круглой палке, от стенки до стенки, висела вплотную друг к другу на

деревянных плечиках мужская и женская верхняя одежда. Висела она, как в магазине.

Вынув наугад на свет несколько вещей — пальто, шубы, костюмы, — Гордеев быстро и ловко осмотрел воротники, края рукавов и убедился, что они ненадеваны.

Дворничиха Катя, не отрываясь, с горестным любопытством следит за тем, что делает Гордеев. Богатство, открывшееся ее глазам, богатство внезапное, которое она не может даже оценить, больно ушибло ее.

Поблизости от нее сидит Саша на диване, и, потрясенная, она шепчет в его сторону, хотя он и не слушает ее:

— Ах ты господи, что ж это на самом деле творится! — И глаза ее снова прикованы к распахнутому шкафу. — Наворовали середь бела дня Валерка с Дуськой. По двору в чем попало ходили, а у них вон сколько добра припрятано. Спину гнешь, лестницы моешь, вертишь контейнеры с помоями, другой раз так накантуешься, что пальцы не разогнуть. А они вон как живут. Матери родной этот Валерка леденца не принес. Валенки у нее прохудились, — так и ходит. Кругом у них с Дуськой, видать, все купленные были. Длинный этот копается в шифоньере, а вдруг да там деньги, взял и положил в карман. Поди потом дознайся. . .

— Товарищ понята, — сказал Гордеев, — прошу посмотреть сберегательные книжки.

Запустив руку по локоть под белье, сложенное доверху стопкой на полке, Гордеев вынул четыре сберкнижки.

Катя подошла к нему, он разложил их на столе, отгнув и разгладив картонные обложки.

— Любовь Валерьяновна Лебедева, — негромко читает он. — Сумма вклада тысяча пятьсот рублей.

— Любовь Валерьяновна Лебедева, — читает Гордеев в следующей книжке. — Сумма вклада одна тысяча двести рублей.

— Ксения Макаровна Лебедева, сумма вклада пятьсот рублей.

— На предъявителя, сумма вклада девятьсот рублей.

— Паразит! — прошептала Катя. — Вот паразит!

Старуха сидит на железной кровати не шевелясь. Ей бы давно надо было прилечь на подушки, ломило поясницу, ныли опущенные вниз ноги, но лечь она не может,

потому что в комнате чужие люди и она за это в ответе перед сыном и перед невесткой. Она пытается следить за этими людьми, поворачивая свою плохо слушающуюся голову вслед за их движениями, но глаза ее худо различают то, что делается сейчас в комнате, да и внучка стучит мячом по стене над самым ухом, голосов тоже не разобрать.

Ее клонит в сон, и, чтоб не заснуть, она беззвучно шепчет:

— Придут сейчас в обед, расшумятся на старуху: зачем пустила, зачем не вскричала соседей. А я их городских порядков не знаю. Случись в деревне, послала б Любу за самогонкой... Да тут еще исть охота, с утра плохо покушала, чинилась перед Дуськой...

От голода и от страха перед сыном старуха стала икать.

На столе посреди комнаты уже лежит груда вещей, добытых Гордеевым из шкафа: несколько картонных коробок по дюжине чулок в каждой, две стопки шерстяных импортных кофточек, три стопки — нейлоновых, отрезы бостона и драпа.

На другом конце стола Борис складывает кучку облигаций трехпроцентного займа, пять пар часов, мужских и дамских, несколько сережек и колец.

— Икону будем потрошить? — тихо спрашивает Борис у Гордеева, указав глазами на икону, висящую над кроватью.

— Не надо, — отвечает Гордеев, с опаской взглянув на икающую старуху. — Давай оформлять.

За окном совсем стемнело, зажгли электричество. Гордеев диктует негромко, Борис записывает, расположившись за столом и разложив бумаги.

А практикант Саша все так же сидит на диване и продолжает смотреть на старуху. Сперва он взял было газету и поглядывал поверх нее, как его учили. Однако ничего подозрительного он так и не заметил. Сидела против него старая женщина, руки ее упирались в край кровати, поддерживая неверное тело, чтобы оно не повалилось на бок. Сперва лицо ее обеспокоилось, а потом утихло. Торчало из-под платка бесполезное ухо, шевелился острый кончик подбородка, словно она жевала, глаза заволокло мутной слезой. Раза два за время длинного обыска Саша видел: старуха вскидывалась, обводила

слепым безучастным взглядом комнату, рука ее дотягивалась до девочки, проверяя, здесь ли она, не увели ли ее потихоньку прочь.

А девочка, на которую он тоже не мог не смотреть, стояла спиной к нему, спиной ко всем, отгородившись от них своей обидой и попранной гордостью; она играла в мяч, чтобы доказать им всем, что ничего не случилось, как было, так и останется. . .

— Ну, все, — сказал Гордеев, разминаясь. — Пошабашили, братцы.

Вместе с Борисом они развешивают и раскладывают вещи в шкафу и печатают его.

Во дворе стоят они трое и прощаются с дворничихой. Пожимая ей руку, Гордеев подмигнул:

— Вот такая получается картина, Катюша. Недосмотрела ты за своими жильцами, крепче надо держать связь с участковым. Прошу прощенья, что задержал.

Втроем они идут по вечерней улице. Проходя мимо столовки «Уют», Гордеев замедляет шаг.

— А что, ребята? Есть здорово охота, зайдем по-быстрому поужинаем.

Усевшись в углу за столик, все трое порылись в своих карманах и добыли оттуда мелочь: кто — рубль, кто — трешку, кто — пятерку.

— Ого, кутим! — весело сказал Гордеев. — Давай, Борис, в буфет.

Борис принес из буфета три винегрета, графинчик водки и заказал по дороге официантке горячее.

Сперва жадно едят, набросившись на хлеб с горчицей. Выпили по стопке. Принялись за винегрет. И все это пока молча, как люди, сильно уставшие после длинного трудового дня.

— Славно поработали, — сказал Гордеев. — Я думал, они подальше заховают. Часы ты здорово, Борис, из тумбочки достал.

— А чего их было доставать, — сказал Борис. — Лежали себе и лежали. Зря мы к кону не посмотрели. И бабкину кровать.

— Ненадежная была бабка. Могла загнуться. Давайте по второй.

— Разбавляют, заразы, — выпив, сказал Борис. — Больше тридцати градусов не будет.

— Как же они теперь? — спросил вдруг Саша, ковыряя вилкой винегрет.

— Ты про кого? — Гордеев поднял на него захмелевшие от усталости глаза.

— Про старуху с девочкой. Они-то ведь не виноваты.

— Ну и что? — сказал Гордеев. — Мы их и не трогали. Старуха-то, положим, сына воспитывала. Не в лесу рос. Семья и школа — во главе угла.

— Где-нибудь у них еще припрятано, — упрямо сказал Борис. — Зря я в иконе не покопался. У одного торгаша вот такой бриллиант в лампаде нашел.

Гордеев не слушает Бориса. Положив вилку, пристально посмотрел на Сашу.

— Вон ты, оказывается, какой скромняга парень!

— Какой? — спросил Саша.

— Жалко тебе их?

— Конечно, жалко.

— А государство тебе не жалко?

Саша слабо улыбнулся.

— Ты чего ухмыляешься? — разозлился Гордеев. — Из чего состоит государство? Из людей. Видел, чего я выгреб из шкафа? Он овощи тоннами пускал налево, на компоте нажился, капитал сколотил на наших трудностях. . . Сволочь такая, пробы на нем негде ставить!

— Я же не про него, — сказал Саша. — Вы поймите меня, пожалуйста, Кирилл Иванович. Вот мы сидим втроем, пьем, едим. А там старуха с девочкой. . . — Он тихо добавил: — Старуха на мою бабушку похожа, такая же и у меня в деревне. . .

— А пошел ты на фиг! — сказал Гордеев. — Не имею права об этом думать. Ясно тебе? И не желаю. У меня сердца на всех не хватит.

— И все-таки, здесь что-то не так, — сказал Саша.

— Ах, не так? — Гордеев приблизил к нему через стол свое красное, запотевшее лицо. — А можешь ты мне сказать как?

— Не могу, — сказал Саша.

— Добренький какой! За государственный счет. Небось если б у тебя лично тиснули зарплату. . .

— Кирилл Иванович. . . — пробует возразить Саша.

— Я в детдоме вырос; понял? Голодный был, драный, а за всю жизнь чужой копейки не взял. И ворье это, жуликов мордатых и сытых, которые грабят народ, дачи себе строят, покупают машины, — я бы их всех пересажал! — Он снова перегнулся через стол к Саше. — Думаешь, злой человек Гордеев? А я, если хочешь знать, добрее тебя. Ты нынче одну девчонку и одну бабушку сопливо пожалел, а я их сотни тысяч жалею и защищаю от расхитителей народного богатства. Доброта наша с кем борется? Со злом. Значит, у доброты должны быть кулаки, чтобы его одолеть. . . Понял, нет?

Опустив голову, Саша ест.

И вот он, худенький юноша Саша Овчаренко, в трусах, босиком, входит на цыпочках в комнату матери — сейчас ночь. Зинаида Петровна спит. Оглядываясь на нее, чтобы не разбудить, он потихоньку выдвигает ящик комода, роется в полутьме.

— Что тебе, Саша? — раздается голос матери.

— Спи, мамочка, — шепотом отвечает он.

Зинаида Петровна зажгла лампу над своей постелью.

— Что ты ищешь?

— Да тут одно лекарство. . .

— У тебя что-нибудь болит?

— Просто не спится, хотел принять снотворное. Извини, мама. . .

Зинаида Петровна приподнялась — она в халате, — и из шкатулки, стоящей в изголовье постели, вынула паке-тик таблеток. Протянула сыну.

— Ты принимаешь эту гадость, Саша, в третий раз за неделю. Что с тобой все-таки происходит? . . Я же вижу, Саша.

— Ничего особенного: сижу допоздна в душном, накуренном кабинете — вот и все.

Молчание.

— В детстве ты мне никогда не лгал.

Он подошел, сел на постель в ногах у матери.

— Я хотел у тебя спросить, мама: разве добро должно быть непременно вооружено кулаками? . .

Запахнув халат и подобрав под себя ноги, Зинаида Петровна оперлась спиной о высоко взбитую подушку —

Очевидно, вот так, ночами, мать, не впервые разговаривает с сыном.

— Кто это тебе сказал, Саша?

— Один человек.

— Хороший?

— Честный... Я немножко запутался, мама. Мне становится все труднее определять людей одним привычным словом — хороший, плохой...

— Одним словом, вероятно, и невозможно, Саша. Это только в учебниках бывает: положительные и отрицательные типы. А насчет добра с кулаками — знаешь что, сын? Конечно, за добро нужно бороться. Только когда говорят — «с кулаками», некоторым людям нравится именно это: добро для них в дальней перспективе, а сейчас можно пускать в ход кулаки... Я вообще думаю, что нигде люди так не напутали, как в понятиях добра и зла: религия напутала, история напутала...

Зинаида Петровна говорит тихим ночным голосом.

В изножии постели прикорнул Саша. Он спит. Быть может, все это только снится ему.

И реально лишь одно: мать покрывает его краем одеяла.

— Тебе трудно, сын? — тихо спрашивает она.

— Кирилл Иванович, зайти-ка, пожалуйста, ко мне, — говорит Селезнев по телефону.

Он кладет трубку и листает бумаги в папке.

Перед его столом сидит насупленный Саша.

Вошел Гордеев, опустил на стул против Саши, не глядя на него.

— Значит, ты полагаешь, — говорит Гордееву Селезнев, — что Томилина следует судить вместе с Игнатьевым, а по поводу Коромыслова можно ограничиться комиссией по делам несовершеннолетних?

— Я изложил свою точку зрения в обвинительном заключении.

— Ты присутствовал на допросах, которые вел практикант?

— Иногда присутствовал, а иногда доверял ему вести их самостоятельно.

— А тебе не кажется, что обвинительное заключение не всегда соответствует протоколам допросов?

Гордеев качнул головой в сторону Саши:

— Это кто ж утверждает — ты или он?

— Я пока ничего не утверждаю, я спрашиваю, — говорит Селезнев.

— Хорошо. Отвечу. Я неоднократно указывал практиканту, что протоколы надлежит вести строго объективно, придерживаясь лишь фактов, относящихся к делу. Эмоции следователя ни прокуратуру, ни суд не интересуют...

— Но если я вижу, что Томилин еще не является социально опасным, — волнуясь, говорит Саша.

— Это откуда же тебе так точно известно? — спрашивает Селезнев.

— Я ему верю.

— Печенкой, что ли?.. Был когда-то на заре нашего правосудия такой стиль у следователей: «Печенкой верю!» или «Печенкой не верю!». Дорого обходилась нам эта печенка!

— Вы мне не дали договорить, — вспыхнул Саша. — И я не понимаю, почему следователь должен быть лишен эмоций? Печенка здесь ни при чем. А понятие веры в человека или ощущение, что он лжет, ощущение личности человека...

— В суд с одними ощущениями не суются, — говорит Гордеев. — Их положено документировать, отражать в протоколах. И отражать так, чтоб поверили все, а не только персонально ты!

— Но Игнатьев на допросе показал, что этот парень впервые был с ними. Он стоял в подворотне и даже не знал, что Игнатьев, вместе с Коромысловым, уже трижды занимался грабежом шапок. Ваню Томилина и привел Коромыслов, сказав, что Федька Игнатьев приглашает сейчас всех в ресторан. Вы же читали показания и самого Коромыслова — он тоже не отрицает этого...

— Да мальчишка он, — отмахнулся Гордеев. — И болтает что попало. А ты еще и вел-то последний допрос с нарушениями: задавал наводящие вопросы. Это, к твоему сведению, запрещено законом! Я велел тебе допросить его еще раз...

— Вы велели не только поэтому! — вспыхнул Саша. — Вас не устраивают показания Коромыслова — они его изобличают... Хорошо, я нарушил, сделал неправильно.

Я знаю, что нельзя задавать наводящие вопросы, я понимал, что нарушаю. . . А знаете почему? Коромыслов сперва трусливо врал и юлил, а потом, когда я его припер к стенке, стал вести себя нагло. . .

Селезнев потемнел.

— Почему это не отражено у тебя в протоколах?

— Я не хотел подводить вас. Я видел, что вы еще не решили. . . И для меня было всего важнее, чтобы Ваню Томилина не отдали под суд. . . Я в него поверил. В ПТУ мне сказали, что они возбудят ходатайство взять его на поруки. Мне обещали. . .

— Ладно, — подымается Селезнев. — Это дело требует доводки. Я займусь им. . . Все, Саша, можешь идти. А тебя, Кирилл Иванович, прошу задержаться.

Они стоят друг против друга — раздосадованный Гордеев и холодно-спокойный, как всегда выдержанный Селезнев.

— Постановление на арест Петра Коромылова я уже вынес, — говорит Селезнев, протягивая Гордееву ордер. — Сделай это сегодня же, мы и так проканителлись с ним. . . Теперь вот что. Двухмесячный срок практики Саши Овчаренко подходит к концу. Курировал его ты, Кирилл. Стало быть, ты и набросай проект характеристики на него.

— Не смогу я написать объективно, — сказал Гордеев. — Врать не хочу, а не по душе он мне.

— Это не формулировка для такого опытного коня, как ты. Чем не по душе?

— Ну ладно: с Коромысловым, может, и его правда. Я дал маху — хотел спокойно закончить месяц с хорошими показателями. . . А вообще-то Овчаренко этот уж очень носится со своими переживаниями. Честный парняга, грамотный, неглупый, но еще сопливый, понимаешь? Суровости в нем нету. А в нашем следовательском деле без надлежащей суровости можно дров наломать — будь здоров!

Сняв свои очки и протирая их носовым платком, Селезнев посмотрел на Гордеева сильно близорукими глазами и спросил:

— Тебе известен такой термин в психологии: профессиональная деформация души?

— Да вроде слышал на лекциях, — буркнул Гордеев.

— Я тоже слышал. И тогда не придавал этому значения. А вот проработав в органах милиции восемнадцать лет, повседневно имея дело со всяческим отребьем, скажу тебе откровенно: иногда я ловлю себя на том, что боюсь слишком уж «посуроветь». Если говорить совсем честно, то боюсь профессионально деформироваться, очерстветь. — Он надел очки. — Вот почему я так охотно беру практикантов к себе в отделение: от лучших из них исходит некая струя кислорода, хотя возни с ними и хлопот не оберешься. И пользы пока — чуть. — Он сел за стол. — Ну так как, сочинишь на него характеристику?

Гордеев пожал плечами.

— Я ведь и приказать могу, — уткнувшись в бумаги на столе, сказал спокойно и негромко Селезнев.

— Ладно. Напишу. Только если будет что не так...

— А я пройдуся по ней рукой мастера. Подписывать-то ведь ее вместе будем.

Ранним вечером — еще только вспыхнули уличные фонари — быстро и весело выходит из подъезда районного ОВД Саша Овчаренко.

Размахивая на ходу своим огромным, не по росту, портфелем, бежит к троллейбусной остановке — здесь толпятся уже у распахнутых дверей пассажиры.

Саша втиснулся в троллейбус последним. Его куртка и локоть прижаты захлопнувшимися дверьми.

В мчащемся троллейбусе раздается голос водителя по радио:

— Потеснитесь, граждане! Молодой человек, подымитесь со ступеньки!

Пассажиры потеснились, Саша высвободил локоть и куртку, поднялся выше.

Он бежит по людной улице от остановки троллейбуса к своему дому.

Вошел в подъезд и начал было взбегать по лестнице, однако застыл, увидев Лиду с Мишей, — они стоят здесь на нижней площадке.

— Здорово, сестренка! — говорит Саша, приближаясь к ним.

— Приветик! — независимым тоном отвечает Лида.

— Мама дома?

— Не знаю, я еще не заходила.

— Ясненько. — Он деловито осматривает лестничную площадку. — Вам бы, ребята надо бы как-нибудь обставиться здесь: сервантик, что ли, поставить, письменный стол, два креслица, Шишкина можно повесить на стенку...

— Непременно воспользуемся твоим советом. Шишкин — это как раз твой мильтонский вкус.

Он дружелюбно погладил ее по голове.

— Бедная ты, бездомная сестричка! ..

— А что? Вечно ты торчишь в моей комнате. . . — Она отвела его руку.

Саша потоптался и вдруг хлопнул себя по лбу.

— Вспомнил! .. Миша, можно тебя на минутку?

Он отводит оробевшего юношу в сторону.

Лида говорит вслед:

— Не слушай его, Мишка, он сейчас какую-нибудь гадость скажет. . .

Саша говорит юноше шепотом, заслоняя его от Лиды:

— Понимаешь, какое дело: я сегодня получил первую зарплату. Возьми у меня в долг трешку и своди Лидку в кафе-мороженое. — Незаметно сует ему деньги. — Она шоколадное любит и крем-брюле... И чтоб больше я тебя здесь в подъезде с ней не видел. Понял?

Вверх по лестнице, шагая через две ступеньки, размахивая огромным тяжелым портфелем, несется Саша Овчаренко.

СОДЕРЖАНИЕ

ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?	5
ВДВОЕМ	68
КАТЯ. <i>История одной любви</i>	79
ОЦЕНЩИК	147
МАТЬ	155
СОБАКИ	177
ВЫСТРЕЛ	189
ГОЛОЛЕД	200
СТАЖЕР	246

МЕТТЕР ИЗРАИЛЬ МОИСЕЕВИЧ

ПУТИ ЖИТЕЙСКИЕ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1974
304 стр. План выпуска 1974 г. № 40

Редактор М. И. Дикман
Художник Л. Д. Авидон
Худож. редактор М. Е. Новиков
Техн. редактор М. А. Ульянова
Корректоры Ф. С. Флейтман и Ф. Н. Аврунина

Сдано в набор 14/I 1974 г. Подписано в печать
24/IV 1974 г. М 20425. Бумага 84×108¹/₃₂, тип.
№ 2. Печ. л. 9¹/₂ (15,96). Уч.-изд. л. 15,73. Ти-
раж 30 000 экз. Заказ № 124. Цена 68 коп.

Издательство «Советский писатель». Ленин-
градское отделение. Ленинград. Невский пр. 28

Ордена Трудового Красного Знамени Ленин-
градская типография № 5 Союзполиграф-
прома при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли, Ленинград,
Центр, Красная ул., 1/3.

